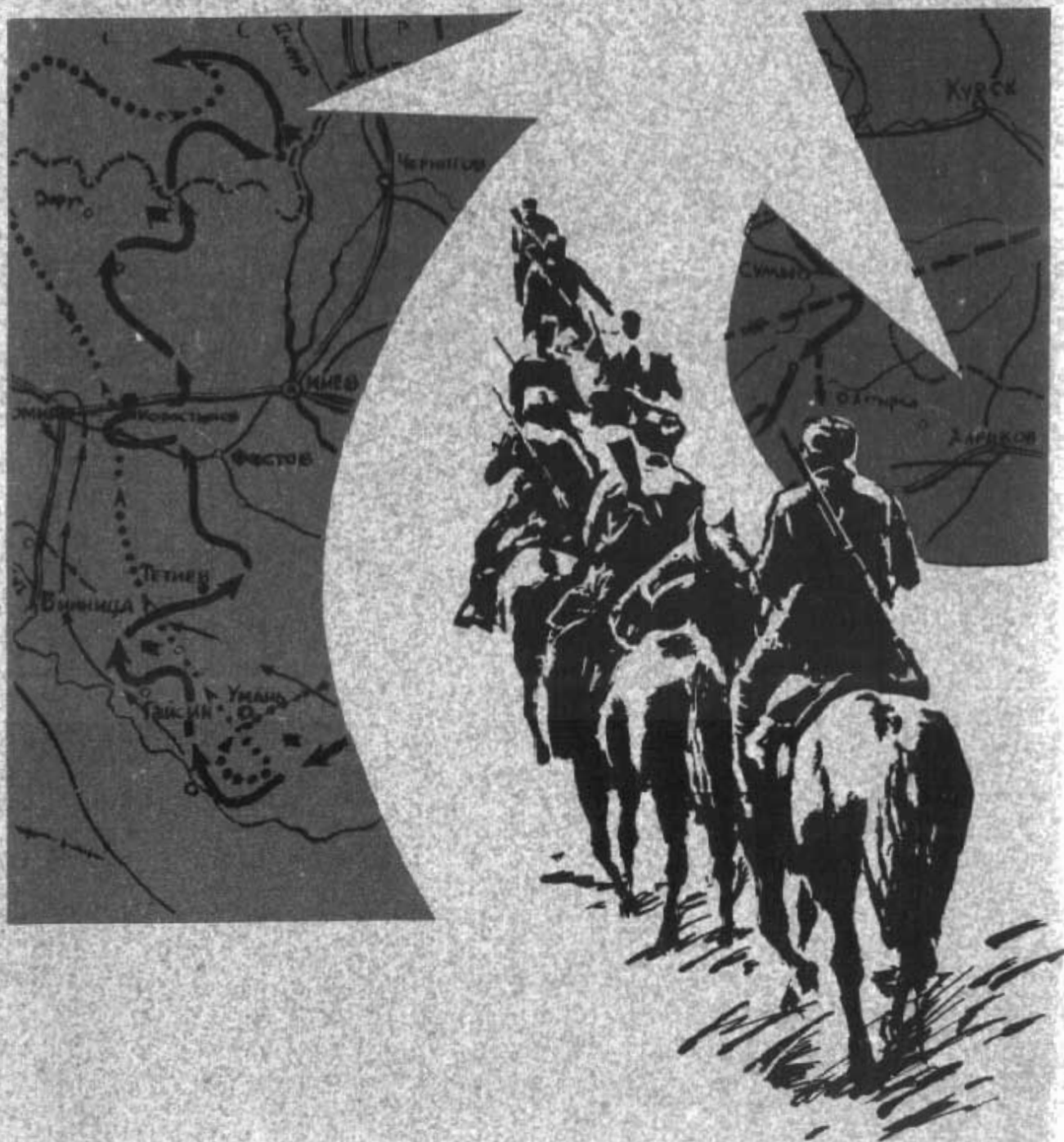


УДК 91
НЗ4

Михаил НАУМОВ

Степной рейд





Наумов Михаил Иванович,
Герой Советского Союза, командир соединения

СЛОВО О НАШЕМ ПОБРАТИМЕ

С именем Михаила Ивановича Наумова связано много славных страниц партизанской борьбы на Украине.

Родился и вырос он в Приуралье (Пермская область), в семье бедняка. После Великой Октябрьской социалистической революции юноша активно включается в строительство новой жизни в родном селе Большая Соснова. Был пионервожатым, секретарем комсомольской организации, вместе со своим отцом организовал артель. А когда страна позвала молодежь на шахты — стал шахтером. И так до 1930 года, когда его призвали в ряды Красной Армии. С этого времени и связал он свою жизнь навсегда с военной службой.

После обучения в школе пограничников молодой офицер Михаил Наумов попадает в погранвойска, служит на Днестре и в Карпатах, охраняет советскую землю.

Судьба Михаила Наумова на войне была судьбой всех советских людей, всех наших воинов. Он пережил и поборол горечь неудач, он, как многие из нас, преодолел в тяжелой ночи все бездорожья, что вели окруженцев в родной тыл и партизанские отряды. Вскоре бывший пограничник стал командиром партизанского соединения на оккупированной Украине.

Вклад в историю Великой Отечественной войны, внесенный партизанами Наумова, общеизвестен. Об этом много сказано и написано. Вместе с подвигами партизанских соединений Ковпака и Федорова, Сабурова и многих других соединений и отрядов, Степной рейд партизан стал народной гордостью. Он покоряет своим бесстрашием, отчаянностью, которые тесно переплелись с точным расчетом, тактико-стратегическим искусством.

Промчались, будто вихрь, на взмыленных конях, с обнаженными клинками в руках по степной части республики — из Брянских лесов через Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Одесскую, Винницкую, Киевскую, Житомирскую области до южной Белоруссии. Шли в зимнее время и ранней весной, по бездорожью, с ежедневными боями, уничтожая вражеские гарнизоны и хозяйства, наводя ужас на фашистский сброд, начиная от рядового шуцмана и кончая бесноватым фюрером. Ведь Гитлер, почуяв приближение партизан, поспешил обратиться поближе к «фатерлянду» из своей ставки под Винницей.

Короткий отдых — и летом 1943 года начинается новый рейд. Из полесья Житомирщины — в Белоруссию, и снова назад — на Киевщину. И опять во всех концах оккупированной земли трепещут гитлеровские гарнизоны. Там, где проходили партизанские подразделения, будто грибы после благодатного дождика, зарождались и вставали на ноги новые партизанские отряды. А осенью — освобождение Киева Советской Армией, куда внесли свой достойный вклад и партизаны-наумовцы.

И сразу же — третий поход Наумова и наумовцев на запад. Через Волынь и Львовщину партизанская конница вышла к берегам Сана и Вислы в Люблинском и Краковском воеводствах. До десяти тысяч километров промчали конники-наумовцы партизанскими дорогами, провели более 400 победных боев с врагами. Силу партизанских ударов, значение наумовских рейдов признали даже западные историки, «...Этот рейд генерала Наумова является превосходным примером ведения оперативной партизанской войны... Принятыми мерами... германскому командованию обезвредить его не удалось...» — пишет Герлиц Вальтер о Западном рейде М. И. Наумова.

Михаил Иванович родился в Приуралье, в братской России, но вся его жизнь связана с Украиной, он стал нашим побратимом, другом, сыном украинского народа.

Когда к людям снова пришли мир и радость, Михаил Наумов много сил отдает делу восстановления родной страны. Долгие годы он на посту командующего внутренними войсками на Украине, шестнадцать лет решает дела в парламенте республики как народный избранник. А в свободный час, оставаясь наедине, он снова пройдет по всем знакомым дорогам, еще и еще раз встретится с людьми — недобрыми и добрыми, встречавшимися ему на жизненном пути, расскажет о них на страницах будущей книги правдивую историю. И так незаметно родятся «Хинельские походы», две книги «Степного рейда», «Западный рейд» и «Через пропасть». Двинутся они снова в поход, но уже в поход мирный — к миллионам читателей. И взволнуют их. И донесут славу былых походов новым поколениям.

Объемно и правдиво рассказано о партизанской жизни в «Степном рейде». Со страниц книги, как живые, отзываются и те, кто отдал свою жизнь в боях за победу, и те, кто строит новую жизнь нынче.

Михаил Иванович прошел славными партизанскими дорогами. Эти дороги пролегли и в советскую литературу, ставшую разнообразнее оттого, что в нее пришли искренние документальные произведения писателя.

Юрий Збанацкий



Анисименко И. Е.,
комиссар соединения



Мельник Г. А.,
начальник штаба соединения



Астахов Р. Я.,
начальник разведки соединения



Петрикей П. И.,
комиссар отряда
«Смерть фашизму»



Лях А. К.,
адъютант командира соединения



Пузанов С. А.,
боец главразведки



Дроздова Т. Ф.,
боец главразведки



Кузьмин И. А.,
командир взвода
Хинельского отряда



Лопатников В. К.,
начальник штаба отряда
«Смерть фашизму»



Стадник Т. М.,
командир разведки
Червоного отряда



Ильин В. Н.,
боец главразведки



Байдин Е. И.,
начальник штаба отряда
«Смерть фашизму».



Фетисов В. С.,
боец отряда «Смерть фашизму»



Инчин А. И.,
командир Хинельского отряда



Грызлов Н. И.,
боец главразведки



Кищенко К. И.,
боец главразведки



Вертюченко В. Ф.,
боец главразведки



Нечипуренко Д. Т.,
начальник
комендантского взвода



Туров В. А.,
начальник штаба отряда
«Смерть фашизму»



Коновалов И. П.,
командир роты
Червоного отряда



Гончаровский В. Д.,
боец главразведки



Радисты соединения



Сыпльвый А. Г.,
комиссар отряда «За Родину»



Жаров В. М.,
боец-подрывник



На снимке (слева направо):
Земскова В. Ф. (врач),
Кишинский С. С. (комиссар соединения),
Наумов М. И. (командир соединения),
Лях А. К. (адъютант командира соединения),
Кузнец Я. М. (начальник штаба соединения),
Самодов Д. А. (боец).



Встреча партизан после войны



Встреча партизан после войны



Партизаны Верховский Е. Ф.,
Ксензов С. И., Боров И. И.



Степной рейд (1943 г.)

Глава I

СИМФОНИЯ О ЛЕСОКОМБИНАТЕ

Падал чистый мелкий снежок, по небу неслись темные облака, они на какое-то мгновение закрывали луну, и тогда особенно ярко полыхали костры, вокруг которых толпились люди.

Весть о выходе в рейд конных партизанских отрядов облетела весь «Копайгород». К походу готовились хинельцы, конотопцы, недригайловцы, ямпольцы, эсманцы, Харьковский и Кировоградский отряды.

Подле наскоро устроенной кузни ковали лошадей. Тут же стучали топорами плотники: на розвальнях приделывали задки, превращали их в «кузова» для перевозки людей, оборудовали в санях «столы» для пулеметов. Ездовые проверяли сбрую, подвязывали запасные оглобли. Из землянок то и дело проворные ребята выносили березовые шесты, и помпохоз конотопцев Савва Забияка — приземистый, плотный парень — внушал ездовым: — В степи не то что оглобли, кнутовища не найдешь, хлопцы! — Он подходил к обозникам и требовал: — Ну-ка, выкладывай запасную заvertку! Подкову, гвозди покажи. Из чего коней поить будешь, торба где?..

В пулеметной роте дела шли своим порядком. Иван Галушка, собрав у костра подразделение, придирчиво осматривал «станкачи». Он опускался на колени перед каждым пулеметом, открыв крышку короба, осматривал, пригнувшись, замок, заглядывал в окно приемника. Пламя костра в это время освещало его темно-бронзовое лицо с голубым шрамом от уха до подбородка — след шашки деникинца.

Показывая крупные сухие ладони пулеметчикам, Галушка говаривал:

— Еще в девятнадцатом набил руку на всякой нечисти!

Готовились к походу и политработники. От землянки типографии, что невдалеке Сумского главштаба, набитые корреспонденцией мешки отправлялись по отрядам.

«Правда», «Известия», «Комсомолка», обращения правительства и ЦК Компартии Украины к населению, сводки Совинформбюро, присланные из Москвы, — особый груз рейда. Он должен донести населению оккупированных районов правду о Советской Родине — о том, что Сталинградский и Донской фронты на Волге стиснули за горло немецкую армию.

Комиссар Анисименко сам распределял печатное богатство. Возбужденный, по-юношески бодрый и подтянутый, он вручал угловатые тюки то одному, то другому посланцу отрядов, при этом говоря: «Петрикею, Гуторову, Батюхию...»

Подхожу. Здравуемся.

— Упарился, — сетует Анисименко, — дел вагон, еще думаю провести сегодня партийно-комсомольское собрание. Повестка дня: «Задачи коммунистов и комсомольцев в рейде». Как думаешь, подходяще?

— Вполне. Только, быть может, так сформулируем: «Роль коммунистов и комсомольцев...» Подойдет? — спрашиваю в свою очередь. Он засмеялся, взял меня под руку, и мы побрели вдоль квартальной линии.

Припоминаем, как год назад принимали от меня заявление в партизаны, как вручил мне «батя» Фисюн драгунку без мушки, уверяя, что даже охотничья двустволка, которой снабдил он сержанта Баранникова, куда поважней наших пистолетов.

Угомонились споры в Сумском штабе. Пришло время расставаться с «Копайгородом», с его необыкновенными обитателями, с землянками, дзотами. Война в рамках заветного района кончилась. Впереди — украинские степи.

«Край или рейд? Остаться в лесах или перенести партизанскую войну и в степи?» — об этом спорили мы вчера, позавчера и этой ночью.

— Зимой в голые степи?.. — мрачно повторял на последнем совещании секретарь Сумского обкома Фомич и тоскливо заключал: — Бесплодная погибель!

— На запад, — отзывался представитель Украинского штаба партизанского движения подполковник Дрожжин, — через леса — значит, мимо Украины.

— Не та польза делу, не тот размах! — подсказывал уполномоченный ЦК партии Украины Мартынов, — Там уже прошли ковпаковцы, Сабуров.

— Надо выйти на железнодорожные магистрали Киев — Харьков, Сумы — Курск, пора начать боевые дей-

ствия на дорогах, используемых оккупантами для фронта. Необходимо нарушить ритм передвижения вражеских войск, — твердил Мартынов.

— Мы вышлем на коммуникации небольшие летучие группы, база которых будет здесь, в Хинели, — упорствует Фомич.

— Дело ведь не только в коммуникациях! Важно зажечь пожаром борьбы население всей Украины, — настаивает Дрожжин, прибывший сюда вместе с Мартыновым. — Знайте, — говорит далее Дрожжин, — в ЦК придают серьезное значение рейдам. Ведь рейды повышают активность партизан, способствуют расширению партизанского движения, деморализуют изменников и оккупантов.

Наконец, договорились. Рейд! Возглавить его доверили мне. Я согласился пойти в степи с конными отрядами.

Светало. Анисименко давно уже отправился по делам, а я шел и шел, охваченный думами. Местами останавливался, вслушиваясь в отдаленный гомон людей, в бодрый шум раскачиваемых ветром деревьев, — прощался со всем, что наполняло мою жизнь на протяжении всего 1942 года.

Вспоминалось прошлое, друзья, веселые и трагические сцены суровой партизанской жизни, героизм сотен людей — моих верных сподвижников по хинельским походам.

Словно куски гранита, громоздились в голове воспоминания. Будто вновь я в хуторке, в квартире Фомича — руководителя эсманцев-подпольщиков.

Молодой, невысок ростом, плотный, с волевым овальным лицом, он встретил меня словами:

— Просим, товарищ капитан, садиться.

Другой — синеглазый, с упрямым маленьким ртом и немного вьющимися короткими волосами — быстро придвинул мне стул и нараспев, словно в неисправный телефон, произнес звонко:

— Иван Анисименко — командир отряда!

Сняв длинный кожаный шалку, я прошел к столику, уселся напротив Фомича, который спросил меня сдержанно:

— Член партии?

— Да, партийный.

— Партстаж?

— С 1928 года.

— Партбилет с вами?

- В политотделе — на сохранении.
- Вступали в армии?
- Нет, на уральской шахте.
- Как оказались на оккупированной территории?
- Пограничник я. Иду из Прикарпатья...
- Какие порядки на Правобережьи?..

Беседа длится более часа. Фомич и Анисименко интересуются буквально всем, что относится к политической обстановке степной части Украины.

Я говорил, что немцы в основном передвигаются главными дорогами. Во многих районах войск нет совсем, только полиция да кое-где жандармерия. Молодежь саботирует вербовку в Германию и в добровольческую немецкую армию. Словом, люди обозлены. Нужна спичка, горючего материала много...

Так я познакомился с Фомичем и Анисименко. На этом же собеседовании Фомич доверительно сообщил, что подпольный райком получил директиву принимать в партизаны и окруженцев. До сих пор таковых переправляли через фронт к нашим.

Я тут же написал заявление с просьбой зачислить меня и сержанта Баранникова, вместе с которым я пришел сюда с Прикарпатья, преодолев более полуторы тысячи километров, бойцами Эсманского партизанского отряда.

После ужина мы уехали на подводе из поселка Крупского в направлении неведомой мне Хинели. Была ночь, мела поземка. Немолодой приветливый партизан Григорий Лесненко правил лошадью и рассказывал о самой трудной поре в отряде.

— Да, тяжелое было время... Сначала нас, подпольщиков из Червонного района, насчитывалось человек сорок. Руководил нами Копа Василий Федорович — секретарь подпольного райкома и член обкома партии.

До самой Хинели Лесненко посвящал меня в предисторию организации Эсманского отряда, говорил о том насыщенном труднейшими испытаниями времени, когда еще только нащупывались новые действенные формы и методы борьбы, цементировалась живая сила отряда, когда партизанская война находилась в периоде зарождения.

Ветер крепчал. Мы сошли с саней и, чтобы согреться, долго шагали за подводой.

Лесненко неторопливо продолжал рассказывать. Он говорил ровным, спокойным голосом, как человек, который свыкся со всем трудным и необычным, чем богата парти-

занская жизнь, и, слушая его, я мысленно представляла себе испытания, которые пережили эсманские коммунисты-подпольщики.

И вот мы прибыли в Хинельский лесокомбинат.

Это был промышленный поселок, вытянувшийся под соснами в одну прямую улицу на возвышенном берегу речки Сычовки. Улицу образовали несколько десятков стандартных четырехквартирных домиков, в которых жили семьи рабочих.

Винокуренный и пенькотрепальный заводы приютились за изгибом лесной опушки на берегу пруда, где старые высокие сосны живописно перемешались с вековыми дубами, разлапым ельником и березой.

Километрах в трех на юг от лесокомбината в открытом поле раскинулось большое старое село Хинель, от которого и получил свое название соседний лес.

По словам старожил, лесокомбинат был расположен там, «где один петух поет на три губернии», то есть на стыке трех областей — Орловской, Курской и Сумской.

Чтобы точнее определить наши координаты, мы посмотрели карту. На листке километровки в центре выделялась жирная надпись: «Эсмань». Это районный центр и место формирования партизан-подпольщиков. Сейчас наш небольшой отряд эсманцев расположился в Севском районе, Орловской области. На карте виднелись контуры и других больших сел. От Севска к Глухову шла дорога — часть древнего пути из Киева на Москву. Негустая сетка полевых дорог, голубые жилки безымянных родников и речек, очень редкие горизонталы небольших возвышенностей — все это говорило мне, что местность здесь открытая, степная. Сравнительно узкая зеленая полоса на карте показывала, что Хинельские леса, начавшись почти под Севском, тянулись в западном направлении до Новгорода-Сиверского и обрывались на левом берегу Десны. Под верхней рамкой листа обозначался широкий разлив зелени — Брянские лесные массивы, отделенные от Хинельских лесов полем, шириной до полусотни километров.

На лесокомбинате, в его уютном поселке, мы застали расквартированный партизанский отряд имени Ворошилова во главе с капитаном Гудзенко. Небольшой отряд — человек до тридцати — боевых операций еще не начинал, но вооружен был отлично. Полковая пушка и две 122-миллиметровые гаубицы грозно уставились своими жерлами

в поле, как бы заверяя нас в том, что лесокombинат — крепость.

Рослый блондин в кавалерийской длинной шинели, бывший начштаба артполка Гудзенко, комплектовал свой отряд только военными, которые по тем или иным причинам оказались в тылу врага. Негромким сдержанным голосом он говорил обычно всякому новичку, одетому в «цивильное»:

— Пойди найди шинель и свою винтовку, тогда зачислю тебя партизаном...

По прибытию в лесокombинат Фомич сразу же созвал совещание Эсманского и Ямпольского райкомов при участии Гудзенко.

Красняк — приземистый, с широким, опаленным морозом лицом, с жгучими черными глазами — делал доклад.

— Товарищи, — начал он, — для нас создалась очень трудная обстановка. Во многих селах образованы полицейские участки из бывших кулаков, петлюровских недобитков, уголовников всех мастей. Немцы рыщут по нашим следам. Мы потеряли почти весь свой состав. Это, конечно, результат нашей неопытности в подпольной работе, — продолжал Красняк. — Вместо того чтобы покарать предателей и тем самым заставить всех других врагов притихнуть, мы стали прятаться от этих бандитов. Фашисты истребляют не только коммунистов — они убивают всех честных советских людей. Они создали для населения невыносимые условия жизни. В каждом селе виселицы. В настоящее время Ямпольский подпольный райком находится в Хинельских лесах, по сути — за пределами не только района, но и нашей области...

Красняк сделал паузу и, понизив голос, продолжал:

— Говорю не для оглашения: в Марбуде забазируется оружие. В нем судьба партизанского движения района. Там же имеется много верных людей — ядро отряда.

— Пора начинать открытую партизанскую борьбу, призвать актив, поднять забазированное райкомами вооружение, — сказал Фомич, закрывая совещание.

В ту же ночь девятеро эсманцев и пять ямпольцев отправились в Марчихину Буду и разгромили гнездо предателей. Красняк откопал забазированное оружие.

Операция в Марчихиной Буде стала днем рождения отряда «За Родину». А еще через день пламя запылало над Эсманью. Мы уничтожили пакгаузы с запасами про-

довольствия, разоружили гитлеровцев — охрану станции. Наш Эсманский отряд в результате этой операции пополнился вооружением и людьми.

Не без удовольствия читали мы тогда захваченную у немцев директиву имперского комиссара Сумщины генерала Неймана. В ней сообщалось:

«В пределах Глуховского гебита появились вооруженные коммунистические группы, и по тылам немецких армий бродят различные подозрительные элементы... Нужно очистить районы округа от коммунистов и комсомольцев... После наших неудач под Москвой,— писал далее Нейман,— все они могут уйти в партизаны. Следует всемерно разъяснить населению, что там, где Красной Армии удалось вернуть некоторые районы, она расстреливает всех окруженцев и возвратившихся домой, что офицеры Красной Армии, попавшие в окружение, лишены советским правительством воинских званий и объявлены вне закона. Стремиться им в Красную Армию, значит, идти на верную гибель. Пусть все они идут в полицию и дерутся против партизан...»

Мы посмеивались над этой директивой: ведь партизанское движение уже нельзя было остановить. В Хинельский лес шли все, в ком не угасла воля к борьбе с врагами. Люди повалили к партизанам глухими дорогами, лесными тропами, в одиночку и группами, на подводах и пешком. Шли беглецы из плена и местные жители, зачисленные в списки «неблагонадежных», и особенно молодежь.

Не хватало оружия, и поэтому многим приходилось отправляться домой. Мы перегибали палку, отталкивали людей, советовали «заработать» право быть партизаном, «пропускали через фильтр», и даже Фомич на предложение сформировать полк или дивизию сказал однажды: «Что вы, Михаил Иванович, не прокормим!..»

Но отряды росли. Партизаны нуждались в пулеметчиках, артиллеристах, ружейных техниках, знатоках военного дела.

Многие доставали оружие у населения, некоторые приносили свои припрятанные винтовки, пистолеты.

Ежедневно формировались новые подразделения. Спустя месяц у меня было уже сотни полторы людей, пулеметы, минометы и два противотанковых орудия.

Вместе с капитаном Гудзенко мы по-боевому отметили тогда 24 годовщину Красной Армии — разгромили

немецкий гарнизон на Хуторе Михайловском. Захватили артсклад, сожгли эшелон с автомобилями, эшелон с авторезиной. Привезли тогда на лесокомбинат — на свою базу, и пленных эсэсовцев.

Партизанские отряды Севского, Червоного, Ямпольского районов и два военных отряда — капитана Гудзенко и старшего лейтенанта Покровского — стали серьезной боевой силой. Они удерживали около сотни больших и малых сел, узловую железнодорожную станцию, три райцентра — Ямполь, Эсмань, Хомутовку. Опасность спланивала наши ряды. Партизаны объединились под руководством единого командования, названного Хинельским объединенным штабом. Мне поручено возглавлять этот штаб. Он размещался в конторе лесокомбината.

Теперь только и слышу вестовых, которые на вопросы часового «куда?», «откуда?» отвечают:

— В штаб Покровского!..

— Из Севского!

— Хомутовскому второму!

— Из Червоного!

— Вручить лично командованию Конотопского!

Теснимые дивизией гитлеровцев, подошли к нам отряды Ковпака и Руднева: Путивльский, Шалыгинский, Кролевецкий, Глуховский.

Связные подпольных групп сообщают только одно: «Идут немцы... Их много... Они отлично вооружены, превосходно организованы...»

В Хинельских лесах начали операции две карательные дивизии. Надо было решать, как быть. Фомич созвал Совет партизанских командиров.

«Уходить к Брянским лесам или же лечь костями за хинельскую лесопилку?» — такова дилемма у съехавшихся на совещание командиров.

Душно, жарко. Контору лесокомбината заполняют шубы-борчатки, кожаные и шинели, пиджаки, брезентовые плащи, стеганки.

Дымятся венгерские и немецкие сигареты и чадят «козули» из самосада.

Сапоги, бурки, валенки. Шапки-ушанки, шапки-кубанки, шлемы-буденновки, каракулевки со звездочкой, ремни крест-накрест; маузера, парабеллумы, пистолеты и бинокли всех систем и стран Европы...

— Совет в сборе, товарищи! — объявляет Фомич. — Приступим к работе!

— Нас теснят на протяжении более полусотни километров,— докладываю я.— Начинают окружать... В отрядах иссякают боеприпасы. Много раненых. Штаб предлагает...

— Чего ж кибитует вин? — не выдерживает Фисюн, не желающий уходить из лесокомбината.

— Немцы в лес не пойдут!

— Нам из своего леса некуда! — не соглашаются и некоторые другие командиры.

— Оборона на пяточке,— парирует Гудзенко,— погибель! Наступать на кадровые дивизии — авантюра, безумие. Защита населения — красивый жест, товарищи! Речь идет о сохранении сил партизанской армии. В интересах дальнейшей борьбы — уйти и уйти!.. На север... Временно...

— К черту паникеров! Кибитовать надо: то, что хочет зробиць Покровский, и то, над чем гадают капитаны,— предательство! На кого покинем людей, связавших свою судьбу с нами? Семьи, детей своих кому оставим? Или родной народ не дорог? Предлагаю судить товарищеским судом, и на вас управа найдется, товарищи военные!..

Потрясающий гул довершает эту жаркую речь партизана-щорсовца. Качается земля, сыплется штукатурка. Фисюн замирает с поднятым кулаком на полуслове.

— Воз-ду-у-ух!!!

Оглушительные взрывы следуют один за другим где-то совсем рядом. Участники совещания бросаются к дверям, некоторые выскакивают через окна. Вскоре черное облако закрыло всю центральную часть лесокомбината.

Неистово завывая, в воздухе носились «юнкерсы» — немецкие пикирующие бомбардировщики.

Убегая из помещения, каждый думал: «Не означает ли этот налет начало наземного наступления?»

Командиры спешили к своим отрядам.

Разбомбив центральную часть лесокомбината, самолеты снизились над лесом и начали обстреливать поселок из пулеметов.

Партизаны, укрываясь от пуль противника за стволами деревьев, стреляли по снижающимся самолетам из винтовок и автоматов. Выпустил и я десятка два пуль из своей десятизарядки.

Через час «юнкерсы» снова налетели и начали бомбить поселок у винокуренного завода и село Хинель. Прямым попаданием бомбы был разгромлен наш госпи-

таль, находившийся в стороне от поселка. К счастью, раненые не пострадали: после первого налета на лесокombинат медперсонал перенес их в глубь леса.

После второго налета я осмотрел поселок. Большинство домов на лесокombинате и на винокуренном заводе было разрушено. Многие жители остались без крова. Враг уничтожил водокачку, электростанцию, механические мастерские и кузницу.

— Каково, товарищ Фисюн? — спросил я его, встретив возле разрушенной хлебопекарни.

— Ну, товарищ капитан, — виновато ответил он, — когда уж они, заразы, самолеты против партизан применяют, то тут ничего не сделаешь. Зенитных средств у нас нету!

— Нужно уходить, уходить на Брянщину! — твердил Фомич. — Собирайте командиров, будем решать этот вопрос по-деловому.

Вечернее совещание было коротким. Всем стало ясно, что враг готов к решительному штурму наших позиций.

Ввиду того что общая численность партизан к этому времени достигла внушительной цифры, было решено отводить отряды двумя колоннами. Первым должен отходить отряд Покровского, за ним — отряд Гудзенко, далее — вторая группа Эсманского отряда со штабом, Хомутовский и Ямпольский отряды.

Вторую колонну составляли отряды Ковпака, Севский и третья группа эсманцев.

Без прений и споров мы приняли этот план. А на следующий день, прорвав фронт карательных отрядов в селе Тарлопове, мы достигли Брянских лесов.

Это был март 1942 года.

В мае мы возвратились в Хинель. Снова изгоняли гитлеровцев из Эсманского, Ямпольского и Хомутовского районов. Но вскоре нас опять окружили каратели. Дотла сгорел лесокombинат и ближайшие села. С боями прорывались мы через болота, бросая там тяжелое вооружение, весь гужевой транспорт, боеприпасы, строевых коней.

Спустя месяц я возвращался с эсманцами, чтобы поднять оставленное в болотах вооружение. Но... его пришлось отвоевывать у фашистов. За два-три месяца наша партизанская группа выросла в батальон. У нас уже была опять батарея пушек, полковые и батальонные минометы, кавэскадрон в полсотни сабель. Мы начинаем охоту за эшелонами под Ворожбой и Льговом.

Одни, отрезанные от брянской лесной армии, без флагов и тыла, вели мы свою малую войну на территории ближайших районов.

Только зарева пожарищ да отдаленный, еле уловимый по утрам гул артиллерийской канонады говорили о том, что брянская армия жива и не прекращает борьбы.

У осадной же армии имелось еще достаточно возможностей, чтобы не пропускать к нам в Хинель связных и разведчиков. Мы действовали в отвоеванных районах на свой страх и риск.

Под крылом нашего отряда вырос новый, Хомутовский, отряд, которым командовал житель села Доброе Поле — Шупиков. Возродился и возмужал второй Севский отряд Коновалова. В Хинельском лесу снова насчитывалось около шестисот народных мстителей, и мы с нетерпением ожидали возвращения из Брянских лесов остальных Хинельских отрядов и снова готовились к расширению отвоеванного нами края.

Но в это время секретарь райкома предложил мне перебазироваться в Брянский лес, а это означало — еще один прорыв через блокаду осадной армии. Мы проблись и на этот раз, со всем вооружением, припасами, обозами.

Только с голодом познались мы в этот раз в Брянском лесу.

Холодно и голодно было в Эсманском отряде. Небольшие запасы хлеба, мяса и соли, доставленные нами из Хинели, пришлось передать в распоряжение Фисюна, который объявил, что придется потуже затянуть пояса.

Кочан капусты или стебель табаку из огородов сожженного села оплачивался нередко ценой жизни или увечьем для партизан, натывавшихся на вражеские «сюрпризы». Начало каждого дня отмечалось пушечной канонадой; снаряды обрушивались даже на детей, если они осмеливались выйти из лесу.

Жалок был вид эсманцев из второй и третьей групп, потерявших в боях большую часть состава.

Напрасно командование отозвало нас из Хинели. Что мы тут должны делать?

Никто, в том числе и я, не понимал, к чему все эти лишения и необходимость «экономить на животе», если в Хинели всего вдоволь, а возвращение туда теперь, когда подорваны силы осадной армии, не такое уж сложное дело.

В самом деле, что тут делать? В Брянском лесу и без нас уже несколько десятков тысяч партизан, а на юге, вплоть до Черного моря, советские люди нуждаются в помощи и готовы принять участие в борьбе с фашистами, ждут, а мы уходим на север, в зону пустыни, голода.

Но в Брянском лесу дел оказалось больше, чем мы предполагали. Штабы разрабатывали планы большой важности: они готовились к выходу в далекий рейд на запад, за Днепр, на Украину!

Глубинные аэродромы, находившиеся в ведении партизан, принимали каждую ночь транспортные самолеты. Воздушные корабли доставляли из Москвы автоматы, противотанковые ружья, боеприпасы, медикаменты, радиостов с походными радиостанциями и даже пушки. Ощутимо было действие Украинского штаба партизанского движения во главе с генералом Строкачем.

— Мы — второй фронт, — повторил Фомич, погруженный в мысли и заботы о рейде. — Понимаете, какая ответственность возлагается на нас, Михаил Иванович! На правый берег Днепра выйдут объединенные силы Ковпака и все остальные отряды сумчан — Эсманский, Ямпольский, Знобь-Новгородский, Середино-Будский. Их возглавит Сабуров. Я иду с ними как комиссар. Все наши силы должны быть направлены к тому, чтобы как можно скорей и лучше выполнить указания ЦК партии.

Фомич развернул карту и показал мне примерное направление глубокого рейда, а также районы, куда должны выйти отряды Ковпака и Сабурова.

Все это было необычайно новым, волнующим. Фомич затащил меня в свой шалаш, который мало выручал от дождя и вовсе не защищал от холода.

— Вам и карты в руки, Михаил Иванович. Эсманский отряд необходимо реформировать. Нечего греха таить, вторая и третья группы изрядно обескровлены и деморализованы. Их нужно укрепить за счет бойцов и комсостава вашей группы. Мы уже наметили. В состав отряда должны входить четыре стрелковых роты, одна или две роты автоматчиков. Кроме того, надо иметь батарею и свою конницу. С прибытием вашей группы все теперь решается легче. Вы будете начальником штаба. Командиром останется Иванов. Подберите себе хороший штаб. Мы вооружим ваш отряд лучшей боевой техникой...

Фомич очертил на карте пальцем Полесье Украины.

— Нател! Смотрите, какой простор. От Десны до Слу-

ча! Есть над чем поразмыслить толковому штабу! Договорились? Беритесь же! Теперь наши глаза далеко видят. Мы еще дальше слышим: каждый отряд получает радиостанцию.

Фомич все воодушевленной говорил о рейде, а я листал хрустящие новенькие листы карты, оценивая предстоящий маршрут. Однако меня не прельщала должность штабиста. Казалось напрасным и ненужным переформирование моего батальона и всего отряда. Хотелось самому водить людей, обучать, воспитывать.

— Почему, зачем мне штаб, Фомич? Уж лучше группой командовать.

— Нет, Михаил Иванович, неправильно... Теперь, говоря по-вашему, не «великое сидение», а предстоит рейд! Да еще какой рейд! У нас много оружия, мы будем расти на ходу, отряд превратится в соединение... Словом, необходим толковый начальник штаба. Соглашайтесь. Говорите без дипломатии.

— Не хочу, Фомич. Не стану кривить душой... Но если это партийное решение — тогда...

— Подумайте: рейд! Большой, глубинный, по заданию Верховного командования.

— Все понимаю. В таком рейде и хочу командовать...

— Тогда этот вопрос решим в партийном порядке. Только с желанием, с огоньком приступайте к новому делу. Надо отослать в Москву списки, заполнить наградные листы, учесть погибших и пропавших без вести, дать сведения о вооружении, боеприпасах. Раненых, престарелых, женщин с детьми, чтобы не обременять партизанские колонны в рейде, — эвакуировать на Большую землю. Берите кого хотите себе в помощники...

Было поздно, когда, подписав наградные листы, сводки и отчеты, я направился со своими помощниками к командиру. С Ивановым мы встретились у костра, он только что прибыл из главштаба.

— Братва, по-новому делать надо! — обратился он ко мне с Инчиным вместо приветствия. — В рейд пойдут не все. Кое-кто останется у себя в районах... Теперь делиться надо.

— Вот и отлично! Мы пойдём, а вам в самообороне оставаться, как местному, — засмеялся Инчин.

— Да нет!.. Я тоже должен пойти... Оставят тех, кто послабей здоровьем. Так что теперь два отряда формировать надо: местный и рейдовый.

— Жаль,— уже не шутил Инчин.— Советовал бы вам остаться.

— Да, но кто же будет в рейде командовать? — вырвалось у Иванова.

— Ну, этому нас не учить,— сухо возразил Инчин.

— Ты местный, Иванов, и командуй себе местными, а мы пойдем на запад,— говорил я командиру.— Знаешь сам отношение военных ребят ко мне, я тоже люблю их. И потом: зачем я тебе в штабе? Толку не будет. Давай разойдемся по-хорошему, как боевые товарищи.

Мы договорились. Он передал мне командование военным отрядом. Я отправился в шалаш к Фомичу.

— Добрый вечер, Фомич!.. Теперь все собрались и всего хватает, даже кинооператоры прибыли. А дело стоит. Когда двинемся? Кто и почему задерживает?

— Вы! — отрывает Фомич голову от подушки.

— То есть?

— Сабуров все время не хотел выступать без эсманцев, а эсманцы — без вашей группы, без вас. Ковпаковцы же не выступят без Сабурова. Приказ следовать одновременно...

— Но ведь и я давно тут. И людей моих пораздергали уже... И вообще все это «утрамбовано» с полмесяца?..

— И теперь виноваты вы же...

— ?!

— Ну да, вы! Не одному же мне быть виноватым. Будь вы теперь в Хинели — все стало бы наоборот: Сабурову пришлось бы уходить без вас, а значит, и у Ковпака не было бы причин задерживаться с выступлением.

— Вы смеетесь, Фомич, конечно?

— Хотел бы. Ох, смеялся бы, да плакать хочется! Э-эх, Михаил Иванович! Вот случай вам, когда скрупулезная исполнительность командира оказалась во вред делу, хотя это, серьезно говоря, не ваша, а только моя вина. Чтоб вам подзатянуть свой выход из Хинели! На недельку бы!

— Так вы ж предписывали, просили не опаздывать?

— Просил, торопил, а теперь все круто меняется: остаюсь на Сумщине, не пускаю эсманцев в рейд, а значит, торможу выход Сабурова и, стало быть,— Ковпака, и все, все это рейдовое дело главного командования. Все надо раскручивать теперь назад: не в рейд, а в Хинель идти надо. Да с кем? С чем идти, когда своими руками лучших людей, лучшее вооружение отдал Сабурову?.. Отдал, а теперь с кем и с чем выходить на Сумщину? Надо, ох,

как надо туда, но с чего начинать, куда причалить, на чью базу?

— Значит, Фомич, вы уже не комиссар Сабурова, а в его «самооборону» вас зачислили? — догадываюсь я.

Фомич жарко взмолился:

— О какой самообороне речь! Вот решение Политбюро ЦК. Читайте шифровку. Назначен секретарем подпольного обкома... Мы должны сейчас же отправляться на Сумщину, надо поднимать народ... Читайте... Воля партии... Вы тоже должны остаться со мною, Михаил Иванович...

— О нет, Фомич!

— Как? Вы решаетесь идти с Сабуровым? Ведь только вчера были неудовлетворены...

— Удовлетворен! Принимаю рейдовый отряд, Фомич, пойду со своими военными эсманцами! Я не расстанусь с друзьями. Поход будет интересным и почетным... Вот акт о приеме отряда этого.

— С друзьями! А меня к их разряду не причисляете? С кем оставите? Думали об этом? Напрасно, напрасно не посоветовались со мной! И что за акт, кому теперь нужны эти бумажки! Эх вы, Михаил Иванович, я-то думал, что мы понимаем друг друга. Неужели ошибся?

Он встал, оделся, вынул из московской посылки жестяной бидончик и налил в два стаканчика. Мы чокнулись. У меня перебило дыхание.

— Что это?

— Не пили? Спирт!

— Да, впервые...

— Москва прислала. Там знают, каково нам приходится — и горько и солоно...

Фомич достал и папиросы. Мы закурили «Пушку». Синие кольца дымаплыли над горящей плошкой.

— Зачем, зачем, Михаил Иванович, вы так поступили? Откажитесь! Я буду радировать. Вас утвердят в ЦК. Получите полную возможность применить свои знания и опыт! Имею право не снять вас с партийного учета, но этого я не сделаю. Взываю к дружбе. И что вам Сабуров?..

— А для чего из Хинели вызвали? Ведь и оттуда могли бы в рейд выйти. Зачем же был весь этот гром и риск?..

— Да, ваша правда. Ошибка, — оправдывался Фомич. — Тогда я не думал о том, что наш второй фронт должен

проходить повсеместно в тылах противника. Теперь ЦК поправляет меня... Мы обязаны выполнить задание партии. Мы поднимем людей на Сумщине!.. Наша работа столь важна и ответственна, как и рейд на Правобережье.

Фомич налил еще.

— За Москву.

— За победу. За наш рейд на Сумщину!..

Промахи, неудачи, недомыслие,— обо всем этом шла речь в уютном, студеном шалаше. Говорили самокритично, прямо. Разобрали и чужие и свои ошибки. Мы не спали в ту ночь. Говорили о том, не слишком ли робко, с оглядкой на других боролись мы в этот минувший 1942 год? Не излишняя ли осторожность помешала Эсманскому отряду подняться на более высокий уровень борьбы с захватчиками, развернуть ее вглубь и вширь, как призывал ЦК, как этого требуют теперь партия и правительство?.. Почему прошлой зимой мы так неуверенно и скупо принимали в свой отряд людей, готовых бороться с захватчиками? Священным долгом и обязанностью большевиков, оказавшихся в тылу врага, было помочь этим людям взять оружие в руки. Разве не могли мы поднять все районы области на борьбу с оккупантами?.. Что этому мешало? Чего ждали мы? Почему, в конце концов, отказывали людям, не зачисляли их в наши отряды?

Говорили прямо, чтоб не возвращаться впредь к этим вопросам, чтоб встретить новые трудности по-большевистски.

— Верно, Михаил Иванович! Правильно! Нужно проверять нашу линию поведения партийной критикой, обсуждать коренные вопросы борьбы в парторганизациях, больше советоваться с командирами, учиться и у рядовых партизан мудрости.

Мы уже поклялись не расставаться друг с другом.

Я заверил, что, несмотря на страстное желание мое уйти в рейд, несмотря на то, что мне бесконечно жаль расставаться с боевыми товарищами, я подчинюсь голосу боевой дружбы и останусь на Сумщине вместе с ним, Фомичем, что мы, конечно, вовлечем новых людей в партизанскую борьбу.

Было уже темно, когда мы вышли из шалаша. Октябрьская ночь была непроглядна и холодна. Ветер доносил слова песен. Пели те, кто собирался в дальний

поход на запад. Я распротился с Фомичем и направился на голоса поющих.

У костра сидели эсманцы-военные. В общем хоре приятно выделялся тенор Инчина. Он выводил, перебирая струны гитары:

Армия лесная, брянская,
Снова двинется в поход.
Слава наша партизанская
Океаны перейдет!..

Вымытые, постриженные и выбритые партизаны обступили меня.

— Скоро ли выступаем, товарищ капитан?

— Когда в поход скомандуете?

— Вы скоро, а я...

— Не пойдете? В «самообороне» останетесь?!

— Да, други... Если и я уйду с вами, то кто же будет продолжать борьбу на Сумщине? Я остаюсь, ребятки, и буду командовать Сумскими отрядами.

— Да кем же командовать? Ведь мы-то все уходим!

— Организуем новые силы. Теперь мы мастера по этой части. Фомич, Гончаров, Красняк, Фисюн, Гусаков, Анисименко, Лесненко — вон какая сила! Не так ли? Вы уйдете на правый берег Днепра, а мы будем действовать на левом, — на борьбу с фашистами поднимается вся Украина! Каждый из вас может быть командиром! Прощайте, ребята! Спасибо за службу, за дружбу, за славные хинельские походы! Верно служите Родине, партии, помните партизанскую присягу! Счастливого пути, друзья боевые!..

Сердце мое было переполнено любовью ко всем этим людям. Я крепко пожимал руки юноше-командиру полковых минометов Саше Юферову, всегда веселому, храброму комроты Сачко и его политруку молчаливому челябинцу Волостникову Феде, суровым, отчаянным волжанам Буянову и Колганову, скромным и безупречным Богданову, Пращакону, Мухаммедову, Яковлеву, артиллеристам Ромашкину, Родионову, воентехникам Кулькину, Васину, лихим разведчикам Талахадзе, Сарганьяну, пионеру, начальнику боепитания Васе Анащенко...

Бреду, минуя лесные кварталы с их шалашами, землянками, дзотами. И все, буквально все, что ни бросается в глаза, на что ни наступит нога, к чему ни прикоснусь, — все будит воспоминания, тревожит и впечатляет.

Не остановить мне ни весомых горячих дум, ни быстрых мыслей даже во сне.

Свершив набег, мы в лес густой
С трофеем добытым уходим
И там над сводкой фронтовой
Минуты отдыха проводим...—

звучат в моих ушах стихи Инчина, посвященные героическим делам конников Петра Гусакова. И вот она, светлая под березами поляна, где будто и теперь звенит голос сероглазой, русокосой девушки:

И те ясные очи стухнули,—
Спит моги-и-ильным сно-о-ом
Душа-деви-и-ца...

Нет среди нас теперь Нины Белецкой, нет многих ветеранов нашей боевой семьи. Погребены герои — организаторы отряда Василий Копа, Федор Бондаренко, Терентий Дегтярев, Иван Забелин. В заднепровском Полесье сложили свои головы их мужественные последователи — Бродский, Сарганьян, Талахадзе...

Я снова у штабной землянки, где уже золотятся окнащели и выются искры над плоской крышей, где бочкапечка и удушливый табачный дым, где не прекращаются дебаты даже ночью — решался вопрос о рейде на юг, решалась судьба хинельской армии.

Дымят трубы над землянками, стучат движки радиостанций, пылают костры в «Копайгороде».

Бурлит жизнь, тысячеголосо гомонит зимний партизанский лагерь.

Это — цитадель партизанского движения Сумщины, это — Сумский обком и штаб. А вокруг — землянки хинельцев, новый мой отряд, руководимый Инчиным. Недалеке — конотопцы, эсманцы, ямпольцы, а также ново-созданные отряды центральных районов — Шалыгинского, Недригайловского, Глуховского и Шосткинского.

А далее, в одном-двух километрах, — кольцо землянок второй Севской и двух Курских бригад. Кроме того, весь «Копайгород» сумчан, орловцев, курян опоясан обручем дзотов. Они построены по общему плану обороны: дзот на каждые сто-двести метров. Но и это еще не вся цитадель. Она имеет свои «пригороды». В погребах и подвалах лесокомбината, вицзавода и на месте уничтоженных сел — Подывотья, Подлесных Новоселок, Быков и Забы-

того — живут партизанские сторожевые заставы, где взвод, где рота. Они тоже имеют свои дзоты.

В Хинельском лесу тесно. Партизаны заняли много сел и вновь, как десять месяцев назад, загнали оккупантов в Глухов, в Рыльск, во Льгов, в укрепленный Севск. Вокруг Хинели опять возник партизанский край. На юго-восточной его границе стоят батальоны Курских бригад, на южных — эсманцы, юго-запад оберегает бригада Гудзенко, север — вторая Севская бригада Коновалова.

Хинельский лес стал укрепленным районом — с пехотой и конницей, с радиостанциями и аэродромом, на который каждую ночь прибывают самолеты.

На дворе морозно. Слышно, как поскрипывают шаги часового, гудит пламя в раскаленной докрасна печке. Я один в землянке, и снова во власти дум. На стене карта. Сверху до низу она прорезана красной изломанной линией — это предполагаемый маршрут рейда на юг области. Туда — к Мирополью, Сумам, району Ахтырки, Харьковщине — устремлены сейчас мои думы. Туда пробирались наши разведчики, инструктора и связные Фомича. Тернист и опасен их путь в суровых зимних условиях в открытой степной местности. Экипированные под местных жителей, с гранатой и пистолетом в кармане, они то пешком, то на одинокой подводе пробирались глухими дорогами от одного села к другому, отдыхали под копной сена или на болоте в торфяной куче, в яру под снегом. Многие из них уже пропали бесследно, другие, как группа Петрика из Конотопского отряда или Николенко из Глушкова, вернулись обмороженными, полуживыми. Распространение листовок, газет, сводок Советского Информбюро и магнитных мин, поиски и восстановление связей с местными подпольными центрами — вот их опасная работа.

Туда же, в открытые степи Харьковской области, ушли со своим отрядом Воронцов и Гуторов. Ушли и словно в воду канули...

Сначала сообщали о себе ежедневно. Но потом их рация замолчала. Встревожился Сумской штаб. Три запроса о них поступило к нам из Москвы. Однако ни Воронцов, ни Гуторов не открывались...

Что с ними? Неужели такова трагическая участь всех, кто отправляется в степные районы Украины?..

«Новый удар наших войск юго-западнее Сталинграда!» — читаю в сводке, принятой по радио.

«А что сделали мы, партизаны Сумщины? Немногое!»— отвечаю сам себе и снова смотрю на карту, на южные области, где все для меня таинственно, где за двухколейную магистраль Ворожба—Льгов не ступал еще ни один партизанский отряд и даже мы, Сумской штаб, не знаем, есть ли на юге области хоть какие-нибудь партизанские группы...

Правда, нами подняты на вооруженную борьбу многие районы, Эсманский отряд никогда еще не был столь большим. Он имеет в своих рядах до девятисот бойцов, почти столько же Ямпольский. Дела Сумского штаба одобрены Центральным штабом. Но ясно, что лучшее — враг хорошему.

Для второго года войны — этого мало и мало. Москва ждет от нас действий на юге области, на главных коммуникациях врага. Почти ежедневно об этом напоминают нам и радиogramмы главштаба. Напоминая, Украинский штаб шлет для наших отрядов оружие, боеприпасы, взрывчатку, фуфайки и шапки, мыло и соль, табак и медикаменты. Новые условия и обстановка, — совершенно иной должна быть и наша тактика.

Силы партизан огромны, тылы противника почти голы, зима — лучшее время для рейдирования большими силами: ночи — длинные, дороги — легкие, мостов и бродов искать не нужно. Это ли не условия для стремительных партизанских рейдов!

Скорее надо выступать, разворошить южные области, обрубить коммуникации врага на самом ответственном направлении: Киев—Харьков! Курские партизаны должны поддержать наш выход силой двух бригад. Они оседлают магистральные пути Курской дороги! Севская же бригада активными действиями может прикрыть наши тылы. А Гудзенко ударит по магистрали Конотоп — Бахмач. Вот как обязаны мы откликнуться на удары наших войск у Сталинграда, и в этом выразится наша помощь фронту!

Так я думал еще позавчера. Так планировали мы с Фомичем и полковником Мельниковым, беседуя, советуясь изо дня в день на протяжении ноября и декабря. Но вот уже пришел и январь 1943 года, а нашему возу все нет ходу, мы еще не могли одолеть тактических разноречий. И я, как один из членов штаба, говорю:

— Нет, Фомич! Пока вы думаете да решаете, я пойду, хотя бы с сотней конников. Я сформирую кавалерийский

отряд, обскочу южный край области, загляну к соседям — на Полтавщину, лично разведую все. Иначе что же мы за руководство партизанским движением? Что скажем мы ЦК, Политбюро, которые утвердили нас руководителями Сумского штаба?..

Стук в дверь обрывает мои размышления.

Вместе с клубами холодного воздуха в землянку входят командиры. Подтянутые, чисто выбритые, каждый при полной форме. Они пришли точно к назначенному сроку — в 16.00.

Сегодня последнее занятие.

Обычное командно-штабное занятие в классе. Тема: «Дневка отряда в селе после ночного марша».

Командиры усаживаются за стол, разворачивают свои учебные карты с обстановкой и решением задания. Вот докладывает Петро Гусаков. Его слушают: Кочемазов со своим конотопским штабом, Пастушенко и Сыпливий — от ямпольцев, Щебетун, Рогуля и Лаврик — от недригайловцев. Козлов и Анисименко — от эсманцев. Тут же Инчин и его комиссар Говоров.

— Так что, товарищ капитан, — начинает докладывать Гусаков, — справа у нас гарнизон, слева — бронепоезд на станции. Я должен провести свой отряд через железную дорогу, а после, до наступления утра, расквартироваться в удобном месте на дневку...

Чуб Гусакова свесился над планшетом, брови сдвинуты, на высоком лбу проступили мелкие капельки пота. Работа над картой для него большой труд. Он просился освободить его от рейда «по чужим районам», уверяя, что не сможет командовать «в степу», так как не умеет владеть картой.

После месяца упорной учебы он освоил чтение карты, но учебная программа предъявляет новые требования. Взяв одну высоту, Петро вынужден карабкаться на следующую кручу. Закончив курс военной топографии, мы «брали» на классных занятиях следующие «рубежи» — разрабатывали специальную тактику, которая будет применяться в будущем рейде.

— Так что решил я, — вытирает Петро лоб, — пройди напрямик под путями через вот эту трубу. — Палец Гусакова указывает то место на карте, где у небольшой балки значится виадук. — А на дневку займу Велику Неплюевку, ось тут червоным карандашом указано... — Петро

выпрямляется и облегченно вздыхает, словно снял с себя тяжелую ношу.

Я гляжу на карту Петра. Жирная линия пропахала на бумаге глубокую борозду. Все решено у него верно, азимут вычислен без ошибки, место пересечения железной дороги удачное.

— Все хорошо, Петро, одно плохо: скажи, как далеко избранное тобою село от магистрали?

— В семи километрах. На карте обозначено...

— Вижу. Садись. А кто тебе оцепит село, закроет ходы и выходы, вышлет по дорогам разведку, выставит заставы? И завесит окна, коней, возы и тачанки укроет, чтоб днем не обнаружили самолеты?..

Моя «академия» работает строго по расписанию уже второй месяц. Ежедневно по два часа в классе, по четыре — с бойцами в поле. Мы отработали и встречный бой, и действия отряда в засаде, и ночной марш, и действия по уничтожению железнодорожного моста, и еще до десятка других задач, необходимых для командиров в условиях предстоящего рейда по открытой степной местности.

— Завтра, — объявил я командирам, заключая занятия, — пристрелять оружие и провести стрельбы. Каждый боец и командир должен знать бой своего оружия, чтобы верить в него при стрельбе по живым целям. Не должно быть ни одного бойца, который не поразил бы головную мишень в «десятку».

Занятия окончены, командиры вышли. Я иду к радиостам. Они — зеленая молодежь. Их теперь больше. Три девушки проходят курсы. Они уже изучили настройку, овладевают передачей «на ключ». Я хочу, чтобы каждый отряд в рейде имел свою радиостанцию.

— Воронцова не слышно, — докладывает старший радист Леня Мали. — Москва предлагает самолеты на посадку. Каков будет ответ?

— Стучи: «Принимаем с посадкой самолеты любых типов. Сигналы опознавания старые».

Мали выстукивает наш пароль, переходит на прием. Агафонов быстро зашифровывает текст ответа.

«Два на посадку, — думаю я, — словом, через четыре часа надо быть на аэродроме».

Я ухожу к себе, где уже поджидает меня Баранников. Поверх шинели он одел белый халат, в руках — новенький русский автомат, на боку в прорешке халата у него

виден бронзовый эфес шашки. Лицо обветренное, взгляд строгий, прямой.

— Что, Коля, саван напялил?

Баранников теперь командир комендантского взвода по охране штаба. Он же начальник хинельской конной разведки.

— Только что с тактики,— рапортует он.— В разведку на ночные учения ездили.

— А каковы успехи?

— Ручаюсь: все, как один, владеют компасом. Седьмое задание выполнено!

— Присядь, Коля. Дай разработку Инчина...

На 26 декабря в расписании занятий его четким почерком помечено: «Вождение отряда по азимуту без дорог, ночью. Задание: найти спрятанный пулемет в квадрате 23—02-б...»

— Ну, и как, нашли пулемет?

Баранников смеется:

— Без затворной рамы... Бойцы весь квадрат клинками перепахали; думали, что заваливший какой случайно попался, ну, и сомневаются...

— Так вот, скажи им, что они молодцы, работают, как настоящие разведчики, что эта наука поможет им в Степном рейде.

— Ничего не скажешь: наука надежная, все понимают,— соглашается Николай.— Только и науки уже все прошли, говорят бойцы, а дела настоящего все нет и нет, Михаил Иванович! И маскхалаты пошил я, и брюки ватные... Хорошо бы, Михаил Иванович, и коней маскхалатами снарядить. Для разведчиков... Дозвольте на это дело материальчику!

— Посмотрим, Коля, что Москва подбросит. А сколько надо?

— Да что там, пустяк. Из двух парашютов двадцать халатов для бойцов пошито, а на коней, думаю, четырех достаточно.

От десантного снаряжения у нас нет остатков: из сумок и грузовых мешков шьем одежду, из ремней и добротных пряжек делаем превосходные подпруги к седлам, вата целиком идет на фуфайки и брюки. Из полотна парашюта в первую очередь изготавливались бинты, затем халаты, подкладка для теплых вещей и белье. Даже стропы, и те шли в дело: из них наши портные вытягивали отличные нитки, которые тут же запускали в машинки.

— Нет, Коля! Четыре парашюта нам дороже двадцати лошадей. Лучше уж сорок бойцов обеспечить халатами.

В землянку вваливается Воронцов. Багроволицый, в черной романовской шубе, весь покрытый инеем. Не поздоровавшись, он тяжело опускается на стул. Бренчит колодка маузера. Не глядя на меня, глухо докладывает:

— Стою... в Ломленке снова!..

Долго глядит, словно целится прищуренными глазами, на висящую карту Сумщины...

— Не прошел!— упирается в меня воспаленным, вызывающими взглядом.— Не пробился на Харьковщину...

— Вижу. Знаю, почему разбит... и все потерял под Теткиным...

— Не знаешь. Я не доносил... о последствиях. Нечем было.

— Все равно знаю,— повторил я.

— Угадываешь! А может, кто из моих рассказывал? Доносчиками обзавелся?..

Я улыбаюсь дружески.

— Тебе, Воронцов, больше верю!

— Ну, так говори, кто ябедничает?

— Циркуль подсказывает... Да, да, не удивляйся, измерения циркулем. Вот этак!

В темных глазах Воронцова блестят недобрые искорки.

— Смеешься, капитан! Или совесть потерял в большом штабе? Мне в Кумовых Ямах не до смеху было... И не тебе бы подыгрывать этому!

— А я серьезно! Хочешь, скажу, в чем дело?

— Н-ну?

— Ты плохо шел, Воронцов. Медленно, слишком вяло продвигался с отрядом — каких-нибудь километров десять в сутки, не больше. И разведка... Что за метод разведки? Послать на сто километров вперед ее, приморозить себя к одному месту. И сидеть ждать трое суток, ожидая разведанных. Это же не в лесу тебе. В степях так нельзя! Ну, кому нужна такая, с позволения сказать, разведка?

— Ерунда! — вскакивает Воронцов.— Какие там десять! Я и по сорок километров делал, ежели знать хочешь!

— Да. А в среднем сколько? Давай посчитаем: до Кумовых Ям от нас семьдесят километров. Так? Гляди: меряю циркулем.

Воронцов зорко следит за каждым шагом циркуля, я отсчитываю:

— И обратно столько же. Всего, стало быть, сто сорок. Правильно?

— Пусть будет сто пятьдесят. И что с того?

— Сколько дней ты рейдировал?

— Семнадцать.

— Вот и дели сто сорок на семнадцать. Семь с половиной в сутки! Ты ж променаж для аппетита делал, а не рейдировал! Сам по себе ударил!..

— Врешь!

— Пересчитай, если не верится!

— Нет, ты сам сходи в степь для променажа, сам попробуй! Это тебе не циркулем средние цифры выкручивать! Сходи понюхай, чем пахнут степи украинские!

— Не злись, Воронцов. Я уважаю тебя за смелость! Твой рейд — наука, пробный камень, брошенный в воду. Я делаю из него выводы, учусь... Вместе пойдем скоро, и уж доведу тебя до Харьковской области. Согласен?

— С тобой, капитан, пойду! Только дай срок, надо подэкипироваться...

Отбив радиограмму генералу Строкачу, Воронцов уехал в Ломленку, а я вслед за ним отправился на аэродром. Девять изб поселка Водянки до самых крыш замело снегом. Поселка не видно. Торчат из-под снега только трубы.

Полная луна висит в прокаленном морозном небе. В пустынной тишине слышится только скрип снега под ногами, по всему пространству аэродрома пылают крестообразно сложенные костры из сухих бревен — условный знак для посадки самолета.

На аэродроме все командиры бригад: Панченко и Казанков, Коновалов и Гудзенко. Каждый уверяет, что ожидаемый самолет — к нему, и каждый прибыл на аэродром с эскортом и обозом для боевого груза. По праву начальника копайгородского гарнизона и хозяина хинельского аэродрома я оцепляю посадочную площадку конниками Баранникова — все они знают, что пока не закончена разгрузка, к самолетам, кроме командиров бригад, подпускать никого нельзя.

— Гудит! — произносит начальник аэродрома капитан Туркин, а через минуту добавляет: — Летит!

На небосклоне зажигаются две зеленые звезды, они движутся к нам, гуденье усиливается, с аэродрома летят в зенит три красных, а по горизонту две зеленых

ракеты, самолет рассыпает зеленые и красные гирлянды с бортов, кружит над нами и снижается.

Вдруг вспыхивают ярким, режущим глаз светом два прожектора самолета. Весь аэродром блестит и сияет, как исполинская накрахмаленная скатерть. Вздыхая тучи снега, корабль скользит вдоль костров по аэродрому...

Через полчаса был я у Инчина. Его маленькая землянка превратилась сегодня в мою штаб-квартиру. Разложив на столе, на кровати и даже на полу простыни топографических карт, Инчин выхватывал похрустывающие листы и, справляясь со сборной таблицей, вручал их начальникам штабов отрядов. Начштаба конотопцев Байдин помогал Инчину.

— Совсем зарпортовался! — вскинул белокурую голову Инчин и поправил рукой належавшие на глаза волосы. — Еще не успел вручить карты, а тут с аэродрома приволокли груз. Когда потрошить мешки — понятия не имею. Просил комиссара рассортировать десантные грузы. Да вот и он, — обернулся Инчин к двери.

В землянку вошли Говоров, незнакомый розовощекий блондин и девушка — в зеленых ватниках и в полном снаряжении.

— Ого! Должно, гости из Москвы! — сказал Байдин.

— Так точно! — излучая радость из больших выразительных глаз, ответил десантник.

Говоров указал ему на меня.

— Разрешите представиться, — картаво начал прибывший. — Старший лейтенант Мельник и радистка Кононенко Валерия, по распоряжению начальника УШПД прибыли в ваше распоряжение на самолете...

Я подал Мельнику руку. Девушка приложила ладонь к ушанке.

— Как прибыли — ясно. Карту, компас, конечно, знаете. С военным делом знакомы? В боях бывали?

— Ориентируюсь. Окончил артучилище. Десантирован вторично. Первый раз выбрасывался на установление связи с Героем Советского Союза Орленко.

— Нашел Орленко?

— Награжден Красным Знаменем за эту операцию. Полтора месяца пешком да ползком... четыреста верст, с Черниговщины в Белоруссию... А теперь сюда. Вот предписание главштаба.

Мельник вручил мне свое удостоверение.

— Очень хорошо. Пойдешь в рейд. Назначаю тебя начальником штаба. Обзаводись сейчас же связными, списки партизан собери, позаботься об охране главрации и с рассветом выдвинь отряды на исходный рубеж — в села. Не забудь подобрать коня. Боевой приказ на марш — у лейтенанта Инчина.

Склонив голову, Мельник внимательно слушал, делал заметки в блокноте. Оглядев его подтянутую, приосанившуюся фигуру, его свежее, по-девичьи румяное лицо, я спросил:

— Должность подходит?

Мельник добродушно рассмеялся.

— С самолета на коня, товарищ капитан! — воскликнул он. — Как с корабля на бал. Впрочем, это по-десантному! — Букву «р» Мельник не выговаривал, и этот маленький недостаток речи придавал ему что-то мальчишески наивное, располагающее.

— Наоборот — с бала на корабль, — сказал я. — Только не в море, а в степи ринемся, поднимай все паруса.

— Есть! — стукнул каблуками Мельник. — Приступаю. А пока позвольте заготовить приказ о моем назначении.

Я обратился к радистке:

— Рацию опробовали? Надежна ли будет связь с Москвой?

Валерия заверила, что связь устойчива и аппарат в ее руках всегда безотказен.

— Небось, душа дрожит от сознания, что в тылу противника. Угадал? — дружелюбно сказал я, вглядываясь в правильное, очень миловидное лицо радистки, и она взволнованно заговорила:

— Вы, конечно, не помните бойца третьей группы, а я вас хорошо знаю, товарищ капитан.

— Вот как!.. Действительно, вас я видел где-то!..

— Меня летом отправили на Большую землю, как подростка, — спешила высказаться Валерия. — Когда я закончила курсы радистов, напросилась именно сюда, к эсманцам. Я вместе с ними пережила трудности весны и прошлого лета. — Голос девушки немного дрогнул. — Так что, — поспешила заверить она, — я вполне дома. — Поглаживая рукой коробку своей рации, она продолжала, глядя немного в сторону:

— И хотя здесь нет больше моей мамы, а также нет жизнерадостной Ниночки и командира Хомутина... — она посмотрела мне прямо в глаза, — я счастлива.

— А мы и подавно рады! — попытался развеселить я радистку.— Нам вдвойне приятно заполучить и радиостанцию, и принять юного бойца старой хинельской гвардии!..

Я вспомнил майскую блокаду, как бросал Эсманский отряд коней, боевую технику в болотах, и молодую киевлянку с всегда печальными глазами. Больная, она неспособна была передвигаться пешком и осталась тогда для ухода за нетранспортабельными ранеными.. Это и была мать Валерии..

Инчин прервал этот грустный разговор, предложив позавтракать.

— Заверяю вас,— галантно обратился он к радистке,— в совершенном нашем гостеприимстве! Просим снять пистолет, а также бушлат и кортик и выпить стакан чаю с нами.— Он светло, беззаботно рассмеялся: — Эх, Валюшка, подросла, забыла, как на снарядах в дождь ехала. Ну, при моей пушке в Герасимовку?

Усевшись за стол, на котором вместо карт появилась скатерть, все дружно принялись за еду. Инчин приправил завтрак рассказом про историю здешнего края.

— Вот так же, в 1103 году, у Долобского озера Святотоплк и Владимир Мономах сговорились двинуться на половцев. И разгромили половецкие орды..

Уминая домашнюю колбасу, Инчин продолжал:

— Через восемь лет эти князья повторили, так же успешно, поход на исконных недругов.

— Половцев? — спросил Мельник.

— Предложи чарку, тогда отвечу,— слукавил Инчин.

— Конечно же, налить! — дружно поддержали все.

Вместо тоста Инчин пропел, чокаясь с каждым стаканчиком:

Ви-и-жу, пра-а-деды, я вас,
Испивающих ковш-а-а-ами
И сидящих у костра
С красно-сизыми носами!..

— Чудесно! Но остановились мы на вторичном разгроме степных кочевников,— отозвался Анисименко.

— Точно... Но более значительный поход был в 1184 году, под началом Святослава киевского, только..

— Опять чарку?

— Ну что вы! Я хотел сказать, что не получилось у наших предков единства, чувства локтя не было: князья сиверские не захотели объединиться с киевскими..

— Что это за «сиверские» князья?

Инчин усмехнулся.

— Теперь бы, пожалуй, их назвали хинельскими или черниговскими. Дело в том, что к сиверским князьям относились княжества здешних мест: Путивльское, Глуховское, Севское, Трубчевское, Новгород-Сиверское...

— И правда, хинельские! — рассмеялся Анисименко.

— Так вот, эти сиверские князья в следующем году самостоятельно пошли воевать половцев, но, как известно, потерпели страшное поражение.

Князь Игорь, его брат и сын попали в плен. Об этом как раз говорится в «Слове о полку Игореве»...

— О самодурстве местных вождей хорошо сказано у Энгельса... — заметил Говоров. — Впрочем, оно присуще и нашей партизанской войне, в тех случаях, когда мы действуем несогласованно.

— Хватил, брат.

— Ничего не хватил!.. Послать бы в степи не семь наших отрядов, а всю хинельскую гвардию, да ковпаковцев с сабуровцами, да курских с брянцами, всех орловских партизан — была бы поэма не хуже «Слова о полку Игореве»!

— Не голова, а дворец Советов у моего комиссара, — восхищенно глядел на Говорова Инчин и патетически декламировал: — «Пора, пора, трубят рога!.. Хочу копье переломить в конце поля половецкого, хочу голову сложить или напиться шеломом из Днепра-Слаутича!..»

Инчин поднялся из-за стола. Он заверил нас, что с точки зрения истории наш рейд будет четвертым степным походом!

Глава II

ПРОЩАЙ, ХИНЕЛЬ И ГЛУХОВЩИНА!

Вечерело, когда мы покидали «Копайгород».

Длинной говорливой цепочкой вытягивались обозы на линиях и просеках. Провожали нас Фомич и гости из Москвы.

Собрались старые боевые друзья и товарищи — все те, кто оставался в распоряжении Фомича: Гнибеда, Красняк, Лесненко, строгий эскулап Оксана Кравченко, повар Клавдия Поправко.

Провожающие наперебой кричали:

— Прощайте, товарищи!

— Боевых успехов!

Кто-то шутливо выкрикнул:

— Ежели пуля — то мимо, а если снаряд — то стороной!

Анисименко достал из походного мешка баклагу.

— Гульнем! — потрянул он зачехленной фляжкой, в ней что-то звякнуло. — Осталась дырка от бублика! — сокрушенно произнес Анисименко, оглядывая пропитанный спиртом чехол стеклянной баклаги. — Разбилась. Ну, ничего, разделим и капельки.

Он вылил остатки спирта в кружку и каждому дал глотнуть, а остальное выпил сам и тут же спохватился:

— Эх, командира обнесли! Что будем делать? Извините меня, пожалуйста!..

— Выпей, капитан, мою чарку, да кибитуй крепче в степях украинских! — растрогался постаревший Фисюн. — Эх, да мне бы годков хотя бы с пяток скинуть!..

Взволнованно приблизился Петро Гусаков. Я обнял и расцеловал его в обе щеки. К этому человеку у меня было особое, почти родственное чувство: ведь с него, от хаты его отца и матери началась моя партизанская дорога...

— Петро, Петро, лихой конник! Как же в лесу останешься? Садись в мои розвальни!

— Не пущу, капитан! — сказал Фомич. — Нельзя пустить его. Он первым Эсманским у меня командует...

Немного в стороне прощались с радисткой Аней родные: мать, две сестренки — Маруси, брат Ванюша — пятеро голубоглазых, взволнованных, трогательно любящих...

Поодаль стоял лейтенант Байдин. Наконец он подхватил Аню под руку, усадил ее рядом с Валерией. Тхориков — особоуполномоченный Фомича по связи с подпольем — натянуто улыбался девушкам и недружелюбно косился на чернявого лейтенанта:

— Ничего... Аня, Анечка, я просил — Фомич дал слово: их сегодня же отправят на самолете — и маму, и обеих девочек — на Большую землю.

Инчин, смеясь, подошел к саням и, словно не видя Тхорикова, склонился над Аней и Валерией:

— Эх, милые! Не вздыхайте глубоко, — не выдадим далеко! — Он, схватившись шутливо за сердце, отшатнул-

ся. — Н-ну, глаз-за! Умрешь — не забудутся!.. Только нет, лейтенант Байдин — не в моем вкусе, девушки. Не по моей широкодушной натуре, — он скопил глаза на Аню, — слишком строг этот милый профиль! Слишком глубоки очи сержанта Валерии.

— Отделенный Савченко! Сержант Кононенко! — воскликнул вдруг Инчин, давая понять, что окончены провозажальные церемонии.

Валерия, с радиостанцией в одной руке, с рюкзаком — в другой, выскочила из саней и шагнула к Инчину и отделенному Савченко.

— Представляю! — официально и сухо объявил Инчин. — Этот партизан — ваш первейший боевой друг, брат, отец. Он головой отвечает с этой минуты за вашу безопасность и жизнь, и без него на марше — ни шагу, а на стоянке — тоже. Со всем, что вам нужно и что не нужно, обращайтесь к нему. Такова воля командования. Ясно?

Мартынов и Дрожжин отозвали меня в сторону.

— Предостерегаем, — сказали они тихо, — сделаете непоправимую ошибку, если соединитесь с фронтом... Знайте, что ЦК нужны партизаны только в тылу противника... Ни при каких обстоятельствах не выводите их в обоз Красной Армии.

Они не могли сказать большего — того, что разумелось само собой. Предстояли генеральные сражения наших войск за Харьков и Донбасс, мы уже догадывались, что скоро начнется наступление наших войск и на Украине.

Не торопясь и тщательно выбирая слова, Мартынов напомнил о бдительности и сказал как-то вскользь, что было бы чрезвычайно ценным разведать военную и военно-политическую обстановку на юге, особенно в районе Винницы...

— Условимся, — сказал он, — что никому об этом — ни слова...

Я сел в розвальни, Анисименко рядом. Пара серых коней рванулась, взвизгнули полозья, заскрежетали на крутом заледеневшем раскате.

Мелькают стволы дубов, рыжие, утопающие в пухлом снегу кустарники, стучит передок саней на ухабах.

Дорога, вначале кривая и горбатая, а потом гладкая и прямая, ведет к лесокомбинату.

Вечереет. Матово-розовая кисея висит на деревьях, горит, светится тысячами искр на солнце.

Промчали дубовый массив. Миновали старый сосновый бор, поляну с березами.

Вьются синеватые дымки из руин лесокомбината. Вот и бугорок, столетняя сосна и поникшая береза. А вот и обелиск с большой деревянной звездой, окрашенной охрой. В ушах невольно звенит тоскующий напев:

На опушке леса бр-рат-ская могила,
А над ней березонька одна!
Брянска-а-ая березонька славу сох-ра-ни-и-ла,
Партизан-героев име-е-на!..

— Прощай, Хинель,— наша колыбель и школа,— вырвалось у Анисименко.

Резвые кони перешли на галоп. Впереди неоглядные поля.

Мысленно представляю оперативную карту. Верхняя рамка ее залита ясной зеленью, нижняя покрыта голубизной — разливом Черноморья. А меж ними, испещренные надписями, всевозможными линиями, значками, огромные белесые пятна — украинские степи... Большие города, села, густая сеть работающих на врага дорожных магистралей.

Там тысячи, миллионы людей, готовых подняться на вооруженную борьбу с оккупантами. Они ждут нас. Центральный Комитет посылает туда нас — хинельскую гвардию.

— Как думаешь, Иван Евграфович? Не многовато ли взяли мы на себя и не правы ли те, кто твердил, что рейд наш — бесплодная гибель?!

— Нет!— решительно возразил комиссар.— Бесплодной гибели не бывает в таких делах. Упадём мы — встанут другие, а потом, надо же брать кому-то на себя эту ношу! Кто-то должен проявить риск. Как это у поэта: «Я сильный — дайте мне доспех потяжелее!..»

— «Потяжелее»! Крепко сказано. Однако на сердце у меня нехорошо. Зачем согласился взять Тхорикова? Почему Фомич послал особоуполномоченным именно его? Каким путем втерся Тхориков снова в доверие? И более того: сумел реабилитировать себя, ему прощены и ошибки и даже — пороки? А Кусачев! Тоже высокомерный, несимпатичный...

Анисименко молчал.

Я категорически возражал, когда Фомич буквально навязывал мне этих уполномоченных. Не хотел брать их,

ибо знал о неблагоприятных поступках Тхорикова — о его трусости и моральной нечистоплотности, о том, как бросил в беде он первого руководителя эсманцев Копу и как дуэльничал по пьянке. Но Фомич уговорил москвичей и настоял на своем, сославшись на то, что только Тхорикову известно о подполье в Сумах, что в его руках все ниточки подпольных связей там, на юге...

Пришлось подавить антипатию к этому человеку, уступить необходимости.

Согласился и Анисименко. Мы обещали помощь и всемерное содействие Тхорикову в ходе рейда на Сумщине.

Дул поземистый ветер.

Обозы шли на рысях. Вдали таяли разъезды конников. Вражеские «юнкерсы» бомбили до шести вечера. Но удар их пришелся не по тем селам, где дневали отряды, а по Суходолу. Село дымилось, на почерневшем снегу люди подбирали раненых. Жители покидали свои разрушенные жилища.

Обоз быстро заполнился детьми и узлами. Я усадил к себе старушку и маленькую девочку.

На вопрос, за что бомбили фашисты село, бабка ответила по-своему:

— Не платили налогов ироду. Сам в село не приходил: боялся народа, а мы в город не хотели нести...

Девочку лихорадило. Анисименко запахнул ее в полы своей шубы и, пока ехали до следующего села, успокаивал.

Бабка, подавленная горем, молчала. Молчал и я, удрученный видом разгромленного Суходола. Анисименко руководил тут богатейшим колхозом. Здесь, в старинном парке, были прелестные гулянья молодежи, пионерский лагерь, клуб...

— Эх, Михаил Иванович, друг мой, — скорбно вздохнул Анисименко. — Что тут было каких-то полтора года назад! Вон, видите, — пруд. — Он указал на став, покрытый зеленым ледком. — Сейчас вокруг пустынно, дико и голо, а еще в июле сорок первого до этого пруда, как до замка со спящей красавицей, пробираться надо было! Это ж то место, что писателю Ивану Бунину, земляку нашему, запах напоминало меда и антоновки... И земля — аршин чернозема. Расцвела эта усадьба в наши дни — сам Бунин не опознал бы ее. Честное слово! В грибуса ограда! И самая первая — вся из жасминовых

кустов. Вообразите себе эту ограду — цветет она, дымит ароматами, качается на ветру, а за нею вторая живая изгородь — сплошь сирень, белая и лиловая... Продерешься сквозь эти преграды, остановишься, а перед тобою третья — колючий шиповник. Алый, белый, пунцовый, нежно-розовый... Я таких красок нигде не видал, Михаил Иванович! И вот, наконец, пруд. Он весь в кувшинках, белых и желтых. Стоишь, и сердце замирает от красоты!..

Анисименко крикнул, зло сплюнул на сторону и, отвернувшись, произнес:

— Сволочи! Что они только наделали! Половину сердца вырвали с кровью, цветы и травы потоптали, красоту нашу, счастье и отраду осквернили! Едемте — больно смотреть...

Уже в темноте достигли мы последнего села Сумской области — Комаровки. Далее разлеглась курская степь. Из передового отряда прискакал Мельник. Отыскав меня, он возмущенно докладывал:

— Пробка, товарищ капитан. Через Комаровку ни пройти, ни проехать. Походный порядок нарушен, проезд через село забит обозами второй колонны!

— В чем же дело? Командира второй колонны видел? — спросил я своего начштаба, не понимая, как все это получилось.

— Обращался к комбригу — не желает ни говорить, ни объясняться, сидит в хате и чай распивает, а его люди сказали, что, видимо, ночевать в Комаровке будут...

Анисименко выругался, я попытался объехать колонну, но кони увязали в глубоком снегу. Пришлось пробираться мимо бесчисленных возов пешком. Всюду толпились партизаны, спорили и просились в хаты. Задние подводы напирали и пытались пробиться в село через огороды.

— Придется объявить остановку и дать людям погреться, — говорил комиссар Мельнику.

— Надо остановить ГПЗ и выставить сторожевую охрану, — добавил я, — а командиров созвать ко мне. Я буду в хате возле церкви. Распутывать будем узелок комбрига.

Появление второй колонны на маршруте первой вразрез приказу и без каких-либо донесений со стороны комбрига уже само собой означало казус.

Через полчаса командиры собрались в просторной хате.

Виновник «пробки» командир Кировоградского отряда комбриг Туманчук пришел последним.

Распахнув шубу так, чтобы видны были ромбы — знаки его высокого, хотя и давно упраздненного звания, — Туманчук уселся посреди хаты на стуле. Будучи довольно тучным, большого роста, он и без ромбов выглядел весьма солидно, и по тому, как он всем покровительственно улыбался и весело переговаривался с командирами, я не видел, чтобы он чувствовал себя хоть сколько-нибудь виноватым.

— Объясните, товарищ Туманчук, — начал я, — почему вами нарушен приказ? Почему вместо того, чтобы выйти в 22.00 на регулирующий рубеж — река Клевень в Бегоще, — вы свернули сюда, на дорогу первой колонны, и заклинили обозами?

— Я не мог рисковать потому, что не знаю впереди себя обстановку. Я считаю неправильным движение двумя колоннами. Да вот и лейтенант скажет то же самое. — Он указал на Кусачева.

— Не перебивайте, когда говорит старший, — строго заметил Анисименко.

— Старший тут я, — самодовольно произнес Туманчук и еще шире развернул полы борчатки. Упитанное и красное лицо его лоснилось.

— Это как же позволите понимать? — спросил я.

— Да так: вы капитан, а я комбриг.

Присутствующие вскинули брови. По губам Кусачева — он стоял у порога в небрежной, театральной позе — пробежала довольная улыбка.

— Товарищи командиры, — заявил я. — Старший здесь тот, кто командует объединением, и он предупреждает каждого, что впредь за невыполнение боевого приказа... — Я глянул на Анисименко. Желваки на его скулах покрылись багровыми пятнами, тонкая бровь надломилась и чуть подрагивала.

— Расстрел! — договорил за меня Анисименко.

— Слыхали! Я сам руководитель партизанского движения! — сказал Туманчук, окинув холодным взглядом присутствующих, и еще больше выпятил грудь. — Я прислан как начальник штаба Кировоградских отрядов! Я вполне самостоятелен, и ваши приказы для меня не обязательны!

— Вот как! — полунасмешливо вставил Инчин. — Анархия — мать порядка?

— До тех пор, пока мы на Сумщине, товарищ Туманчук,— спокойно и строго говорю я,— до тех пор вы будете выполнять все требования Сумского штаба. Это во-первых. Что же касается Кировоградских отрядов, то у вас таковых еще нет. И поэтому не кажи гоп, пока не перескочишь Сумскую, да еще и Полтавскую область. А там поглядим, кто кому подчинится. Но пока мы на Сумщине. И это вам во-вторых...

— Увидим...

— Неминуемо увидим, а пока что равняйтесь по Воронцову — ему ближе до Харьковщины, однако ведет он себя образцово. Поучитесь у этого партизана дисциплине.

— А я не пущу его впереди себя,— заявил Воронцов.— Сам поведу колонну.

— И я не хочу, чтоб под ногами такие путались,— вставил командир конотопцев Кочемазов.

— Что касается меня, то я не могу поставить отряд товарища комбрига всередине, не могу допустить разрыва колонны,— высказал Мельник.— Пусть идет сам, а не то — в хвосте колонны.

Это возымело действие. Туманчук забеспокоился:

— Что вы, товарищи? С моим конским составом я неминуемо отстану. Мои командиры еще неопытны, отряд не боесколочен, да и вообще... и сам я две недели как на Малую землю десантирован...

В голосе Туманчука звучала тревога, его живые карие глаза искали сочувствия даже у меня.

— Если уж такой принцип командования — прошу прощения...

— Вопрос ясен. Дабы не позорить воинского духа, как говорил Петр Первый,— в хвост колонны... И знайте: при быстром марше колонна растянется. Случится драка в хвосте — не услышим. Советую не спать на походе...

Мы приближались к берегам Сейма. Баранников доложил, что впереди — никакой дороги. Железнодорожный мост разрушен, и на реке не всюду лед, на пути — джунгли цепких кустарников, и вообще неясно, как попасть на тот берег.

Я собрал командиров на станцию Неониловка. Мы тут же приступили к разработке дальнейшего маршрута. Было много различных суждений, и все склонялись к тому, чтобы пройти еще километров с тридцать вверх по берегу Сейма и там у Глушкова попытаться перейти эту

реку. Молчал только Инчин. Сдвинув сросшиеся белесые брови, ссутулившись, он в конце совещания резко поднялся из-за стола и доложил:

— Заслон, выставленный на Рыльском шляху, пропал... Лично осмотрел всю колонну, а людей нет, и никто их не видел, связные также ни с чем вернулись...

— Вы давали распоряжение, товарищ Мельник? — обратился я к начштаба. — Доложите, в чем дело?

Округлив и без того большие синие глаза, Мельник ответил:

— Заслоны должны снимать командиры. Кто выставлял, тому и заботиться надлежит о них. Об этом еще там, в селе Локоть, командиру хинельцев напоминалось.

— Я посылаю старшину Жарова, — опустив голову, произнес Инчин.

— А чей заслон, кто командир? — встревожился Анисименко.

— В том-то и дело, что лучшая группа: тридцать автоматчиков, два противотанковых ружья и три пулемета. А командует Рудницкий да парторг отряда Журавлев. Сомнений насчет людей — никаких. Исчезли самым таинственным образом, — глухо говорил Инчин. — Я был во всех отрядах; группы нет ни в колонне, ни на дороге, а место, где был заслон, обследовано...

— Жаль. Скверно командуем, — строго сказал я, глядя на Инчина и Мельника. — В первый день марша теряем людей и боевую технику. Да не в бою, а так, по халатности...

— Не иначе, как сбились... блуждают в степи, — понуро оправдывался Инчин.

— Хм, а может быть, они сквозь землю провалились, — съязвил Тхориков.

Кусачев злорадно улыбнулся.

— А что, если они и в самом деле провалились? Бывают такие командиры, у которых целые подразделения проваливаются.

— Я видел по направлению к Путивлю ракеты и пулеметные трассы, — сказал Туманчук.

Инчин тяжело, прерывисто задышал.

— И не потрудились выслать разведку?

— Далеко, выстрелов не слышал, да и сам боялся отстать и потерять дорогу. Мело там снегом, сами знаете... А главное, неизвестно — может, обычная стрельба немцев. Они любят освещать местность ракетами.

— Все могло быть,— задумчиво резюмировал Анисименко.— Возможно, это поспешность, недоработка штаба? — Он пристально поглядел на Мельника.— Говоришь, все необходимые распоряжения были сделаны, а вот маяков на переезде не выставили... о потере спохватились только теперь, перед утром!

Я знал, что при группе Рудницкого находился почти весь запас патронов к ППШ и противотанковым ружьям, что его взвод был исключительно хорошо обучен самим Инчиным.

— Что будем делать, комиссар?

Анисименко крепко поскреб затылок.

— Будем надеяться на отвагу и находчивость... Рудницкий и Журавлев найдут нас или возвратятся в хинельский лагерь,— сказал Анисименко то, что было уже само собою разумеющимся.

Глава III

НА МАГИСТРАЛИ

Грязно-пятнистый, похожий на огромную жабу бронепоезд густо дымил короткой, покосившейся трубой.

Перегон налево был пуст. Еще левее, на полустанке Глушково, стоял эшелон, кутавшийся в облаках пара: видимо, готовился к отправлению. Но путь ему преградил нарвавшийся на мину бронепоезд. Направо по магистрали еще час назад маневрировала летучка, но теперь и она с двумя броневанами также лежала под откосом.

В морозном воздухе торопливо перестукивали станкачи Галушко. Конотопцы и ямпольцы ринулись наперерез магистрали. Гитлеровцы, засевшие в кирпичном домике путевого обходчика, беспрестанно били из пулеметов.

Оставив лошадь на окраине Глушково, я спешил по глубокому снегу от наступающих ямпольцев к конотопцам. Бой нарастал. Партизаны в белых халатах перебежали и падали в снег, пережидая, когда утихнет немного стрельба и можно будет встать и снова бежать по направлению к железной дороге.

Увлекая бойцов вперед, Кочемазов командовал:

— Сюда полуметную роту! Взрывчатку! По окнам целиться! По окнам будки!

Впереди у небольшого бугорка строчил наш пулемет. Я полз к нему. Два пулеметчика, один из них комиссар ямпольцев Булавка, ничего, кроме темного окна будки, не видали и не хотели видеть.

Сорвав порожний магазин, Булавка кричит:

— Диск, Андрюша, диск подавай!

— Последний,— сказал Андрюша Мазулев, подавая заряженный магазин, и стал целиться из винтовки.

— Андрюша, друг! — просил Булавка, посылая короткие очереди.— Набей еще один!.. У Товстухи полтораста патронов было! Сними патронташ с него!

Мазулев отполз в сторону, обхватив убитого, растягивал патронташ. Булавка строчил по будке. Я вплотную подполз к пулеметчику и только тогда узнал в белой фигуре на снегу Сергея Товстуху — коммуниста из отряда «За Родину».

Положив голову на приклад карабина, он лежал, как во сне. Почти рядом с ним, распростершись, лежали еще двое: комсомолец Андрей Панченко и еще кто-то.

Не отрываясь от пулемета, Булавка требовал подачи патронов. Он просяще коснулся моего плеча и в тот же миг качнулся набок, шапка слетела и выбритое округлое лицо его уткнулось в пухлый снег.

Пули посвистывали и взбивали белую пыль возле замолкшего пулемета. Мазулев, подменивший Булавку, дал длинную очередь по будке. Прошла минута, и левая рука Мазулева дернулась, судорожно оторвавшись от пулемета. На белом рукаве халата проступили красные пятна. Где-то неподалеку кричали:

— Взрывчатку! Пару ящиков!

— Станкач сюда, станкач! — послышался голос Кочемазова. Он подбежал ко мне и плюхнулся рядом.

— Ух, черт, ожгло! — произнес он, зажимая ладонью рану выше колена.

Пересиливая боль, Кочемазов прерывисто говорил:

— Пропетляли на Сейме... трижды сбивались... снег по горло, лозняк и камыш такие, что без топора не пробраться! Вот и штурмуй теперь, когда ночь кончилась!..

Он осмотрелся и закричал:

— Сюда, сюда, Саморока!

Я увидел сперва носы лыж, которые поравнялись со мною, потом заиндеветший надульник «максима».

— Прячься за щитом,— подсказал Кочемазов пулеметчикам.— К земле жмись, Маруся!

Маруся Галушко смахнула выбившийся из-под ушанки локон, вырвала из коробки пулеметную ленту.

— Четыре с половиной,— подсказал я прицел, и Само-рока припал к целику.

— Крепи,— бросил он Марусе.

Та привычно повернула болты наводки.

Тем временем конотопцы продвигались вперед. Низко пригибаясь, подбежала Валя — сестра Маруси, волоча санитарную сумку.

— Носилки командиру! — крикнула Валя.— Носилки!

Кочемазов запротестовал раздраженно:

— Не надо! Перевяжи сама. Сперва Мазулева и Булавку...

Но к Мазулеву уже подбежала Маруся Охрименко, а Булавке не нужна была помощь.

Я заметил у пулемета Мазулева. Приложившись, он тоже начал стрелять по окну будки, а когда израсходовал все патроны, огляделся.

Моя позиция оказалась позади. Наши автоматчики шагали в полный рост, не пригибаясь. И только левый фланг ямпольцев все еще был прижат к земле. Белая поверхность поля ежесекундно озарялась зелеными искрами.

— Из боковых окон стреляют, гады! — выругался Кочемазов и, оглянувшись, закричал в сторону подрывников: — Коновалов! Заволокин! Калюжный! Взорвать будку! Чтоб им там ни дна ни крыши!

Мимо нас прошагали, волоча ящик на саперных лыжах, рослые Рогуля и Лаврик — подрывники Недригайловского отряда. За ними, что-то крича и размахивая автоматом, бежал их командир Щебетун, низкорослый, пожилой человек, в прошлом — секретарь райкома.

— Теперь прорвемся,— уверенно говорит Кочемазов.— Только мне все-таки не подняться!..

Охрименко хлопотала над отделенным Федотовым.

— Терпишь? — утешала она раненого, торопясь остановить кровотечение. Федотов дрожал в ознобе. Сквозь плотно сжатые зубы он выдавил:

— Не за себя... за товарищей... больно. Половина отделения... И комиссар...— Он не договорил, поднялся рывком и побежал за своим взводом.

И вот раздался взрыв. Будка, окутанная черно-бурой пылью, рухнула. Я выпустил серию ракет — сигнал, означающий: «Переходить дорогу».

К разрушенному кирпичному домику двинулись и обозы. Там все еще что-то рвалось и хлопало. Над магистралью со стороны Ворожбы появились «мессершмитты». Они приблизились к разъезду и пикировали...

Наши обозы перекатывались уже за переезд, к селу Ободы. Мчались порожные подводы, коноводы с подседланными лошадьми, торопились штабисты с комендантской охраной, там и тут цветками на заснеженной равнине мелькали встревоженные лица радисток: Тони Миловой, Валерии Кононенко, Ани Примуш. А позади, оттираемый всадниками комендантской охраны, гарцевал Кусачев.

Подъехал Анисименко. Поднял голову, прищурился на улетающие самолеты.

— Уж если бронепоезд не остановил нас,— сказал он,— так «мессеры» не задержат! И все отлично. Харьковчане там все еще колотят гитлеровцев. Сами в хатах, а немцев на снегу держат!

Он недоуменно посмотрел на меня, на Кочемазова.

— А как тут?

— Здесь, Иван Евграфович,— ответил я,— вон Булавка и еще пятеро с ним...

Убитых уже укладывали в розвальни.

Анисименко обнажил голову.

— Мы похороним их здесь же у разъезда,— сказал он, всматриваясь в лица навеки умолкших боевых товарищей.— И место то запомним... а комиссаром ямпольцев...— Анисименко обвел взглядом круг партизан из отряда «За Родину»,— пусть будет политрук Анатолий Сыпливый.

...Вслед за отрядами вошли мы в крупный совхозный поселок. Кирпичные дома и другие каменные постройки представляли собою наилучшее место для короткого отдыха.

Анисименко оглянулся на долину Сейма, окутанную морозным туманом, потом посмотрел на юг, где взору открылись бескрайние степные дали, и заключил:

— Можно считать, что теперь мы уже вышли на Украину. Только вот харьковчане еще за магистралью, в Курской области. Не понимаю, почему задерживаются они там, за дорогой?..

«Мессеры» продолжали патрулировать. Дымка над Сеймом сильно мешала им, и Анисименко язвил:

— Фашисты продирают очи, не понимают, что делается.— Он пристально вглядывался в каждый проносившийся на бреющем полете «мессер».— Пусть летают, хай полюбуются, а нам самый раз чайку горяченького — этак по самоварчику на пузо! Эх, друг мой Михаил Иванович, великое удовольствие чай с мороза!

— Согласен. Вот и Баранников, а где Баранников, там и чай с медом. Коля! — позвал я.— Докладывай, кто еще грозитя ударить по нас? С какого боку? Можно стакан чаю выпить?

Баранников плеткой расчищал себе дорогу среди сгрудившихся обозных лошадей и, подъехав к нам, отрапортовал:

— Никакой опасности, кроме мороза! Километров на пятнадцать вокруг действуют мои разъезды и разведчики — мелочь всякую убирают. Больших сил противника не обнаружено. Прошу в мою штаб-квартиру.

Поселок, в котором мы сейчас отаборились, разведчики заняли еще ночью. Гитлеровцы стали легкой добычей. В доме, где остановился Баранников, было тесно от всякой всячины: в сенях валялись оружие, тулупы, немецкие шинели, ранцы и седла, ящики с гранатами, кипы белья, перевязанные бечевками...

После чая Анисименко прошелся по карте циркулем, покрутил головой и протяжно свистнул:

— Эх, как хватили за двое суток! Сто пятьдесят километров!

Я и Мельник намыливали щеки, сбривая отросшие бороды. Последний раз я брился в «Копайгороде», а Мельник — в Москве.

— О чем вы, Иван Евграфович?

— О рейде говорю,— отозвался Анисименко.— От моей Вольной Слободы на полтораста километров укатили, а ежели считать от «Копайгорода», да со всеми кривулинами и закорючинами, так и все двести. Через пять районов промчались...

Мельник смочил лицо одеколоном, придвинулся к Анисименко и тоже склонился над картой.

— Очень немного, товарищ комиссар. Пожалуй, и совсем мало. Если принять во внимание не Хинель, а мою родную Грушку в Одесской области,— вовсе незначительно. И не районами, а областями наш путь измерять надо.

Он вынул карту-десятикилометровку. Начал перечислять: Сумская, часть Харьковской, Полтавская, Кирово-

градская, Винницкая — вот наши оперативные просторы, и все голые поля, города, села.

— А людей,— добавил я,— народу, комиссар, на всем нашем пути — миллионы и миллионы!

К ночи наши отряды развернулись от Сейма и контролировали пространство более тридцати километров. Однако путь на юг был еще заперт. По автодороге, огибающей дубравы, передвигались войска противника. Надо было как-нибудь перейти и эту преграду. Но как же разгадать, что замышляет и делает противник? Успеет ли мы занять совхоз и село Корчаковку, вросшее в лесную опушку? Более всего страшила меня возможность остаться к утру без опорных позиций между магистралью и автомобильной дорогой.

Подобно гребцу в утлом челне, застигнутому бурей вдаль от берега, я испытывал чувство тревоги. Разведка Конотопского отряда, посланная в Корчаковку, все еще молчала. Казалось, время работает на противника, который, конечно, уже опомнился и принимает меры, готовится к контрудару.

Мельник, пользуясь передышкой, спит. Инчин и Анисименко что-то пишут. А я с циркулем в руках сижу над картой. И чем глубже проникаю в суть сложившейся обстановки, убеждаюсь, что стоять нельзя. Необходимо действовать, продвигаться вперед, в сторону или хотя бы назад,— куда угодно, только не быть завтра там, где был сегодня. Это азбука, и, пользуясь ею, партизанский отряд будет неуязвим.

Следовало без промедления выступить, но Воронцов и Туманчук слишком долго задерживаются на магистрали. И только теперь, с наступлением вечера, они овладели, наконец, станцией Глушково и расчлененно, пешком продвигались к лесным массивам. Им отдан приказ занять и удержать ряд сел на подступах к Сумской дороге.

Самое дорогое в рейде — ночь — было уже потеряно, а утром?

Противник может навалиться и с земли, и с неба, а впереди — шоссейная коммуникация фронта...

Положение диктовало необходимость завладеть краем леса и совхозом. С этим согласился и Анисименко. Он потер виски пальцами, устало прищурился и задумчиво произнес:

— Выходит — спать не придется. Бойцам надо отдохнуть, а нам снова за дело браться. Я,— решительно про-

говорил он,— поеду в Корчаковку, а командпру вместе с начальником штаба тем временем собрать все силы в кулак да выдвигаться поближе к лесу.

— Нет, комиссар, не так,— возразил я.— В Корчаковке следует быть мне. Начальник штаба займется усиленной разведкой. А уж начальником гарнизона придется быть тебе. И ты поторопись подтянуть ямпольцев.

— А вот, кажись, и командир их пожаловал,— обрадовался Анисименко.— Отряд привел? Выкладывай новости!

— Штурмуют! Оставил полный совхоз народу,— кратко доложил Пастушенко.— Все зерно будет растащено! Что только делается! Не то что Глушковский район. Из Белополья и Ворожбы народ приехал! Дороги забиты подводами, а в складах ну прямо как в муравейнике. Глядеть весело, товарищ комиссар!

Пастушенко повысил голос, и в нем зазвенели нотки подлинной человеческой радости:

— Рабочие на дрезинах приехали! Собирались на паровозе подъехать, да наших мин побоялись.

— Из Ворожбы рабочие? — переспросил я.— Каким образом?! Ведь до нее не менее сорока километров, а на магистрали гарнизоны?

Пастушенко расхохотался.

— Сбежали! И белопольское, и теткинское начальство эвакуировалось! Линейное начальство поутекало, а в Ворожбе осадное положение объявлено! Там — пробка из эшелонов, войска к защите города готовятся. Всякие подфюреры и оберпрохвосты бегают, как крысы на пожаре. Они убеждены, что вся брянская армия вышла на линию. Понимаете, товарищи? А народ, само собой, эту молву раздувает. Ходят слухи, что и Льгов, и Рыльск партизанами заняты!..

— И, возможно, не слухи это,— вставил Инчин,— а и впрямь Курские бригады двинулись из Хинели. Мы заручались таким обещанием курян, помнится...

— Дела!.. Молодцы, сдержали слово куряне! — рассмеялся Анисименко.

— А мы-то думали: окружают нас — и пропадем ни за понюшку табаку всей силой!..

Комната наполнилась смехом.

— Если еще и Курские бригады под Льговом, то и в Ворожбе не скоро опомнятся! — серьезно заверил Пастушенко.— Верну-ка я в совхоз отделение конников, а они

из ворожбян да белопольцев преотличную роту сколотят, а?

— Валяй, раз такое дело! Но Елизаветовку на тебя оставим — держись тут, а остальные отряды вперед продвинулись.

Мы уговорились, что Анисименко с отрядами займет следующих два села, а я тем временем отыщу Воронцова и побываю у конотопцев в Корчаковке.

Я ехал в огромное курское село Кульбаки, которое, слившись воедино с Мужижским и Новоивановским, вытянулось в южном направлении едва ли не на половину Глушковского района и теперь было занято отрядами Воронцова и Кировоградским. Я внутренне смеялся над своей напрасной тревогой.

Почему-то пришли на ум детские забавы. Вот, вооружившись самодельным копьем, я атакую «противника», который тоже вооружен заостренной палкой. Подобно Пересвету и Челубею на Куликовском поле, мы сходимся издали, потом, полные отваги, бежим друг на друга и вот-вот сшибемся!

Пойманной птицей бьется сердце, еще миг — и закрываются глаза, ноги сами собой круто поворачиваются, и, втянув голову в плечи, я мчусь назад, и только смех взрослых заставляет меня оглянуться. И что же? Мой «противник» удирает, сверкая пятками, в другую сторону!..

Что общего между детской игрой в войну и войной настоящей? Почему именно напросились эти воспоминания о детстве? Почему я вспомнил эту забаву, что общего было в ней с тем, что происходит сегодня в суровой действительности? По-видимому, психология, — отвечаю себе, — общая психология сторон. Остерегаясь противника, не забывай, что и он страшится тебя, помни об этом, чтобы не оказаться в положении, когда разумная осторожность может стать трусостью.

— Осадное положение! — вслух произнес я. — Осадное положение в городе Ворожбе, стоящем в полусотне километров от места боя! Грабители трусят в страхе. Что ж, используем и этот психологический военный фактор! Погоняй, Василек, веселей, — сказал я. — Завтра будем еще смелее, и пусть раздвигает смелость душу!

Вася лихо пустил серых, взвилась снежная пыль, завизжали полозья саней, и вскоре мы вырвались в поле, окутанное темной морозной ночью. Впереди и позади ехали

автоматчики — моя охрана под командованием Виктора Жарова.

Воронцов уже готовился спать, когда я вошел к нему. Вместо ответа на приветствие, он оглядел меня воспаленными глазами, пробурчал:

— На съедение нас утром бросил, что ли?

— Выждал, — в тон ему ответил я. — Наблюдал и примерял, как это двести замерзающих шакалов могли бы съесть четыре сотни волкодавов, укрепившихся в своем логове!..

Воронцов рассмеялся, и я понял, что обида его напускная.

— Ну, отчитывайся, — уже иным тоном заговорил я. — Почему застрял? По какой причине план операции нарушил?

Воронцов уселся на постели, натянул одеяло до подбородка, рассмеялся и тихо ответил:

— Проспал... Стыдно сознаться... Волосы на голове поднялись, когда, пробудившись, под самым носом бронепоезд увидел!

Признание Воронцова ошеломило меня своей необычностью и откровенностью. Весь день ломал я голову, пытаюсь разгадать, что помешало этому человеку с двумя отлично вооруженными отрядами перейти магистраль еще до рассвета?..

Не мог понять я и молчания Воронцова, упорно не отвечающего на мои запросы через посыльных и разведчиков. И вот — одно слово «проспал» разъяснило все. Мороз и двухсоткилометровый марш зло подшутили над выдавшим виды командиром.

— Только, прошу тебя, никому не говори об этом, — глухо пробубнил Воронцов. — Сам понимаю — паскудно получилось. Сижу в теплой хате в Кобыляках и жду, когда Кочемазов в Глушкове справится... Разморило, прилег на минуту, а минутка-то бабьей оказалась. Комиссар мой, видимо, на меня надеялся — он в другой хате был. А начальник штаба, как водится, указаний дожидался... Да, еще что, хлыщ тот ваш штабный. Ну, как его: Кусачев, что ли? Так он тоже со мною в избе был. Говорит: «Поспи, подкрепись, а я разбужу, как только конотопцы Глушковом овладеют». А сам смылся...

Воронцов взял со стола коробку с сигарами, протянул мне.

— В вагонах добыл,— пояснил он и чиркнул зажигалкой.— Ну, потом развернул я отряд, а фашисты уже наседают, к селу в боевом порядке идут. Шагов триста от меня, не больше, да через полчаса еще в четырех вагонах из Коренева подъехали. Запрокинулись они, правда, на mine. Солдатня кто куда! Словом, сотни три или четыре их набралось, и все к селу рвутся.— Воронцов выпустил струю дыма.— Подпустили. Прижали мы их к земле, и получилось, что им от нас не уйти и нам через магистраль не перейти. Решили с Гуторовым до ночи держаться. Вот и перестреливались. Часов с десять морозили их на снегу. Нам то что — сидим себе в хатах, дежурные пулеметы работают, а они в снег зарываются, снегом греются. А холод к вечеру жмет. Морозище! Тут и бронзовый памятник сосульку пустил бы из носу!.. Кое-кого подобрали вечером. Тронешь — звенит, как стеклянный, и не понять: мороженный или убитый. Ну, да нам все едино, лишь бы не вставал больше. Так что, полагаю, план операции выполнен.

— Эх, дядя Коля! — покачал я головой. Воронцов опустил глаза.— Для нас тот бой хорош, что мы навязали! Ведь я рассчитывал этой ночью в Сумские леса выйти, а теперь что же получается? Сутки потеряны, и мы с тобой между магистралью и шоссе, как в мышеловке!

— Гм... потеряны...— откашлялся Воронцов.— А они что потеряли? — И он начал загибать пальцы: — Мост и рельсы подорваны на магистрали, километра два линий связи вырезаны и столбы срублены. А бронепоезд, а две «летучки» с солдатами? Это что,— не потери, по-твоему? Нет, ты слушай! — Он привстал на постели и воодушевленно начал перечислять события минувших суток: — Ручаюсь, что только на моем участке фашисты потеряли человек триста. Помощь это нашему фронту или не помощь? Дальше, потерял я троих, а приобрел тридцать! И Туманчук человек на сто пополнился! Помню, в Брянских лесах мы совсем было зачахли от безлюдья, а тут что ни час, то боевая единица, что ни бой — два или три воза оружия!

Сорок бойцов, три пулемета «максим», винтовки, автоматы, немалый запас патронов — таково пополнение и хинельцев в Кульбаках. Среди рабочих совхоза оказался и радист Украинского партизанского штаба луганчанин Вильям Лобачев.

Неописуема его радость. Уверяет, что снились ему живые цветы по снегу. Никаких слухов о партизанах столько

времени — и вдруг как гром среди ясного неба!.. Только двое — он и Николай Руденко — убереглись из десантной группы старшего лейтенанта Бердникова, приземлявшейся фактически на львовскую станцию!..

Случилось это на рассвете. Еще в воздухе по ним стреляли из зениток, и, конечно,— бой неравный!.. Потом преследование с овчарками. Выручили подсолнухи и кукурузные поля. Трех потеряли... Четвертый, сломав ногу, попал к эсэсовцам...

— Что это,— спрашиваю Лобачева,— зачем выбрасывались у степного города? Кто избрал место?

Тот иронизирует:

— Она... Госпожа Аномалия...

Удивляюсь неуместным шуткам, а он свое:

— Курская магнитная аномалия!

Показывает на фиолетовые завихрения пунктиров на карте. Не придавали значения пунктирам. Вихри магнитных бурь влияют на компас и на Украине. И здесь обманывают компасы. Аномалия завела впросак и группу Бердникова — одну из тех, что десантированы в 1942 году, но до сих пор не отозвались... Магнитная аномалия таила в себе секрет неудач, столь щедро выпадающих на долю партизан-десантников...

Глава IV

В ТЕНЕТАХ У ТОВАРИЩА ЭН

Трое, по виду местные жители, вошли в комнату. Сняв шапки, они осмотрелись, взволнованно жали наши руки и, долго не размыкая их, откровенно радовались:

— Драстуйте, дороги товарищи! От и довелось побачиться, дуже довго чекалы, дуже, дуже мы радіемо...

Анисименко ответил им по-украински:

— Роздягайтесь, сидайте. И мы радіемо!..

Когда гости немного освоились, Анисименко спросил:

— Из подполья, товарищи?

— Командир отряда я, Опанасенко моя фамилия,— отрекомендовался молодой, давно не бритый, сильно исхудавший человек.— А это мои друзья — Ярошенко Николай и Зима Василий...— Он указал на своих товарищей, также с густой щетиной на лицах и более старших по возрасту.

Я потихоньку спросил хозяев, знают ли они пришельцев.

— Да как же не знать,— растроганно, шепотом подтвердила хозяйка.— Наши соседи: председатель сельсовета и председатель колхоза. Мы думали, что их уже нет, а они вот, набедовались, исхудалые, едва живы... О боже мой, божечко!..

Хозяин подошел к гостям и по-приятельски пожал им руки.

— Ну, вот и отлично! Готовьте ужин, мамаша,— весело распорядился Анисименко,— а мы тем временем посекретничаем с товарищами.

— Наголодались, сердечные, намерзлись, страху натерпелись,— запричитала хозяйка и пошла хлопотать на кухню вместе со стариком.

— Большой отряд? Где? Что делаете? — спросили мы гостей.

Все трое смущенно переглянулись и, как мне показалось, чувствовали они себя очень неловко.

— Не стесняйтесь, товарищи,— мягко произнес Анисименко,— можете говорить все, без утайки. Здесь только свои. Мы — командование сумских партизан. Капитан Наумов,— он жестом показал на меня,— я его комиссар. А вот эти товарищи,— Анисименко улыбнулся, поглядел на Вертюченко, тот вскочил и браво вытянулся,— это Василек, старейший наш партизан, хотя и пятнадцатилетний. Постой, Вася, у двери — чтоб не мешали посторонние. А вот Анатолий Иванович, один из командиров наших.— Инчин тряхнул головой и добродушно усмехнулся.

Гости как-то заворуженно уставились на меня, на шеврон с крыльями, со звездочкой и пропеллером на рукаве темно-синего кителя морской авиации, и я читал в их открытых взглядах борьбу между радостью и затаенным сомнением.

— Това-а-рищ Эн? — выговорил после долгой паузы Опанасенко и привстал.

— Товарищ Эн? — повторил Ярошенко и тоже приподнялся.

— Наумов,— подтвердил я.— Прошу сидеть, и не будем терять времени.— Доложите, где отряд, что за войска в придорожных селах, охарактеризуйте обстановку по ту сторону шоссе и в лесах, возле Мирополья и под Сумами.

Опанасенко нерешительно начал:

— Наш отряд, товарищи, насчитывает сорок человек. Мы имеем двенадцать винтовок, семь гранат и столько же пистолетов.

— Значит, вооружены не полностью? — вставил Анисименко.

— Не все, — кивнул головой Опанасенко, переводя взгляд с меня на Инчина. — Есть и без оружия, но мы считаем их партизанами. И как только отряд начнет действия, они будут вооружены.

— Выходит, отряд еще не воевал, — пожимая плечами, произнес Инчин.

— Мы уже наметили, то есть заранее знаем, кто и у какого именно старосты или полицейского отберет винтовку, — ответил Опанасенко тоном виноватого. — Все наши товарищи проинструктированы и знают, где и на каком гвозде висит винтовка у предателя, чтобы ею вооружиться...

Инчин при этих словах скучающе опустил глаза, Анисименко заломил левую бровь и уставился на Опанасенко, а я силился вникнуть в сущность того, о чем только что услышал. Мне на минуту показалось, что Опанасенко над чем-то иронизирует, приступая к какой-то необыкновенной, занимательной истории.

— Гм... Есть люди... Намечено... Знаете, на каком гвозде висит оружие... — в тон Опанасенко проговорил мой комиссар и, откинувшись на стуле, спросил в упор: — И это все, что вы сумели сделать? Ваши люди живут у себя в хатах, греются на печи?..

Опанасенко смущенно опустил голову. Его товарищи украдкой поглядывали то на меня, то на Инчина.

— Отряд еще не воевал? — продолжал Анисименко. — Не провел ни одной операции? И даже вооружен только наполовину?

Опанасенко утвердительно кивнул. На его лбу выступили горошины пота.

— Мы ждали вашей директивы, товарищ Эн, — добавил он, посмотрев мне в глаза. — Разве это неправильно?

— Мы делали все, как было сказано. Мы ждали сигнала от товарища Эн, твердо ответил Ярошенко, — команды от него ждали. Разве не вы товарищ Эн?

— Наумов, — подтвердил я еще раз. — И прошу без шарад и головоломок! Говорите толком, какого сигнала

ждали вы, какой директивы? И с какой стати именуется вы Сумской штаб партизанского движения каким-то Эн?

Опанасенко, выразив нескрываемое удивление, молчал и, казалось, не понимал ни меня, ни Анисименко.

И только после настойчивого нашего требования рассказать все не спеша и по порядку Опанасенко довольно несвязно пояснил, что товарищ Эн — это главный руководитель партизан, что живет он не то в Полтаве, не то в Сумах. А руководит подпольем посредством связных. Никто не имеет права без его ведома допускать инициативы мелких вооруженных групп в борьбе с оккупантами и их прислужниками...

— История с географией! — заметил Инчин и коротко свистнул.

— Преогромный интересище! — воскликнул Василек и тут же прикусил губы.

Хотинцы разговорились, не упуская подробностей.

Выяснилось, и это было для нас новостью исключительной, что среди партизан-подпольщиков на юге Сумской области приобрела права гражданства и стала непререкаемой некая директивная установка, распространяемая строго конспиративно от одного уха к другому. Сущность этой секретной установки сводилась к следующему: «Ждите, накапливайте оружие и силы, вовлекайте лучших людей, держите связь с товарищем Эн, который и поднимет весь народ разом...»

Мы слушали, и не хотелось верить, что столь глубоки и всеобъемлющи щупальцы этого «товарища Эн»!

Зная подлую механику истребления советского актива оккупантами, нам не трудно было понять этих простых, доверчивых людей, лишившихся руководства еще в первые дни подполья. Все я отлично понимал, понимали это и Анисименко, Инчин, и все же сознанием своим мы не могли представить себе существование подпольных отрядов на положении действительно законсервированных, как образно выразился Баранников.

Шли месяцы, весну сменяло лето, наступала вновь зима, проваливались одна за другой подпольные организации, попадали в гестапо лучшие советские люди, вылавливались поодиночке партизаны и активисты, вскрывались их базы, а мифический товарищ Эн без конца шептал свое таинственное: «Не пришел час, собирайте силы, товарищ Эн поднимет вас по сигналу...»

— Гестапо! Вот кто заморозил в этих районах народное движение, — вырвалось у меня.

— Пожалуй, не только на Сумщине и на Полтавщине, — добавил комиссар. — Коль понадобилось отправить сумских партизан на запад, в заднепровскую сторону...

— Грандиозная, потрясающая провокация! — вымолвил Инчин. — Однако не всякий идет на голый крючок. Надо разоблачить эту гестаповскую ловушку!

Анисименко продолжал расспрашивать Опанасенко:

— Но почему же все-таки Эн? Где подполье? Что сумской центр делал? Разве не знали вы Сербука, Глинника, Пищенко?..

Опанасенко вдруг осмелел и ожесточился:

— Боягузы, подлые трусы! Задания не выполнили, уехали на восток, попросту сказать — удрали от нас! А Белодед и Моисеенко только видимость сделали, что перешли на нелегальное положение и остались здесь!.. А мы партийную дисциплину соблюдали и указаний ждали. И дождались!.. Провалов, арестов. Кинулись из города в лес. Там снова директив от Белододеда ждали. Все подпольный горком искали. Связную Разметнову в Сумы послали, но ее поймали и повесили... Казнена и другая связная — Таранчук. Сумчане послали в город еще одного связного — Левадского, и он возвратился в Никольский лес... привел карателей!..

И куда ни кидались мы, хотинцы, дело кончалось провалами, казнями!.. В Сумах замучено больше тринадцати тысяч наших людей, пять тысяч угнано в Германию! — Опанасенко утер ладонью лицо и, пряча влажные покрасневшие глаза, продолжал: — В Тростянце и того хуже: оставили партизанский отряд не внушающему доверия бывшему подкулачнику Криводубу. Смелянский отряд доверили такой же сволочи — Калиниченко. Этот добровольно явился в комендатуру, предал и райком, и отряд... Всех казнили... После провала глинской организации остался только секретарь райкома. Скрываясь в болоте, он простудился, умер... В Бурыни — там арестовали руководителя, держали в тюрьме, выпустили, но по дороге домой он бросился в колодец... В Груньском районе... Сережа Сук увел комсомольцев в лес, но вскоре был предан, захвачен и расстрелян. В Липовой Долине организовал отряд бывший петлюровец. Партизан выловили, расстреляли, перевешали...

Словно кровавыми мазками Опанасенко обрисовал мрачную картину подполья всего юга области. Он перечислил столько ошеломляющих фактов, что нам казалось — он не говорил, а выгребал все это из адской топки, которая испепелила почти все первые партизанские формирования.

— Только Лебединский отряд оформился, уцелел и начал действовать,— продолжал Опанасенко.— Конечно, и он начинал нелегко. Поселились в лесу. Отряд имел в то время спирт, до которого многие прикладывались... Другие же роптали: «Эти землянки будут нашей могилой!» Мол, что мы сделаем, когда фронт не устоял и отступил? Начали плакаться, проситься на восток — за линию фронта.

И вот тогда-то подоспел Антонов — секретарь обкома. Это было в канун Октября. После партийного собрания паникеров, пьяниц прогнали, отряд окреп. Его возглавил товарищ Антонов. В хуторах да в лесах жили. Всего хлебнули. И к врагам пощады не знали. Комендант Лебедина, начальник полиции, его помощник и другие враги по два метра земли получили...

Полгода партизанили с товарищем Антоновым. Прошлая зима, как известно, была заносливая, морозная. Жили голодно. В боях да непосильных походах прошла зима 1942 года. А весной случилось так, что нарвались на засаду и потеряли много хороших товарищей. Потом облава карателей в Будильских лесах. Нас окружили и почти весь отряд уничтожили фашисты. Погиб и Антонов вскорости...

— А товарищ Антонов знал что-нибудь о Хинельских партизанских отрядах Сумщины?

Опанасенко качает головой.

— По заданию Александра Ивановича я тоже ходил на связь. Но дальше Хотина не решался пробираться — не получилось. Товарищ Антонов сам хотел пройти в Хинель, но начались облоги, облавы, бои, да и меня хвороба свалила... Были кое-какие слухи, но говорили, что Брянские леса дотла спалены.

— Ну, а о Лобакове знали что-нибудь? В Ободах, в вашем районе, отряд такой сегодня обнаружился. Да и в этом совхозе?

— Кое-что... Мой участок работы — лесные села, и, кроме того, группа Лобакова — военные. Я не знал, как мне быть,— люди они пришлые...

Анисименко азартно сплюнул, выругался, а потом, рассмеявшись, с какой-то подкупающей отцовской нежностью поглядел на командира Хотинского отряда и сказал:

— Это было в прошлом году. Ну, а что же предприняли вы за последние месяцы?

— Стало еще труднее,— ответил Опанасенко.— Летом нельзя было показываться в лесу — нас всюду искали с овчарками, мы потеряли лучших наших товарищей. Я даже перешел в соседний район, в Боромлю. С осени там начал организовываться отряд под командой Ступича. Мы уже и сами понимали, что настала пора что-то делать. Начали расклеивать листовки, на седьмое ноября вывесили флаги, кое-где провели митинги, но тут арестовали Ступича и многих других. Мне пришлось уходить. А недавно узнал от верных людей, что товарищ Эн имеет в Краснопольском районе свои отряды под видом полиции...

— Извините, товарищ Опанасенко,— перебил Инчин.— Неужели вам никогда ни разу в голову не пришло подумать, что этот мифический Эн, попросту говоря, провокация?

— Приходило. Конечно же, приходило. Может быть, мы и уцелели потому, что кое о чем догадывались. Но, сами посудите, какие у нас были силы? Что могли мы сделать? Важно то, что теперь сможем начать дело. Вот почему мы и поспешили к вам среди ночи...

— Решили, что, наконец-то, товарищ Эн прибыл? — спросил Анисименко.

— Да, так хотелось думать. У нас всюду есть люди и даже подпольные группы, несмотря на провалы и неудачи,— заверял Опанасенко.

— Целина,— промолвил Анисименко,— плодородная, нетронутая... Даже в лесных селах здравствуют полицейские и старосты, продолжают отбирать у населения последних коров, угоняют молодежь в рабство, живут припеваючи и всласть. И все это происходит на ваших глазах! А вы... ждете сигнала?!

— Видим, теперь сами видим, что подлое дело с нами творили подставные люди, будь они трижды прокляты! И мы считали товарища Эн за руководителя... Возьмите нас к себе, товарищи! По делу стосковались, прямо говорим — руки чешутся.

— Понимаем,— согласился Анисименко,— знаем, что

пережили, что передумали! Но теперь вы и сами сможете поговорить с другими, как мы с вами, и это очень важно. Идите собирайте отряд, к вечеру вы нам понадобится.

Хотинцы ушли в Корчаковку, уже занятую партизанами. Они обещали собрать необходимые для нас данные об автомобильной дороге, которую предстояло перейти с боем.

— Вот что, Иван Евграфович,— обратился я к комиссару, оставшись с ним вдвоем.— Теперь мы приобрели еще одно качество, наиболее, пожалуй, драгоценное и необходимое в нашем деле. Мы и все наши партизаны — это знамя! Именно знамя, зовущее и собирающее людей к восстанию. И чем глубже проникаем мы на юг, тем виднее будет народу это знамя. Нужно идти как можно скорей, не таясь и не прячась, идти открыто, как на демонстрацию, через села и города и делить вместе с народом и радость и горе!

— И неизбежно нас увидят тысячи, услышат о наших делах миллионы людей, вся Украина,— с жаром подхватил Анисименко.— Нас не остановят никакие препятствия. Верю я глубоко и свято: где пройдут наши партизаны — всюду будет вставать новая сила! Ведь вот же пришли мы — и сотня человек тут, другая в Глушкове, полсотни в Ободах поднялись! Белопольский отряд присоединился. То ли еще будет на юге далее!..

Глава V

ПОД СУМАМИ

Толпы пленных сгоняли со всех кутков Новой Сечи. Конотопцы приконвоировали до двухсот человек, хинельцы около сотни и почти столько же — недригайловцы и ямпольцы. Жаров размещал их на крытом колхозном току.

С хутора Шевченкова прислал записку Воронцов: «Имею до трехсот пленных, что делать с пленными?»

У Анисименко — он находился при Червонном отряде — пленных не было. Приехав из Кияницы, он сообщил, что на заводе был заградительный немецкий отряд и застигнутые врасплох гитлеровцы бежали. Захвачены штабные документы, много патронов и гранат, склад с обмундированием.

Над Киянищей вздымался черный столб дыма. Это горели автомобили, скопище которых подожгли и подорвали партизаны Червоного отряда. Мы подсчитали убитых. У нас оказалось пятнадцать человек, у противника, по сводкам штабов, потеря в людях выражалась в трехзначных цифрах.

Тут, на военной автодороге, каждый партизан получил возможность и отомстить гитлеровцам за все и отсалютовать этим ударом наступающей Красной Армии. Путь был открыт. Нагруженные трофеями, обозы уже втягивались в лес, но теперь задерживали нас пленные. Следовало решить: что с ними делать?

В рваных, замызганных шинелях, в дырявых штанах навывпуск и в разбитых ботинках толпа венгро-фашистских солдат уже заполнила весь колхозный двор.

— Я думаю,— сказал Анисименко,— что бойцы пусть позавтракают в селах — про волжскую битву расскажут людям, листовки, газеты раздадут, а мы тем временем посоветуемся, как нам быть с пленными. Ведь ничего, что на военной дороге фашистов простой получится? Как думаешь, приемлемо?..

Мы расхохотались.

Шоссе, сахарный и спиртовой заводы, множество каменных построек, обширные массивы Сумских лесов, куда вошли уже наши тылы, обозы,— все это было теперь нашей выгодной позицией и располагало не спешить с уходом от военной дороги в сторону.

Спустя час совет командиров решал вопрос о пленных. В колхозную контору были собраны все, кроме командира главразведки Баранникова, который обследовал леса за шоссеиной дорогой. Не было и Туманчука, оставшегося в хуторе Шевченково. Этот занимался пополнением своего отряда.

— Удивляюсь,— горячился Воронцов,— и на какой черт их брали? Пленные — совсем не партизанское дело!

— Отпусти — им снова дадут винтовки и опять пошлют против нас же,— сказал я.

— Профильтровать их надо,— задумчиво произнес Инчин.— Отделить фашистов от невольников и тогда уж решать: кому живу быть, кого к прапраотцам направить. Хотя,— спохватился он,— как опознать, кто овца, кто овчарка фашистская?

— Построить всех в яру — и точка,— запальчиво предложил Байдин.— Иного выхода не нахожу.

— А кто в них стрелять согласится? — спросил Инчин. — Ты возьмешься за такое дело?

— Тоже скажешь, — осекся Байдин. — В бою они для меня враги, мишени, а тут... Все-таки люди! В толпу стрелять я не буду.

— Они оккупанты, — стуча кулаком по столу, сказал Воронцов. — Пришли на нашу землю, и разговор с ними короткий: получай ее!

— А если не пришли, а силком их привели? — заговорил Анисименко. — Ведь тут почти поголовно мадьяры и дело не только в том, кто стрелять будет. Вопрос в другом; надо ли это делать? Давайте спокойно обсудим.

Вопрос был и трудный, и чрезвычайно серьезный. И хотя почти каждый из командиров не впервые решал судьбу пленных гитлеровцев, и решал всегда одинаково сурово и просто, но теперь, когда частям Красной Армии сдавались в плен целые армии гитлеровских сателлитов, когда фашистская армия потерпела катастрофу под Сталинградом и сейчас откатывается на запад, — все подсказывало, что настала иная пора и что совсем другие мы сами, действующие в рейде по прямому заданию партии и правительства, и поэтому вопросы о пленных решать нужно совсем по-иному, но как именно?

— Вот интересно бы знать, — начал Анисименко, — как поступали со своими пленными в старину? Ты, Анатолий, — обратился он к Инчину, — человек, знающий историю, расскажи-ка нам про древних полководцев.

— Что ж, — нерешительно начал Инчин, — завоеватели обращали пленных в рабов, приковывали к плугу или к веслам на галере, обращали в гладиаторов. На том древний Рим был основан. Читал я о Чингисхане. Завоеватель поголовно истреблял и старых и малых. Бывали, правда, случаи, что он миловал человека за богатый выкуп, но потом все равно коварно превращал его в раба, в рабочую лошадь.

— Татарская орда плохой пример, — отмахнулся Воронцов.

— Концлагерь фашистов не лучше, — возразил Инчин. — А вот военачальники Чингисхана истребляли пленных с каким-то сладострастием. Они накрывали пленников досками, сверху настилали ковры, а потом садились на них и пировали. Представляете, настил шевелится, стонет под ними, а им удовольствие! А то, развлечения ради, переламывали пленным позвоночники.

— Не подходит это для нас,— заметил Говоров.— Средневековье и азиатчина! Старостиха Василиса проще решала с солдатами Наполеона: вилы в бок — и точка! За чем пришел, то и нашел!

— Возьмем другие примеры. Вот Гарибальди,— вспомнил Инчин любимого своего героя.— Когда он командовал корпусом добровольцев во Франции и сражался против пруссаков, то его бойцы уничтожали пленных, помня, что сегодня пленник смирился, а завтра ударит в спину. А как с мадьярами поступить, убей меня бог — не знаю.— Инчин тяжело вздохнул.— Ведь они мои единоплеменники...

— Тьфу! — сплюнул Воронцов.— Нашел время зубоскалить!

— Я вполне серьезно: мордва и мадьяры одной угрофинской группы, одной уральской языковой семьи. Мадьяры, тунны, авары, печенеги, половцы — все они мои предки.

Инчин рассказывал далее, что тысячелетие назад эти восточные племена перекочевали из Приуралья в Центральную Европу и на Дунай, основав там свои государства.

Наступила продолжительная пауза. Ее прервал Анисименко.

— Так как же мы поступим, товарищи? — Он обвел взглядом всех, кто сидел за столом.

— Другие времена, другие люди,— сказал Кочемазов.— Мы находимся в таких обстоятельствах, условиях, каких еще не было в истории. И прежде всего нужно помнить, что мы не гангстеры, а советские люди!

— Оно так,— глухо проговорил Воронцов, закуривая сигару,— только на кой черт было брать в плен этих мадьяр? Разбойничали они в брянских и хинельских селах, издевались, а мы...

— Ты прав, издевались,— подтвердил Анисименко.— И попадись им в руки кто-либо из нашего отряда, страшно представить, что сделали б с ним!.. Ну, а вы как думаете? — обратился комиссар к Тхорикову.

— Я вообще не понимаю, для чего вся эта операция! Разве же это война? Они и не сопротивлялись,— ответил Тхориков.

— Ах, вот как? — с гневом проговорил Анисименко.— Это не тебе, а парторгу Халимоненко они всадили в живот две пули, не из твоей группы пятнадцать партизан

потеряны? Вы тоже так думаете? — спросил Анисименко Кусачева.

— Что касается меня, — высокомерно высказался Кусачев, — то я не считаю этот сброд за людей. Да, не считаю! На мой взгляд, они могли бы удобрить поля здешних колхозников.

Командиры отчужденно поглядели на Тхорикова и Кусачева, на этих неприятных людей.

— Москву запросить надо, — предложил Щебетун.

— Спрашивали, когда офицеров в плен в Глушкове взяли, — сказал я. — Нам ответили: «Решайте сами».

— То есть, поступайте, как диктуют обстоятельства, — тихо проговорил Анисименко.

— Что ж, — усмехаясь сказал Воронцов. — Давайте отпустим! Обмундирование выдадим, продуктами снабдим в дорогу, а вдогонку крикнем: «Счастливого пути, дорогие товарищи! Всего доброго! В случае чего — милости просим!»

Все, кроме Анисименко, рассмеялись, а он в упор поглядел на Воронцова.

— Берешься прикончить пленных? Всех, огулом! И совесть в порядке останется? Говори!

— Да что я, мясник, что ли? — возмутился Воронцов. — Партизан не убийца, Иван Евграфович!

— Тогда отпустим? — спросил Мельник, переводя взгляд с меня на комиссара, а Воронцов снова съязвил.

— Аттестаты им приготовь, — сказал он, щелкая пальцами, — бельишко выдай, в баню сведи, по куску душистого мыла выдай!

— Хватит, — решительно молвил Анисименко и поднялся со стула.

Мы вышли на крыльцо. Утро давно занялось, оранжевое, негреющее солнце висело над туманным маревом лесной впадины.

Толпа пленных мадьяр, — их было человек семьсот, — тревожно зашевелилась при нашем появлении.

Было очень холодно, и пленные мерзли в своем легком обмундировании. Засунув покрасневшие руки в рукава, карманы, они зябко переступали с ноги на ногу.

Анисименко спустился со ступенек крыльца, прошел к сеялке, стоявшей посреди колхозного двора, поднялся на нее и, обращаясь к пленным, громко произнес:

— Кто из вас знает по-русски?

Поднялась одна, потом две, три... десятки рук.

— Кто вы? — спросил Анисименко одного из тех, что стояли с поднятыми руками.

— Русины, — ответил пленный. — Мы не стреляли в партизан. Мы не хотели стрелять на фронте, — поспешил добавить он, делая шаг вперед и глядя прямо в глаза Анисименко. — Мы поневолены Гитлером и Салаши.

— А я — серб, — выступил вперед сероглазый парень с открытым мужественным лицом. — Я студент Белградского университета. Киркой и лопатой меня вооружили фашисты.

— Верю, — твердо произнес Анисименко, тряхнув головой. — Как вас зовут?

— Томич, Михаил Томич, — ответил серб.

— Очень хорошо, товарищ Томич. — Если хотите, беру вас в отряд. Будете воевать с нами, сражаться против гитлеровцев. Соглашаетесь? Отлично!

Воронцов крикнул и знаком дал понять мне, что комиссар поступает правильно.

— Так, — продолжал Анисименко. — Ну, а среди прочих кто знает по-русски?

Спустя две-три секунды поднялось несколько грязно-красных рук с узловатыми пальцами и с бахромой на рукавах шинелей. Анисименко вполголоса сосчитал их.

— Сорок три. Ну, а знаете, как называется вот эта машина, на которой стою я?

— Севалка, — ответил один из мадьяр, продираясь сквозь толпу ближе к комиссару.

— Правильно, сеялка, — сказал Анисименко. — А что делают этой машиной?

Русины заулыбались, а мадьяры придвинулись еще ближе к сеялке, разглядывая ее и трогая руками отдельные части.

— Севалка, добре севалка, — говорили они.

— Сеялка! — заулыбались партизаны.

Я всматривался в лица мадьяр, догадываясь, что почти все они крестьяне, батраки. Многие побывали в русском плену еще в годы империалистической войны.

— Хлеб, — произнес один из пленных.

— Добре робит машина, — добавил другой.

— Хлеб, хлиб, кенер! Добре робит! Севалка! — гудели пленные, смешивая родную речь с русской и украинской.

— Правильно, добро делает! — подтвердил Анисименко. И был он в эти минуты для меня и всех командиров, как хороший учитель среди великовозрастных учеников.

— Машина сест хлеб,— продолжал он.— Но вот пришли вы сюда как враги наши и потоптали нивы и поля. Теперь сеялка стоит заброшенная, ржавая, ее некому отремонтировать. Горе принесли вы нашим сеятелям, крестьянам,— взволнованно произнес Анисименко, и толпа тотчас зашумела, зашевелилась, слышались голоса:

— Нас заставили!

— Мы не хотели войны!

— Мы не враги! Мы покинули фронт, идем к матке, додому!

— Хорти нарушил закон гонведов¹: мадьяр не должен переступать границ Венгрии!

— Гонвед — не вор, не грабитель, он любит труд и мирную Венгрию!

— Камрад масло, камрад яйца кушает, а мадьяр — капуста. Пленный рус — капуста!..

Анисименко выждал, когда наступила тишина, а потом попросил переводить на венгерский то, что он сейчас скажет.

— «Обманули!»! «Заставили!»! Поздно теперь говорить об этом... Ну, а что же мы должны сделать с вами, мы — партизаны?..

Воронцов при этих словах сошел по ступенькам крыльца и, не сводя черных глаз с комиссара, встал подле него же.

Инчин сидел на ступеньке, опустив голову. Порывы ветра выметали со двора сор и солому, раскачивали голые ветви старых тополей.

— Что нам делать с вами? — повторил Анисименко, обводя толпу суровым взглядом.— Вас заставили воевать, но вы все же убивали наших людей, вы не бросили оружия, пока оно не было выбито из ваших рук нашей армией и партизанами!

Томич громко повторял каждое слово комиссара.

— У нас нет ни следствия, ни трибунала, есть только суровая необходимость уничтожить каждого, кто ступил на нашу землю как враг, кто принес нам войну, кровь и разорение народу.

Пленные опустили головы, понуро глядя исподлобья на Анисименко.

— Да, расстрелять как врагов нашей Родины, сделав-

¹ Гонвед (венг.) — защитник родины в период революционной войны.

ших столько зла, принесших столько несчастья нашим людям,— комиссар сделал паузу, оглядел пленных.— Но... мы же убийцы, мы — советские люди, в груди у нас бьется сердце, способное чувствовать и понимать. Мы оставим вас жить, мы пощадим вас,— четко и отрывисто договорил он.

Пленные подняли головы, радостно заулыбались, еще тесней сгрудились у сеялки, на которой стоял просто одетый, синеглазый человек в пропахшей порохом шинели, в меховой ушанке. Он знал, что никто из пленных никогда не забудет этой минуты, этого морозного утра, обширного, заснеженного двора и высокого душой и разумом советского человека.

— Мы решили поступить с вами вот как,— проговорил мой комиссар.— Мы вас накормим, дадим кое-что из одежды, и вы пойдете, да не по шляху, где через короткое время вас остановит заградительный гитлеровский отряд и заставит снова пойти в казарму. Мы вам укажем другую дорогу. Она приведет вас в глухие села. Там живут простые советские люди, умеющие отличать тех, кто против своей воли, насильно шел со злодеями — гитлеровцами. Они помогут вам добраться домой. Вы расскажете в Карпатах и за Карпатами, там — в солнечных долинах Дуная — о нас, партизанах, о победах Красной Армии, поведаете им также и о том, как и что я говорил вам, и они поверят каждому вашему слову... Но есть среди вас общие наши враги — фашисты, которые ввергли вас в войну, погнали на смерть. Они предадут вас там, на родине, у порога родной хаты...— Комиссар отогнул рукав, посмотрел на часы.— Сейчас начало двенадцатого. Даю вам два часа времени на то, чтобы вы сами решили, что делать с фашистами. Сами позаботьтесь о себе, подумайте о будущем и...— будьте справедливы!

Их направили по лесной просеке... В пухлом снегу оставили они тех, кто гнал их на погибель и кто мог предать их завтра дома...

У Кочемазова появились пулеметный взвод и стрелковая рота из мадьяр, изъявивших желание быть красными партизанами.

Узкая, глубоко вдавленная в нетронутый снег тропа вилась между высоких холмов, сплошь поросших то сосной, то дубовым лесом. Обозы продвигались с трудом.

— Леса-то какие, леса! — то и дело восклицал Баранников, указывая рукой то на вековые дубы, то на красноватые мачты сосен.— Давно ли из леса вышли, а, честное слово, Михаил Иванович, душа соскучилась по деревцу!

В лесу было тихо... Серебром отливали шапки холмов, искрились на солнце заиндеветшие кроны деревьев.

— Люблю, когда дерево шумит! Мысли такие в голове, будто лес тебе сказку говорит, про старину рассказывает,— вполголоса говорил Кузьма Батеха, беседуя с Баранниковым, который вел эсманцев по разведанному им маршруту,— хорошо тогда на душе делается! Особенно дуб шуметь мастер! Вот он!

Батеха придержал коня и остановился под распростертыми над тропой могучими, узловатыми, в бревно толщиной ветвями. Подъехали Цыбулев, Алферов, Дзюба.

— Вот, хлопцы, дед какой! Поди, лет триста стоит тут среди своего семейства. В бурю послушать бы его, ребятки! Да в грозу летом!

— А что услышишь? — хлопнул глазами Дзюба.— Пошумит, да перестанет!

Молодежь рассмеялась.

— Э, нет, хлопчики! — хитро прищурился Батеха.— Рассказать ему есть что. Много видел он добрых рубак — и запорожцев, и гайдамаков. Видал этот дед, как они горилку пивали, трепака танцевали, да славные истории про свои походы на Туреччину и крымскую орду...

— Хе, запорожцы на Днепре, на острове Хортице жили, Кузьма Павлович,— возразил Цыбулев.

— Жили,— согласился Батеха.— В том-то и дело, что жили до царицы Катьки. А потом в эти леса перекочевали. Вот, стало быть, мы у их предков эти дни гостили, да, опять же, по-ихнему врагов земли Русской рубили.

— Это правда? — недоверчиво спросили пулеметчики Кандыбин Павлик и Митя Матюшенко.

— Ну вот! Не верите — у комиссара спросите,— ответил Батеха.— Да что там сомневаться! Село Новая Сечь — это и есть табор запорожцев, а Кияницкий на месте винокурни ихней образовался!

Цыбулев с Филоновым только свистнули, у пулеметчиков загорелись глаза, а Батеха уже прищипорил трофейного венгерца и пустился вдогонку отряду.

— Да, знаменитые леса проходим! — громко сказал Баранников. — Леса, прямо скажу, незабываемые, богатые!

Анисименко, уловив последние слова Баранникова, обратился к молодым партизанам:

— Родные они, эти леса, потому и сердцу милые. А родное... пусть то реки или озера, степи или нивы, — все нашему сердцу дорого! Только не лесами этот край богат, хлопцы. Юг Сумщины славился в мирное время пшеницей, свиноводством. Сто тысяч гектар под сахарную свеклу тут засевали! Будь мирное время, так только Сумской завод давал бы десять миллионов пудов рафинаду! А еще Хутор Михайловский и Бурыйнский, да тридцать других сахарных и спиртных заводов. Сколько бы продукции могли дать и они! Не считая меда, масла — животного и растительного — хлеба, сала, пеньки, шерсти...

Колонна все дальше уходила на юг, к берегам Псла, а пленные солдаты венгерской армии уныло топтали зимник, шагая вслед за партизанами, которым уже не было до них никакого дела. Партизаны узнали все об этих людях, одетых в шинели для того, чтобы вести непонятную и совсем ненужную для них войну. Злую шутку выкинули фашистские заправилы Венгрии со своим народом, обратив его в пушечное мясо ради бредовых идей маньяка Гитлера.

Венгро-фашистские корпуса перестали существовать как армия. Потеряв свое место в строю, забыв номера частей и дивизий, превратившись в сотысячную, никем не управляемую толпу, венгерские солдаты ринулись на запад, шагая по степным дорогам Воронежской и Курской областей, по прямым и широким шляхам Сумщины.

Эти голодные, гибнущие на морозе люди стучали в окна и двери хат, умоляя о куске хлеба. Солдат, не задумываясь, обменивал винтовку на тарелку горячего борща и этим как-бы заверял советских людей в том, что он мирный человек и воевать не хочет. Но большинство дворов, в которые заходили вчерашние вояки, были разгромлены оккупантами, и поэтому советские люди не в состоянии были накормить эти нескончаемые толпы голодных: самим есть было нечего...

Солдаты венгерской конницы приканчивали своих коней, и, может быть, только поэтому они не все погибли

во вьюжной степи. Питаясь кониной, они были в состоянии брести дальше, зорко оберегая свои запасы от пехотинцев. Вчера — товарищи, сегодня они становились врагами, думая только о том, чтобы не погибнуть от голода, не упасть на дороге. Изможденные, обросшие, с нечесанными и невытытыми бородами, с лихорадочно горящими глазами, эти люди брели от рассвета дотемна, проклиная и Гитлера, и Салаши, одержимые одним ничем не утолимым желанием: как можно скорее добраться до своей родины. А дом далеко, идти до него две тысячи километров, и пурга метет, а на ногах рваные ботинки, едва прикрытые бахромой изношенных брюк, и ни огня, ни хаты...

Офицеры, потерявшие власть над солдатами, неспособные придать им хотя бы вид воинской организации, ехали тут же в своих высоких шарабанах с неподвижными, приставшими к осям колесами. Они все еще надеялись сохранить честь мундира. Они везли штабные документы, пачки актов на загубленное имущество и павших лошадей, знамена неведомо где растерянных воинских частей, сигнальные или опознавательные полотнища несуществующей службы воздушного оповещения, телефонные аппараты и полевой кабель, неисправные радиостанции и прочий войсковой инвентарь, потерявший всякую ценность. Надеясь все же остановить при помощи немецких заградительных отрядов толпы своих солдат, офицеры имели при себе гранаты и пулеметы. Но заградительные отряды полевой жандармерии, на обязанности которых лежало вылавливание мелких групп дезертиров, предусмотрительно сторонились при встрече с многотысячными толпами голодных, обозленных солдат, а высшее их начальство, потрясенное катастрофой под Сталинградом, не имело ни решимости, ни тем более силы остановить толпы людей — вчерашнюю армию сателлитов.

Навстречу этому неудержимо катившемуся потоку спешили на восток немецкие части с намерением заткнуть прорехи на том фронте, где все для них уже было потеряно. Резервы немецких войск стягивались из глубоких тылов, и путь их от Киева к Курску лежал через Прилуки, Ромны, Сумы...

В десяти километрах от Сум нас, конечно, никто не ждал, и гитлеровцы привычно принимали партизан за полицейских, крича еще издали:

— Староста, староста! Полицай! Гутен таг!

Партизаны-конники, одетые большей частью в трофейное, тоже приветливо помахивали в ответ руками и выкрикивали:

— Комен зи, ком, ком, камрады!

Немцы доверчиво приближались к партизанам, даже не снимая с плеч карабинов. Так, с оружием своим, они и валились в снег, а «полицайи» преспокойно удалялись.

Кавалерийские подразделения, организованные при каждом отряде, разъезжали по лесам и по всей долине Псла до Сум и Суджи. Обозы, связные мотоциклисты, интенданты-заготовители, посты военной связи, полицейские и старосты — все эти большие и малые шестеренки оккупационного механизма оказывались неизменной добычей наших конников.

Штаб объединения с Хинельским отрядом расквартировался в большом селе Битица. Остальные отряды заняли села Пушкаревку, Большую Чернетчину, Ольшанку и Валаховщину. Воронцов остановился в лесокомбинате и Никольском лесничестве.

С нашим прибытием подпольные организации входили в связь со штабами отрядов. В Битицу прибыли представители молодежной подпольной группы из Сум, а также от «законсервированного» Белопольского отряда, из Сыроватки и Боромли. Тихая, затерявшаяся среди лесов и оврагов, Битица скоро превратилась в центр, куда стекались люди, принося важные сведения почти со всей области.

— На этом отдыхе работы прибавилось втрое, — жаловался Мельник. — Не успеваю сводить донесения. То, что делается отрядами, еще кое-как выколачиваю из штабов, но вот как учесть, что происходит на заставах, результаты разведки и разъездов? Они ведь совсем не пишут никаких донесений! Я не знаю, сколько убитых гитлеровцев, сколько и какого именно захвачено оружия, боеприпасов, коней, седел. По моим спискам в отрядах около тысячи бойцов, а это неверно — отряды выросли вдвое, если не втрое! Да это еще что! Я не знаю, кто и где похоронен, мне неизвестно число раненых. Начальники штабов отрядов постоянно сами в боях, а делопроизводство у них запущено! Ну что тут будешь делать!

Анисименко, слушая претензии начштаба, улыбался.

— Делопроизводство, говоришь? А ты налаживай, заведи помощников, писарей, журналы там разные по форме шесть и восемь, карточки, анкеты и что там еще пола-

гаются? Видишь ли, не в те леса попали мы на этот раз, и самое главное делопроизводство у нас — фашистов бить! Да покрепче! Тут тебе и журналов не понадобится! А распылился по мелочам — главное не сделаешь. Поэтому, друг мой, занимайся основным: разведка, охранение, связь, взаимодействие — вот что главное в работе штаба. Прочее же командиры с комиссарами сами учтут. Я поговорю с ними об этом.

Утром пришел Туманчук. Он просил задержаться тут подольше, хотя бы недельки на две. Он считал возможным превратить свой отряд в бригаду.

Явился Тхориков с Кусачевым. Эти предлагали превратить Сумские леса в постоянную базу, откуда можно было бы установить связь с подпольем всего сумского юга.

Нельзя принимать этих предложений, ибо внезапность — и только она, внезапность, — сочетаемая с неизменной маневренностью, приносит партизанам и успех и неуязвимость. «Базироваться» же, в смысле держаться на одном месте, всегда пагубно. Я попытался внушить это Тхорикову с Кусачевым, но они отстаивали свое, особое мнение, обиделись.

Медленно и скупо занимался рассвет, крепчал утренний мороз. Еле слышно потрескивали ветки, унизанные мелкими иголками инея. Партизаны лежали молча, холодную тишину леса нарушали лишь приглушенный кашель да сухой шорох кожуха или брезента. Поднялось багровое, слюдяное солнце. Шлях был пустынен. Лежавшие рядом со мной бронебойщики начали беспокоиться.

— Не идут, — шептались они. — Никого...

— Дознались о нашей вылазке, вот и...

— Тише! — погрозил рукавицей комсорг конотопцев Николенко.

— Э, какое тише! В любую сторону километра на два залегли наши!

Время тянулось медленно, зябли ноги и руки, а на шляху по-прежнему никого.

— Самокруточкой согреться бы, — проговорил кто-то на кустом.

— Курите, — сказал я. — И разговаривать можно, поскольку мы не на фланге, не очень громко.

Потянуло душистым дымком махорки. В цепи начались разговоры. Напряжение в цепи ослабло, и даже как

будто стало теплее. Николенко принялся рассказывать занятную историйку:

— Така вертляка! Глазенки канальские! Майнула со двора, как мы в Битицу въехали. Кричу ей: «Назад! Куды наострилась!» А она: «Перелякалась,— каже,— чи партизаны?» Думаю себе: «Немного таких, что нас боятся!» «Ну,— говорю,— давай в хату!» Пришли. Замочек сняли. Светлица чистенькая. На вешалке пиджак, шапка. Спрашиваю: «Где хозяин?» А она юлит, финтит, глазами зырк и зырк! То на меня, то в окно на улицу и языком толчет, мол, чутка прошла: где-то далеко, в Брянском лесу, партизаны водятся, и будто кожа у них заросла волосом, и ходят голые, и выше лба у них роги выросли.

Все прыснули. А Николенко невозмутимо продолжал: — «Эге,— думаю,— куда гнешь, проверить бы тебя, обыскать». Лезу на сеновал. Гляжу: чоботы, сверху сеном прикрыты. Да новенькие, из хрома. Кажись, и размером на меня подходящи. Думаю: «Уговорю эту перекруту разменяться на мои с калошами».

Николенко задрал ногу, показав вылинявший кирзовый сапог с привязанной к нему галошей.

Партизаны расхохотались.

— И вот, вцепился я за правый сапог, а там — нога! Я ее к себе, а она поджимается. Тут уж я потянул как надо и... хозяина двора вытащил. В одной рубашенции, трусится, как щенок, а морда, что арбуз, круглая! Говорю: «Ховаешься, мамкин сын! Воевать не хочешь, а сапоги новы носишь». Молчит, ногами ступеньки ловит, а цокотуха его по двору бегаёт, что курка с яйцом. И как-то опротивели вдруг мне и его сапоги новые, и жинка, и хата чиста. Дезертир, сукин сын! Злость разбирает. Рыкнул на весь двор: «Где, такой-растакый материн сын, служишь, почему дома отсиживаешься?!» — «В Никольском лесничестве», — бубнит, а в глаза не смотрит. «А почему не на работе?» Говорит: «Слабый я, хворый...» Ну, тут уж кто выдержит! Ка-ак махнул автоматом, а он — в хату, под защиту крали своей! Чую смех за плетнем — дивчинка смеется и говорит мне тишком-нишком: «Он партизанов в лесу для немцев ищет».

— От собака! И ты его отпустил?..

— Идут! — сдавленным шепотом проговорил Николенко.

— Едут! Приготовиться!

Кладули затворы, затем воцарилась тишина. Откуда-то справа отчетливо донесся звук мотора, а вскоре показались три мотоцикла. Буксуя на косях и стреляя глушителями, они ехали медленно. Можно было разглядеть на каждом по трое солдат, одетых в походную форму, в шлемах, с заплечными ранцами и автоматами. Над колясками тускло поблескивали пулеметы. Через минуту появились еще три мотоцикла, за ними еще столько же, и так несколько рядов, и только уже потом показалась серо-зеленая автоколонна.

Прошел мотоциклетный отряд, за ним последовало несколько бронемашин на гусеницах. Все это скрылось вдали в снежной пыли, и снова наступила тишина.

— Упустили! — протянул кто-то без досады.

— Вот где автоматов да пулеметов набрали бы! — мечтательно проговорил другой голос.

— Проворонили! Попробуй возьми их в поле!

Проходят еще томительные минуты. Затем послышались странные звуки.

— Звенит!

— Нет, пищит!

— Свистит или скрипит!

Звук напоминал тягучую мелодию на скрипичном инструменте и в то же время похож был на свист. Этот непонятный звук таинственно и зловеще сверлил морозную тишину леса. Он нарастал и приближался. Столь же непонятный звук вскоре послышался и с правой стороны.

— Обозы справа! — пронеслось по цепи, а спустя несколько секунд последовало и дополнение:

— Слева подводы!

И в самом деле: два больших обоза двигались навстречу один другому, наполняя лес этими скрипучими звуками. Вот они встретились, уже ясно видны были покрытые инеем морды лошадей.

— Мадыры! Мадыры едут!

Рыжие кони тащили венгерские шарабаны, на козлах сидели закутанные в одеяла ездовые, в кузовах расположились офицеры. Неподвижные колеса и тянули ту самую непонятную нам высокую ноту. Левым обозом, на разномастных лошадох, управляли женщины и старики.

— По бабам стрелять не будем! — донеслось до меня слева, и каждый повторил эти слова, посылая команду вправо и влево. Взоры всех устремлены на дорогу.

Тяжело и неуклюже теснились обозы в стороны: появилась легковая машина. Офицер вышел из нее и принялся громко ругать мадьяр. Возчики, привстав, торопливо заработали кнутами, и вскоре вереница обозов скрылась из виду. Машина проследовала дальше, и только шарабаны венгров продолжали бороздить правую сторону дороги.

Партизаны сгорали от нетерпения.

И вдруг лес наполнился шумом моторов. Мадьяры встревоженно засуетились, снова кинулись на обочину, настегивая коней. Обдавая вихрями снежной пыли и чадом выхлопов, прошли, рыча и сотрясая землю, два танка, а за ними колонна огромных грузовиков, накрытых брезентом. Затем появились автоцистерны, колонна автобусов. Они сверкали стеклами, и солнечные зайчики весело перебегали от дерева к дереву.

Танк, подходя, перевернул венгерский шарабан, оставив его полураздавленным посреди дороги. Передний автобус резко затормозил и попытался объехать препятствие, но забуксовал, покрывшись снежной пылью. Несколько офицеров выскочило из автобуса. И все они закричали на мадьяр: «Ком, ком!», указывая на буксующую машину. Подперев плечами, солдаты пытались сдвинуть ее с места, но тщетно. Остановилась вся колонна зеленых автобусов.

— Восемнадцать автобусов с офицерем, хлопцы! — простонал Николенко. — Что же наши медлят?!

В это мгновенье с левого фланга донеслись удары противотанковых ружей. И в тот же миг заработали автоматы, пулеметы. Лес наполнился грохотом, треском, воем. Спустя десять минут все было кончено. На протяжении четырех километров на дороге пылало все: автобусы, грузовики, бронемашины, танкетки с белыми на бортах крестами. Шоссе, стиснутое с обеих сторон лесом, было завалено трупами.

Объехав горящие машины, я пробирался к Воронцову. В лесу еще раздавались редкие выстрелы. Одна часть партизан, тут же вскочивших на венгерских коней, преследовала убегающих, другая вытаскивала из горящих машин имущество и вооружение.

На участке Воронцова меня поразило зрелище: шлях и его обочины были усеяны желто-зелеными мадьярскими шинелями, а подле них табунились кони, привычно ожидая, когда встанут их хозяева. Воронцов размахивал

руками и отчаянно ругался. Его автоматчики неподвижно стояли вдоль шоссе.

— Опять на мою долю мадьяры! — кричал он. — Ветать, распрокузькину мать! Подымайте и обыщите всех, чтоб они провалились!

Неподвижный доселе ковер шинелей зашевелился, и через минуту тысячная толпа мадьяр, упавших при первых же выстрелах, поднялась.

— Что с ними прикажешь делать? — спросил меня Воронцов.

— Повтори то, что проделано было позавчера на колхозном току.

— Это значит — отпустить!

— И направить!..

Женщины, детвора, конные и пешие партизаны, трофейные обозы, толпа пленных и табуны коней, пригнанных из-под Новой Сечи, — все вдруг переполнило села, задвигалось, зашумело. И главной причиной этого был не только наш успешный набег на шоссе, а еще и скромная, незаметная с виду работа радистов. Оставленные в селах радиостанции работали весь день на местное население. Сотни людей, осаждавшие радистов, с жадностью припадали к наушникам и, затаив дыхание, слушали голос родной Москвы.

Люди слушали, а потом рассказывали другим о Сталинградском котле, что Воронежский фронт двинулся на Харьков, войска оккупантов несут огромные потери и вынуждены отступать. Эти вести разносились от села к селу, словно на крыльях.

Глядя на оживленные толпы людей, Анисименко говорил:

— Как важно партизанскому отряду побыть в селе хотя бы день! Ей-ей, не жалею, что на шоссе не был... И какое это большое дело — радио в оккупированной местности!.. Право, не знаю, что важнее: бить оккупантов на дорогах или вот так, как сейчас, прийти в село и одарить людей доброй вестью! Гляди, — указал комиссар на ребятишек и женщин, — сколько в глазах их счастья и надежды! Разве поверят они, что Москве и Ленинграду «капут», что оккупанты за Уралом! Ничему не поверят они после того, как своими ушами слушали Москву.

Анисименко прочел мне свежую радиограмму. Из ЦК и штаба поздравляли нас с успешным выходом в район Сум и призывали усилить боевые действия на коммуникациях противника.

Мы сразу же взялись за составление очередной радиограммы в Москву.

— Порадуем еще ЦК и правительство! — возбужденно сказал он. — Пиши, Жора: «Битица, десять километров северо-восточнее Сум, точка. На шоссе Сумы — Суджа захвачены обозы противника — триста пятьдесят подвод с военным имуществом и боеприпасами, пятьсот лошадей, столько же седел, запятая, уничтожено...» — Анисименко задумался.

— Сколько же уничтожено? Сколько в плен взято гитлеровцев?

Мельник пожал плечами:

— Не имею сводок! Знаю только свой участок боя, — неуверенно начал он. — Семь автоцистерн, два танка, пять танкеток, восемнадцать автобусов да шесть грузовиков с живой силой... Но это приблизительно. Впрочем, Воронцов и Туманчук сами в Москву донесут...

— Ладно! — оборвал Анисименко. — Пиши: «Расстреляли автоколонну длиной в три с половиной километра, а потери предоставили считать противнику». Согласен, командир? Я подписываю. — И он размахисто вывел свою фамилию. — Вот так, Жора. При случае уточним, а теперь распорядись, чтоб командиры давали списки отличившихся. В первую очередь награждать будем хинельскую гвардию.

Прибежал Инчин.

— Кавалерию формировать надо! Пересаживаю весь отряд на коней! Вот будет сила! Прошу на улицу!

И нельзя было устоять перед его натиском: кавалерия была моей мечтой и страстью еще с тех пор, как прочел я впервые обращение ЦК к народу: «Организуйте партизанские отряды, конные и пешие...»

Инчин потащил нас на площадь, где его отряд, выстроенный повзводно, красовался на рыжемастных конях.

— Драгуны! Уланы! — восторженно кричал Инчин, вскакивая в седло поданного ему рыжего венгерца с белой лысиной.

— Повзводно! Стр-рр-ое-вой р-р-ры-сью!.. — начал он команду по-кавалерийски, но «уланы» и «драгуны» оставались на месте.

Сбитые с толку неопытными всадниками, кони толкли снег стройными ногами, пятились и налезали на передние ряды, высоко вскидывая головы.

Инчин свирепо сжал бока своему коню, тот взвился на задних ногах и, зло поджав уши и оскалив зубы, начал ставить свечку за свечкой.

— Спокойнее, лейтенант, конь ласку любит. Брось шенкель! Послать коня — значит слегка набрать повод, а свернуть в сторону — надо податься туда же корпусом!

Пытаясь задобрить венгерца, Инчин хотел погладить его по крутой шее, но тот на всем скаку встал, как вкопанный. Инчин едва не перелетел через его голову.

— Не понимают эти кони русского управления! — раздраженно произнес незадачливый всадник.

Баранников продолжал солидно учить и подсказывать:

— Вот видишь, за шею, опять же, не хватай. Он умница, думает, что раненый ты, потому и остановился. Бросишь повод, он, опять же, поймет, что с тобой что-то неладное приключилось! Меня слушай, лейтенант!

Анисименко от души смеялся:

— Не понимают эти пленные лошадки, что от них требуется! Придется им сначала с русской речью осваиваться. Ты, лейтенант, — обратился он к Инчину, — найди среди пленных мадьяр настоящего драгуна да научи с его помощью своих людей управлять конями.

Я пошел с Анисименко вдоль главной улицы, запруженной желтыми шарабанами и повозками. У возов, прямо на улице, шел бойкий товарообмен.

— Даю за коня немецкий автомат, часы, парабеллум и всю галантерею вместе с офицерским рюкзаком! — бойко выкрикивал разведчик Грызлов. — Меняемся! Гляди, что в нем: сигары, бритва, десять пачек лезвий, зеркало, щеточка для сапог, щеточки для усов, белья богатство — трикотажное, шелковое! По белому шелку корона выстрочена!

Грызлов привычными жестами продавца, каковым он и был когда-то в Москве, расфасовывал на шарабанах, как на прилавке, дивную пестроту содержимого в саквояже.

— А вот еще мундир с крестами, «лакей» для снятия обуви, сапожки на высоких каблучках! Две пары тончайших чулок, подвязки с золочеными пряжками, ей-ей, что на Кузнецком мосту! Ну, чего еще тебе за того венгерца?!

Грызлов оглядел расцветенный шарабан, перевел серые глаза на младшего лейтенанта Еременко, который, не выпуская повод, деловито подгонял к рыжему красавцу подруги и, казалось, был глух и слеп. Зато глаза девчат и женщин не в силах были оторваться от трофейной галантереи.

Вытряхнув из саквояжа еще какие-то блестящие побрякушки, Грызлов извлек из него солидную пачку открыток и, просняв, выставил свой последний козырь.

— Три дюжины красавиц впридачу! — воскликнул он. — По рукам, что ли? — Он развернул лакированный веер с изображением голых женщин и подставил их к лицу Еременко.

— Иди-ка ты с этой графской галантереей знаешь куда? Пойми, мне боевой конь всего на свете дороже! Извини, не знаю еще, как звать тебя, уйди, пожалуйста, не мешай!..

Грызлов еще раз оглядел стройного коня, перевел взгляд на светлый чуб деловитого Еременко, на женщин, разорвал в клочья все три дюжины красавиц и, сунув в карман шинели коронованное белье и парабеллум, вскочил на белую кобылицу и помахал рукой:

— Лучше моей Чайки все равно нет!

— А говорил — захромала, и липнет, как банный лист... — глядел Еременко на сивую скакунью Грызлова.

А тот, развернувшись, скалил ровные белые зубы.

— Берегу ее! Запасного коня бы надо. Да ладно, найдем и запасного! Бери, курносые, кому что нравится из моих трофеев!

Бешено промчались по улице лихие разведчики Астахов, Пузанов, Коршок, пробуя новых коней. Они ловко брали плетни и канавы и разве что не перескакивали через хаты.

Глава VI

УДАР

В хутор Марченки, куда никаких дорог от Сум и где только крутоскатые, заваленные глубоким снегом холмы над озером, внезапно донеслись частые выстрелы. Я по тревоге помчался к селу Сенному. Там уже дымились горящие дома, а на околице валялись десятки убитых гитлеровцев. Та же картина по всему селу.

Воронцов и Туманчук, заткнув выбитые стекла в окнах подушками, сидели за столом и допрашивали пленного обер-лейтенанта.

— Понимаешь,— пояснил мне Воронцов,— налетели, в одном белье застали! Прямо из хат пришлось отстреливаться!

— Выходит,— сказал я,— опять проспали!

— Какое! — возразил Воронцов.— На лыжах с бугра скатились. Одни из урочища Гукова, другие со стороны Псла. Так прямо на улицы и въехали! Ну ж и дали им! Видел, сколько убитых?

Воронцов брезгливо косится на пленного обера, сплевывает. А Туманчук добавляет:

— Противно стоять в селе, как-то угнетающе на психику действуют эти трупы. Да и местность тоже... Бугры кругом голые, а село — яма. Ни одной культурной квартиры!.. — Он вытирает уголком платочка аккуратно подстриженные усы.

Допрос пленного возобновляется. Это нелегко дается: офицер плохо говорит по-русски. Туманчук же понимает немецкую речь с пятого на десятое.

— Продолжай! Вышпрехивай,— говорит Воронцов Туманчуку,— сдурел он, что ли, этот обер, полез, как медведь на рогатину!

Выяснилось, что обер-лейтенанта обманули. Ему сказали, что партизан в Сенном не больше пятидесяти человек, и приказали атаковать их с хода.

— Вот оно что! — расхохотался Воронцов.— «Кляйнен группа»! И ты рад был, конечно! Поверил? Значит, привык ты, гер обер, с мелкими группами расправляться! Привык, спрашиваю? Руку набил на этом? Очистил Могрицкие леса от нашего брата? Навел порядок? Эх, какой ты, извини, грот дурак!..

Офицер опустил голову.

— Е... е... партизан кляйне группен...

— Вот тебе и кляйнен партизан! — передразнивает Воронцов.— У одного меня четыреста автоматов, да у комбрига не менее двухсот, не считая пулеметов. А ты запугать хотел, на лыжах влетел. Кавалерия мне тоже! Шпрехай, какие войска в Мирополье? Сколько еще вас там находится?

— Никого, кроме управления гебита со взводом лыжников,— подсказывает Туманчук.

— Завоевал жизненное пространство! Увести!.. Совсем, в Хинель — налево!..

Воронцов щурится на кружево Псла на карте, измеряет расстояние до Мирополья, косится в мою сторону:

— Так вот, капитан, не понимаю, для чего мне это село в яме, и бугры, и эти тесные избы. Сам подумай: в двухстах избах восемьсот партизан расквартировано! Может, уйдем отсюда? А если не уйдем, тогда прав комбриг: сию минуту надо занимать Мирополье! Дашь отряд на подмогу? Не дашь — сами справимся. Только чтоб удержать Мирополье, чтоб запереть автодорогу на Суджу, к фронту. Сил наших все-таки маловато.

— Мало,— колебался и Туманчук.— А постоять в городе, в чистых квартирах, ой как хочется! В баньке помыться, людей постричь, побрить, лошадок подковать не мешало бы!..

— Заманчиво,— соглашаюсь я,— а смысл в чем же? Ведь главные магистрали через Сумы на Курск и Харьков куда ведут? Смотрите, вот они, железнодорожные мосты. В Сумах, в Басах, у Лебедина и Краснополя... Мосты — вот что важно! Через Псел, Сыроватку — вот объекты, куда отправлены разведчики пяти отрядов. И не сегодня так завтра мы разрубим железные дороги, а уж потом можно отдыхать в городских квартирах. Это настоящая помощь фронту будет, товарищи!

— Согласны,— говорит Воронцов.— Железно задумано!

Туманчук вздыхает:

— Ничего не попишешь, придется уборку в селе делать да бани оборудовать...

Мы уславливаемся: на бугры и в урочища снарядить дозоры.

— Хватит подниматься в исподнем! Зима, простудиться можно, товарищи!

Дуло морозным, колючим ветром. Анисименко перевел бинокль на мерцавшие в вечерней мгле огни города, на костры из авторезины, обогревавшие толпы мадьяр, которым и в Сумах не было никакого приюта.

За мостом на возвышенном правом берегу Псла угадывалась большая станция. Слышалось лязганье буферов, пыхтенье и перекличка паровозов. Партизан отделяли от моста болото, бугристый с ивняком остров, камыши среди невидимых заводей, чертов лабиринт на торфоразра-

ботке и кто еще знает что! И только тут Анисименко привалился Инчину:

— Потому сам и веду минеров, чтоб снова не заплутать, как вчера Козлов с эсманцами...

Инчин присвистывает от изумления: блудили уже тут наши?.. Непостижимо!..

— Вот блукали ж!.. Не выполнили боевой задачи, не попали к мосту. Проводников расстреляли!.. Словом, наломали дровишек... Отряд опозорили и звание эсманцев. Значит, и нас с тобою, ветеранов... стыдно мне, лейтенант... Самому б вчера пойти! А мостище через Псел какой!..

Инчин только теперь уяснил по-настоящему и сложность своей задачи, и необходимость строжайшей конспирации при сборах и прибытии сюда особым, кружным путем.

Анисименко повернулся спиной к серой долине — оттуда дул морозный, колючий ветер — и, с досадой махнув рукой, сказал Инчину:

— Чертов лабиринт! Приглядывайся, лейтенант, болото топкое, дренажные каналы и торфяные ямы незаметны под снегом. Это я и без карты знаю. Да и Псел не везде замерзает. Так что справа наш фланг водой прикрыт. Слева пусть Баранников с хлопцами прощупает.

Оставив обозы в роще, две сотни партизан вышли на опушку и, обходя кустарники, потекли двумя змейками по смутно белеющей целине снега.

Впереди шагал новый комиссар ямпольцев политрук Анатолий Сыпливый, за ним продвигалась цепь автоматчиков, замыкаемая главным минером отряда Михаилом Калюжным. Инчина с пулеметчиками Анисименко направила уступом сзади. Минеры Конотопского отряда, впряженные в ляжки, позади всех волокли подсанки, нагруженные взрывчаткой. За минерами следовали остальные, кто с оглоблей, кто с жердью на плечах, держа оружие в свободной руке, под мышкой.

Тревожно шумели камыши. Натыкаясь на скрытые под снегом кочки, проваливаясь в пустотелые на осоке сугробы, партизаны долго брели по лабиринту торфоразработок. Подсанки оставляли на нетронutom пухлом снегу глубокие борозды. Короткий путь оказался долгим, изнурительным, но каждый партизан понимал, что на мосту сходятся Харьковская и Курская железные дороги и обру-

бить их — значило оказать важную услугу наступающей Советской Армии.

Спустя некоторое время минеры бросили подсанки, полуторапудовые ящики с толом были взвалены на плечи. Отряд двинулся снова к мигающим огонькам города. Казавшийся сначала близким, он с каждым шагом будто бы все удалялся.

Все молчало. Но вот треснул и глухо зазвенел лед. Кто-то провалился. Оступился и сам Анисименко. На осевшем снегу проступило темное пятно, послышался сдавленный выкрик:

— Руку давай!..

Немного в стороне кто-то угодил в дренажную канаву.

— Кладки мости! Жерди, оглобли подавай! — требовал Инчин.

Человек десять пробрались благополучно. Но вот еще кто-то сорвался. Треск, ругань... Втыкая жердь правее, левее, Инчин ищет сухое место.

— Здесь иди, — говорит он позади идущему.

— Иду, — задыхаясь от дрожи и тяжести, бормочет Николай Кирилов, чувствуя, как стынет на нем одежда, сковывая движения. — Рукавицы бы... А так все в порядке, нагреюсь. — И он продолжает нести свою трехпудовую ношу.

Анисименко сует ему свои рукавицы и ободряет других носильщиков.

— Скоро уже, еще нажмем, хлопцы! Вот они, огни, рукой подать, — ободряет минеров Анисименко.

— Где, какие огни? — хрипло спрашивает Кирилов. — Ну-ка, прощупай тут, пройдут ли?

— Шагай, — отвечает Инчин, продолжая орудовать оглоблей. — А огни — что и звезды, ни к чему. Вот бы узреть Козехин глазок «Даймонда» на мосту, тогда считай — не напрасно все это наше старание...

И вдруг зеленый зрачок проклюнулся в пролете мостовой фермы. Часовой снят!.. Значит, на мосту уже и автоматчики Баранникова. Теперь их задача взорвать дзоты... Белые фигуры с ходу занимают пустырь вокруг дзотов.

Минеры укладывают на мосту взрывчатку. Работают самоотверженно, Анисименко с разведчиками спешит на пустынную возвышенность, и перед ним не далее как в двух километрах открывается город. Станция в огнях, перекличка маневровых паровозов. Сотрясая землю, идет

в сторону станции поезд. У Анисименко учащенно колотится сердце: «Успеем или не успеем?» Он разворачивает на бугре группу автоматчиков. «А что, если бронепоезд?» Но уже видно ряд вагонов. Анисименко успокаивается: бронепоезду нет нужды подходить вплотную. Эшелон громыхает на мосту. Анисименко облегченно переводит дыхание: невероятно — ни в городе, ни на станции ничего не знают. Не подозревают...

Вскоре над головой слышится гул. Привлеченный кострами, самолет кружит над городом, хвостовой фонарь вписывает в темное небо рубиновую кривую. Раздаются взрывы...

— Наш! Наш бомбит! — ликуют партизаны.

«Наш», — содрогнулся от радости Анисименко. В Сумах паника. Анисименко торжествует: «Успеем, заминируем!» Гаснут костры на улицах города. Затемнилась и вся станция.

Минерам жарко.

Пули, неведомо откуда летящие, клекаются в мерзлые шпалы.

— Кто стреляет?

— Перестаньте стрелять, черти!

У дзота слышится голос Самодова:

— Здесь они, не найду хода. Отстреливаются... Подковырнуть надо!

Калюжный подтаскивает ящик с толлом.

— Ложись, постерегись, товарищ!

Громыхает взрыв...

Пропустив еще эшелон, минеры кончают свою работу и удаляются.

— Зажигай! — приказывает Анисименко, когда снова показались в темноте три паровозных прожектора.

Калюжный с Коноваловым поджигают бикфордов шнур. Взрывная волна хлещет партизан в разгоряченные лица... Они счастливы и довольны.

— Все! — легко вздыхает Анисименко. — Теперь назад семимильными шагами.

Спустя полчаса и на востоке от Сум глухо и раскати-сто ухнуло.

— На станции Басы, — отметил Анисименко. — Виадук взорван!

И почти в то же самое время донеслось еще два более глухих, но столь же мощных взрыва.

— Дорога на Курск тоже отсечена, хлопцы!

Минеры идут по шпалам прямой, но только уже надежно ими обрубленной магистрали Берлин — Харьков...

Еще не рассвело. Инчин и Анисименко спят сном праведников, а я доискиваюсь, почему не взорвали вчера мост: «Неужели струсили?..» Об этом скажет, видимо, Иван Коренский. Сейчас он громоздится у стола, куняет... После вылазки к мосту он оставался в разведке еще сутки: устал, перемерз. Но такова доля офицера штаба третьего Эсманского — знать всякий шаг этого отряда, где и рядовые и командиры — новички.

Мало-помалу растормошил Ивана.

— Спать, что ли, пришел ко мне?

Тот протирает заскорузлыми пальцами глаза, сонно молвит:

— Измотался, командир, а толку...

— Какая ж причина?

Иван передернул плечами, облокотился на стол и, опустив глаза, тихо заговорил:

— Желание выполнить задачу было огромное. Отряд имел два воза взрывчатки и все необходимое: термитные шары, беззвучки... К двенадцати ночи рассчитывали пробраться к мосту. Взяли проводников из местных жителей, которые заверили, что за два часа выведут отряд к мосту... Оставив обоз в кустарниках, мы забрали взрывчатку и двинулись через торфоразработки... К двум ночи мы находились где-то посреди разработок. Все были мокрые и смертельно усталые. Козлов объявил привал. Люди повалились на снег и раздраженно начали расспрашивать проводников:

— Дойдем ли, наконец, до моста?

— Если невозможно пройти, то сказали бы раньше!

— Нам нельзя до утра лазить по этому болоту, понимаете вы это?

— Ведите нас к мосту! — приказал Козлов.

И все мы побрели за проводниками, которым уже никто не верил. Проводники водили еще часа полтора. В пять утра мы снова оказались на том же месте, где уже отдыхали. Всех охватило отчаяние: а что если и вправду не выберемся ни к мосту, ни к своим обозам?

— Мы заблудились, мы не знаем дороги к мосту... — упрямо твердили проводники.

Тогда Козлов приказал им провести отряд назад, к ис-

ходному. Было шесть утра, когда мы вышли к своему обозу...

— Кто они, откуда проводники эти?

— Не запомнил. Впредь буду записывать людей, их поступки...

Утром к нам прибыл комбриг Туманчук. Весь розовый, с сизым отблеском на тщательно выбритых щеках, изысканно одетый, он выглядел великолепно. От него несло лесной свежестью и духами.

— Какая тишь! В какой милый уголок я попал! — воодушевленно говорил он, входя в нашу квартиру. — А герани, а розы! Ох и ах!

Затем степенно снял бекешу, подал всем руку.

— Как дела?

— Как видишь — цела голова! — столь же добродушно ответил я.

Мы завтракали. Анисименко наслаждался горячим чаем. Мельник, сидя за туалетным столиком, разбирал донесения и составлял для Москвы очередную радиogramму.

Не отрываясь от стакана, Анисименко указал жестом на стул. Туманчук сел к столу, в глазах засветились искорки любопытства.

— Хотелось бы чуть подробней!

Его интересовало, чем кончился ночной поход на Курскую и Харьковскую магистрали. Мельник покосил глазом на меня, на Анисименко, бойко закартавил.

— Подробней? Один момент! — Он сунул бумаги в сумку, учтиво повернулся к Туманчуку: — Операция, товарищ комбриг, выполнена блестяще. Результаты ошеломляющие. Пребывание ваше в неудобных квартирах целиком оправдано.

— Желательно еще подробней, — не утерпел Туманчук и повернулся вместе со стулом к Мельнику.

— Извольте! — Мельник встал, прищелкнул каблучками. — Читаю радиogramму, — он взглянул на меня, — можно?

Я кивнул.

Мельник, важно откашлянувшись, начал:

— «ЦК и главштабу. Две точки. В ночь на десятое февраля Хинельским, Червонным, Конотопским, Ямпольским и Недригайловским отрядами осуществлен одновременный диверсионный удар по четырем железнодорож-

ным мостам. Точка. Коммуникации противника обрублены, движение эшелонов на линиях Сумы — Харьков, Сумы — Курск прекращено...»

— Дальше, товарищ капитан, надо бы назвать отличившихся, указать число уничтоженных гитлеровцев. Как напишем?

— Пиши, Жора, так: «Отличился каждый. Гарнизоны атакованы с ходу. Уничтожено при этом четыре взвода».

— Невероятно! — изумился Туманчук.

Мельник заразительно засмеялся.

— Кое-кто тоже не верит. — Ов кивнул при этом на дом через улицу. — Захожу утром к Тхорикову. Спрашивает, что нового в главштабе. Говорю: «Мост в Сумах высажен в воздух». Кусачев вскочил с постели, как ужаленный... А Тхорикову тоже не верится, шумит: «Какие могли быть операции? Ведь штаб с места не двигался».

— Признаюсь, и я этой таинственности не разумею.

— Не о вас речь, товарищ комбриг, — спешит успокоить его Анисименко, — точнее, не столько в вас, а так... в отношениях с товарищами утрачена сердечность. Более сухими стали отношения...

— Официальными, — уточнил Мельник. — Вот, например, Тхориков и Кусачев пишут в адрес командования. Вам, товарищ капитан, адресовано.

Мельник подает мне бумагу. Прямым, точным почерком Кусачева скупко сообщалось, что в районе города Краснополье сосредоточено более миллиона центнеров продовольствия. Имеются и другие дела, интересы которых требуют, чтобы партизанские отряды прошли по территории Краснопольского района.

— Превосходная идея! Уверяю вас. Нам просто даже необходимо пройти туда! — живо заговорил комбриг. — У меня тоже есть некоторые соображения.

Туманчук замялся.

— Какие соображения?

— Извините, я бы считал преждевременным... имею некоторые данные. Позвольте, я уж после об этом, дело оно, как бы сказать, директивное...

— Хорошо! — говорит Анисименко и выразительно смотрит на меня, догадываясь, что Туманчук что-то утаивает: его предложения совпадают с Тхориковыми, и это похоже на сговор.

— Что ж, — говорю, — подумаем... Теперь, когда состо-

ялся удар по мостам, предложения эти, кажется, приемлемы.

Я согласился. В Краснопольском районе много сахарных заводов, много дорог, и это давало основание думать, что оккупанты накопили там солидные продовольственные запасы. Лишить противника сотен тысяч тонн продовольствия — дело казалось стоящим.

— Шесть миллионов пудов — цифра изрядная. Хорошо бы уточнить, насколько достоверны данные об этих запасах, — сказал я Мельнику и комиссару.

— Данные, по-видимому, основательны, — ответил Мельник. — Я лично опрашивал разведчиков комбрига, да и опыт подсказывает, что на крупных станциях всегда имеются солидные запасы, и потом где же быть хлебу, если не тут, в южных районах.

Я глянул в окно. С запада напоззали низкие оловянные тучи, гнулась в палисаднике ветла. Ночь обещала быть ветреной, вьюжной. Прикинув циркулем по изломанным и кривым дорогам, я определил, что до Мезеневки не менее 80 километров и мы могли оказаться там внезапно.

Глава VII

СЛОЖНЫЙ УЗЕЛ

В жандармской высокой фуражке, в новом под ремень дождевике, с витым серебряным шнуром на груди и с неизменным фонарем «Даймон» в петлице Инчин красуется на своем рыжем венгерце.

Обветренного медно-красного лица Козехи не видно. Облаченный в ту же жандармскую форму, он время от времени взмахивает скруткой из кабеля, чтоб хоть немного прибавить резвости усталой лошади.

Кто в орластом кивере, кто с черным бубновым тузом при скрещенных костях и черепа на шевроне шинели, хинельцы сворачивают на заводское шоссе. В темноте проступают смутные очертания каменных строений, длинная стена, а над ней расплывчатые пятна света.

Слышны хрустящие щелчки взводимых гранат. Козехины шарящие глаза как бы освещают путь «предельно спокойному» Инчину.

Он знает, что самообладание порой решает все. Сдерживая коня, Инчин шагом подъезжает к массивным заводским воротам и начинает распекать часового:

— Почему не окликнул, сонная твоя рожа?

— Я давно вас вижу, пан обер-лейтенант, а кричать комендант не позволил, ей-богу, правда! — оправдывается часовой.

— Какой комендант?

— Барановский, разве не знаете?

— Вот я с ним поговорю, веди к нему, — требует Инчин.

Козеха вырывает у полицая винтовку.

— Чего рот разинул, веди к коменданту!

— Ругать будет...

— Н-ну! — пригрозил плетью Инчин.

Часовой, озираясь, нехотя направляется к флигелю.

— Теперь не миновать ямы... — бубнит он, прося возвратить винтовку.

— Ладно, вернем, — отмахивается Инчин.

Инчин уже обошел флигель и увидел другое каменное строение: казарму.

Инчину жарко. Он прячется в тени тамбура, заряжает еще две гранаты и обзревает двор. В глубине темные заводские корпуса, все из камня. И ему кажется, что он в средневековом замке.

— Сюда, сюда, — торопит он Козеху.

У ворот цоканье копыт. Слышны голоса ворвавшихся во двор партизан. Инчин открывает входную дверь, вбегает в помещение, заставленное рядами кроватей, включает полный свет. Какое-то время считает ряды коек: взвод, три, шесть — две роты! — и указывает Коршку с Козехой на пирамиды. Те бегут к оружию. На кроватях начинается движение, кто-то поднял голову, щурится от ярких потоков света.

— Лежать! Головы под одеяло! — кричит Инчин и выразительно поводит автоматом.

Казарму заполняют партизаны. Впереди — лейтенанты Дьяков и Еременко. Инчин хохочет.

— Чертовски везет нам! — говорит он.

Триста винтовок, вычищенных, с подтянутыми ремнями, стоят, поблескивая штыками и затворами.

— Чего глядеть, братва? Надевай новые сапоги и шинели!

Дьяков швыряет на пол рваный свой пиджак, Еременко — худые ботинки, ребята вмиг переодеваются, подпоясывают себя ремнями с подсумками.

— Товарищи, возьмите нас! — униженно, жалобно просятся полицейские.

— Мы не полицейские!

— Мы тоже партизаны!

— Да как ты смеешь? Предатель! — замахивается плетью Жаров на рыжеватого парня, но тот взмолился:

— Не бей, товарищ, опомнись!

Жаров смотрит в его открытое, простое лицо.

— Дело-то какое, — убеждает парень, — ты разобраться должен. Говорят: «Надень полицейскую шинель, партизаном сделаем». На поверку вышло: ты плетью размахиваешь...

Жаров смущенно отступает.

— Черт вас разберет, холун несчастные!

— Дак и меня вербовали!

— И меня! Меня!..

Жаров безнадежно машет рукой, кричит своим хозяйственникам:

— Сдирай одеяла! И простыни! Выноси!

Инчин сгоняет полураздетых полицейских в дальний угол, выставляет часовых. В казарме долго не смолкает возня и шум, звяканье отмыкаемых штыков, стук каблучков и прикладов. Винтовки выносят в охапку, по паркету пола волокут кованые сундуки с патронами. В двери — давка. Это прокладывают себе путь разведчики Пузанов, Роман и Карманов.

— Дайте же зайти, товарищи! — шумят они. — Пустите. Обогреться надо!

За ними валится толпа небритых, с землистыми, посившими лицами, изможденных людей.

— Кто такие?

— Узники из подвала! — кричит на всю казарму Пузанов. — Смертники. Они к расстрелу приговорены.

Роман докладывает Инчину:

— Под казармой, в подвале, всю зиму сидели. Вчера могилу себе копали.

— Ого! Мы взяли не только крепость, но и тюрьму! — восклицает Инчин. — Впрочем, всегда так было. Ищите главного тюремщика — коменданта. Раздобудьте мне его, чего бы ни стоило!

Смертники выстраиваются в шеренгу по два, ими командует рослый немолодой парень. Он рапортует Инчину:

— Товарищ командир, группа подпольщиков Краснопольского и Боромлянского районов спасена партизанами от казни и поступает в ваше распоряжение... — Он

сделал короткую паузу, с достоинством и чуть потише представился:— Лейтенант запаса Ступич.

Воцаряется тишина. Ступич молчит несколько секунд, затем произносит надломленно:

— Не то, совсем не то! — Он бросается к Инчину, стискивает за плечи, рыдает.— Спасибо! Спасибо, дорогие товарищи!.. От всех нас спасибо вам, братья!

Инчин подходит к шеренге, глядит на полураздетых людей, на изможденные лица, запавшие, воспаленные глаза. Почти все молодые, но у большинства поседевшие волосы, и ему хочется сказать им столько хорошего, теплого.

— Что сказать вам, дорогие товарищи? — молвит Инчин.— Живы! Теперь уж жить вам да жить! Поздравляю вас! — Он крепко трясет руку Ступичу.— Поздравляю «новорожденного» и остальных «младенцев». Вторично родились вы... Можете по домам расходиться или куда кто хочет.

— С вами пойдем!

— С собой возьмите нас!

— От вас — никуда!

— Все, как один, с вами,— подтверждает Ступич.— А не примете всех двадцать восемь, прошу не отказать хоть мне с братьями. Тут нас четыре родных брата.

— Ступича нам командиром! Старшего Ступича!

Не раздумывая, Инчин объявляет бывших смертников взводом и тут же назначает командиром лейтенанта Кузьму Ступича, а его братьев — отделенными командирами.

В казарме появляется низкорослый, в синей бекеше человек.

— Партизаны, товарищи, родные! — кричит он гортанным голосом.

За ним идут Туманчук, Тхориков, Кусачев.

— Палач наш — Барановский,— шепчет Инчину Ступич. Все смертники замерли.

С широкой алой лентой на кубанке, с расprostертыми руками, Барановский бросается к Инчину, но тот отшатывается. Какое-то время Барановский стоит с приподнятыми руками. Культипки-пальцы отливают синевой волос. Сильно приплюснутый нос, желто-зеленые глаза. В них замешательство. Руки медленно опускаются. Завидев меня, он принимает стойку смиренно, затем пухлую ладонь подтягивает к кубанке.

— Командир подпольного партизанского отряда имени ВЧК — Барановский.

— Вы — комендант полиции! — гневно поправляет его Инчин, наводя пистолет. Туманчук кладет свою руку на плечо Инчина.

— Лейтенант! Спокойствие! Поспешность — сестра ошибок.— И доверительно шепчет на ухо:— Товарищ Барановский — наш генерал, он действует здесь по заданию центра.

Инчин суживает глаза.

— По заданию берлинского центра?

Комбриг разводит руками, улыбается.

— Друг мой! Есть же предел и наивности! Товарищ Тхориков подтвердит вам тоже особо секретное задание...

Тхориков цедит сквозь зубы, глядя в сторону:

— Боюсь, не вашей компетенции дело, Инчин.

Толстые губы Барановского дрожат в деланной улыбке. Его крепкий угловатый череп, синее новенькое сукно бекеша, подбитой черным каракулем, щегольские черные гетры, снаряжение, отливающее черным лаком,— все это кажется поддельным, ненастоящим, опереточным.

Не скрывая неприязни, Инчин в упор спрашивает Барановского:

— А свежевырытая могила во дворе и эти двадцать восемь коммунистов в подвале — это чьей компетенции дело?

— Прошу прощения,— вежливо говорит Барановский.— Мои люди готовили их к побегу. Меня не остановила бы необходимость пожертвовать ради их спасения часовами.

— Хо! Готовил могилу, чтоб спасти их. Не правда ли, товарищ комбриг, логично?!

— Все, дорогой лейтенант, логично, все хорошо. Вы много чего не знаете. Товарищ Барановский и его люди вливаются в мою партизанскую бригаду. Этим все сказано...

— Я очень рад нашей встрече. О вас я уже ориентирован. С нетерпением ждал. Мы объединим наши силы и будем выполнять общие задания, товарищи! — напыщенно заявляет Барановский, глядя на Туманчука с Инчиным.

— Волк на псарне вам товарищ! — отшатывается от него Инчин.— И я не отпущу вас так просто. Сдавайте парабеллум и следуйте за мной. В штаб.

— Вот уж этого, лейтенант, я не позволю,— категорически возражает Туманчук.— Отряд ВЧК в моей бригаде,

и предоставьте, мой дорогой, мне право во всем разобраться. Только так. И еще прошу вас, храбрый лейтенант: возвратите взятое вами оружие и снаряжение. Оно принадлежит моей бригаде.

Инчин бледнеет:

— Не будь вы комбриг, я послал бы вас и вашу бригаду к чертовой матушке вместе с бригадиром и с комендантом. Забирай оружие, Ступич. Мы покидаем это логово!

— Отставить, лейтенант! Это моих партизан оружие!

— Взять и выносить, Ступич, как приказано!

— Я требую подчиниться, лейтенант! — вскипел Туманчук и схватился за свой маузер. Но Барановский вовремя соображает, чем может кончиться для него эта стычка с уже вооруженными узниками, и говорит:

— Не нужно, товарищ комбриг, прошу успокоиться. — И тянет комбрига за правый рукав к выходу. — Ну, право же, не стоит из-за пустяков. Я передам в ваше распоряжение весь наш краснопольский оружейный склад.

— Нет, нет! — кипятится Туманчук уже во дворе. — Да как он смеет? Мальчишка! Как смеет? Эй, кто там из кировоградцев? Запереть ворота, задержать повозки с оружием!

— Жаров! Жаров! — кричит Инчин. — Дьяков! Собирать роту, вытягивать обозы. Ступич! Нашу заставу у ворот выставить!

У чугунной, уже запертой решетки начинается свалка. Слышится лязганье оружия, сбились кони. Астахов с Пузановым лупят по чьему-то покоробленному кожуху, как в бубен.

Весь налитый злобой и яростью, Инчин носится по булыжному двору, щелкают подковы его венгерца.

— Хинельцы, ко мне! — Он бросается к воротам, в которых два встречных потока людей и коней: обоз хинельцев с территории двора и обозы Туманчука с поля.

Уже рассветает. Инчин потирает пальцами виски, ужасается при мысли, что могло бы произойти, если бы началась перестрелка со своими. Оставляет завод комбригу.

Несколько километров, отделяющих мою штаб-квартиру от сахарного завода, Инчин и его рота мчатся, не переводя дыхания.

И только в Мезеневке, увидя на площади Мельника, Инчин, клопоча гневом, выдыхает:

— Ну и комбриг! Ты понимаешь, понимаешь или нет что делается?.. Воевать с фашистами, со всякой своло-
чью — я понимаю! А со своими, с комбригом советским?
Нет увольте. К черту! Со своими драться — я не воин.
Я лоб под пули подставляю, а он: «Отдай оружие!» И ко-
му? Кому, я вас спрашиваю?..

Мельник изумленно моргает:

— О чем, о ком вы, лейтенант?

— О комбриге и его полицейских! Вот о ком!

— Туманчук — командир Кировоградского отряда! —
еще больше изумляется Мельник.

— Командир полицейской бригады! И не будь он
с Большой земли, я израсходовал бы его вместе с комен-
дантом!

— Эх, ты...—вздыхнул Мельник.—«Полицейская брига-
да»... «Израсходовал бы». И роту из завода вывел...
Устал, брат, ты, вот что.

Мельник глядит на заострившееся лицо, в одичавшие
глаза лейтенанта и думает: «Не диво: позавчера поход
в Сумы, через снег и болото, прошлая ночь — восемь де-
сятков верст сюда. Две бессонные ночи, хроническое не-
досыпание, холод, крайнее напряжение сил и нервов».

— Все ясно, Анатолий! Советую поесть, выкупаться,
поспать, а у меня тут погорячей дела: видишь, после боя
едут...

Инчин только теперь заметил, что в село втягивались
обозы. Опять венгерские шарабаны, повозки, кони под
седлами, и все это при ярком сиянии наступившего утра
цвело красными полотнищами, трофейными флагами, зна-
менами. Партизаны со смехом гнали трофейный обоз,
развесив потехи ради на шарабанах захваченные зна-
мена.

— Чертовщина! — протирает воспаленные, опухшие
глаза Инчин.— Что за трофеи, Жора? Клянусь, ничего не
знал, или сон это?

Мельник серьезно глядит на Инчина.

— Говоришь, и боя не слышал? Требую, приказываю
спать. Спать немедленно. Я сам доложу командованию...

— Ладно,— перебивает Инчин.— Только пусть доло-
жит обо всем и лейтенант Ступич.

Ворох бумаг, папки. Топографические карты. Какие-то
учетные или отчетные журналы. Денежный ящик с немец-
кими марками, с венгерскими пенгами, с крестами и

медалями — все свалено в мою комнату. Уничтожен крупный венгерский штаб вместе с его прикрытием и охраной.

Пленные русины помогают мне выяснить, что этот штаб управлял тремя или четырьмя дивизиями, которые были разгромлены на фронте. Под угрозой попасть в плен до сотни штабных офицеров бежали на тыловые позиции, которые уже никто не защищал. А позже офицерам штаба, уже в качестве хранителей документов и войсковых реликвий, пришлось замыкать бегство своих солдат с фронта.

Обоз — сотни шарабанов и военных повозок — проследовал на рассвете в Старгородок, и там полицейские предупредили мадьяр о появлении партизан. Мадьяры развернулись и двинулись на Мезеневку, где было расквартировано наше соединение. И вот финал: ровное, заснеженное поле стало для них погребальным саваном. Обойденные с флангов и с тыла конниками Конотопского и Червонного отрядов, все они сложили головы в скоротечном бою под Мезеневкой.

Я перебираю трофейные бумаги, думаю: вот она, улыбка военной фортуны — спаслись там, где разверзлась земля, а погибли возле мирного села. Там, на фронте, была какая-то возможность сдаться в плен, попасть в госпиталь, или, по крайней мере, в списки похоронной команды. А здесь? Мне жаль, что не осталось ни одного офицера. Нужно допросить, доподлинно все разузнать и донести в Москву о штабе и о судьбе руководимых им частей и дивизий. И сейчас, после боя, мне кажется нелепой, ненужной эта слепая страсть уничтожать поголовно всех, хотя и в схватке. Наверно, были и такие среди венгров, которые поднимали руки или, по крайней мере, не сопротивлялись.

Беру книжицу в желтоватой обложке. Крупным латинским шрифтом значится на ней слово, которое я прочту на всех европейских языках: «Партизанен». Листаю брошюру. На второй или третьей странице — схема. Знакомые контуры Хинельских лесных массивов. Хинельский край февраля — марта 1942 года. Не нужно знать венгерского языка, чтоб уяснить значение последующих схем. Их много, и все они показывают сосредоточение, окружение и организацию наступления венгерско-фашистских войск на хинельских партизан в тот период, когда руководил я хинельским объединенным штабом. Ясно.

Это описание опыта борьбы с партизанами на Украине. Издавал венгерский генштаб как руководство для войск, привлекаемых к карательным экспедициям.

На схемах все— начало, развитие и конец их похода, состоявшегося всего лишь десять месяцев назад. В те дни каратели загнали нас в Брянские леса, прочно блокировали, создали зону пустыни, изолировали украинских партизан от населения. И что же? Венгерская армия гибнет, а украинские партизаны стоят сегодня в городах и селах в сотнях километров южнее Брянских лесов.

Я кладу в сумку «Опыт борьбы с украинскими партизанами». Пригодится.

Шум в передней обрывает мою работу над документами.

— Непостижимо! Не верю! — говорит Анисименко.— Иичин сгустил краски!..

— Я утверждаю: Барановский — гитлеровец. Никакого секретного задания нашей разведки он не выполняет. Цацкаться с ним непростительно, даже преступно! Барановский вылавливал подполье, расстреливал советских людей и коммунистов! Это враг!

— Да черт тебя дери! На каком основании ты пощадил эту собаку! Чего не арестовал его? Почему, спрашиваю я, не отдал ты этого коменданта в руки партизан Харьковского отряда?

— Успокойтесь, товарищ Воронцов,— вмешивается Мельник.— Вы слышали, что заявили Туманчук и Тхориков? Ага! Тут, друг мой, надо...

— Надо немедленно повесить Барановского на первом дубе,— чуть спокойнее произносит Воронцов.

— Так сразу нельзя,— говорит Анисименко.— Прежде выясним, в чем тут дело. А что, если этот Барановский, как он себя называет и как подтверждает комбриг, в самом деле послан сюда центром? А ты хочешь... Комбриг прибыл с Большой земли. Сам понимаешь: есть вещи, о которых не говорят.

— Остаюсь при своем мнении: Барановский гитлеровский ставленник, и тебе, комиссар, после всего не следует верить в сказки Тхорикова и Кусачева. Я бы и их тоже... Пока!

Анисименко и Мельник входят в мою комнату.

— Переplet,— глубоко вздохнув, говорит Анисименко,— узелок завязался крепкий, тугой, и зубами, как

видно его не развяжешь. По совести говоря, я понимаю состояние Воронцова.

— Темно, как в лесу,— заключает Анисименко.

— Хуже. Сложней и хуже, комиссар,— говорю я.— В лесах как ни темно, а отличить своего от чужого легче. Если враг — люди помогут изловить, а друга в отряд приведут. Там методы врага изучены. Они тоже проще: партизаны — в лесу, гарнизон врага — в городе. Тут же все смешалось. Разве люди знают, кто мы, откуда взялись? Упадём, будто с неба, на рассвете, а ночью уже нет нас и невесть куда, какими дорогами ускакали. Иначе тут и нельзя. А враг, он пользуется этим. Вот уже опоясался красной лентой — и партизан, и доверенное лицо центра, и советский генерал, и сам черт не разберет ни его самого, ни тех, кто ему помогает.

— Трудновато, но выяснить этот вопрос можно,— подсказывает Мельник.— Следует запросить генерала Строкача. По радио.

— Эх, лейтенант. Все можно запросить, но видней-то нам, находящимся тут, на месте. И потом, не для того зашифровывают подпольщиков, чтоб их расшифровывать...— говорю я.

— Расстрелять не трудно. А если он и впрямь действует на основании секретных директив центра? — не то возражает, не то самого себя спрашивает Анисименко. Он морщит лоб, стараясь разобраться во всем том сложном и неясном, что давит на нас тяжелым грузом.

— Вот что. Вызовем Туманчука,— предлагаю я.— Посмотрим, что он обо всем этом скажет.

— Да что Туманчук,— отмахивается Мельник.— Я уже знаю этого человека. Дай ему бригаду — он пойдет на сговор хоть с чертом. Еще в Марченках он говорил о каких-то отрядах и, как видите, заполучил. Выезжать сюда не желает — я вызывал его. И сам ездил. А он, извольте видеть, спать лег...

— Надо вызвать от моего имени...

— Ни в какую не едет, и Барановскому не разрешает. Говорит: решил иметь свою штаб-квартиру на заводе. Короче: не едет, а нас на обед зовет. Прислал вестового. Все, говорит, на столе. Ждет. И вот еще записка Кусачева, предназначенная почему-то мне вместе с Валерией...

Я читаю, тщаьсь вникнуть в смысл записки.

«Дорогие Жора и Валерия!

Не встречал в жизни более импозантной фигуры, нежели

шеф заведения, где размещены мы,— в уюте, довольстве, буквально блаженствует от сознания, что защищены крепостными стенами!..

Уговорите капитана. Ему рисковать тоже не следует на убогой сельской улице. К тому же в степи, на Харьковской шоссеиной дороге.

Кстати, имею точные данные о концентрации карательных войск по нашему следу — в лесах и у Мирополья».

— Едем,— предлагает Анисименко.— Необходимо как можно скорей решить эти вопросы.

— Берем Инчина,— соглашаюсь я.— С нами пойдет рота из его отряда. И план такой: ни на какие провокации не поддаваться, часовых и караул выставить там из своих. Нашу квартиру на завод переводить не будем.

Спустя час мы въезжаем на территорию сахарного завода.

Комната, в которую мы вошли, была заставлена фикусами. Цветы повсюду — и на подоконниках, и на особых подставках между добротной мягкой мебелью. У окна — небольшой аквариум с золотыми рыбками, на подоконнике — штабной телефон в кожаном футляре. Посреди комнаты, служившей, очевидно, одновременно и столовой, и гостиной,— круглый стол, он буквально ломится от всевозможных блюд с едой. Вино и водка налиты в хрустальные графины, подле каждого прибора лежит просунутая в серебряное кольцо салфетка.

— Не хватает только карточек с именами гостей,— насмешливо заметил Инчин. К нему после короткого отдыха вернулись обычные галантность и остроумие.— И кто это вам так быстро все обставил, сервировал?

Из-за стола встали Туманчук, Барановский, Кусачев и Тхориков. Комбриг, держась за живот, расслабленно застенчал:

— Това-а-рищ капитан!.. Иван Евграфович! За что испытания? За какие грехи казните?.. Ждем-ждем... глядим на снеть... а животы...

Он облапил Анисименко, приятно улыбнулся и подал свою пухлую ладонь мне, а Инчина, обхватив за талию, усадил за стол, любезно приговаривая:

— Не будем, мой друг, злопамятны: я не помню вашей горячности, забудьте и вы мою вспыльчивость...

— Конечно! — расхохотался Инчин.— Моя рука вашу руку моет...

Комбриг болезненно покривился.

Барановский тем временем вежливо расшаркивался. С красным бантом над левым карманом черного мундира, в начищенных сапогах, с аристократическим пробором, рассекающим черные, слегка выющиеся волосы, он приятным баритоном ворковал, помогая комбригу устраивать гостей.

— Прошу к столу, не откажите в любезности. Сюда. И вот сюда, к свету, к сладкому пирогу! — Он усадил меня и Анисименко под шатер остролистой пальмы, придвинул заливную рыбу с лимонными корками, подал хрен, вино и водку, а сам скромно сел в угол.

— Н-ну, будь мы в голодном краю! В поле — согласен не есть и сутки, и двое! А тут? В этой квартире, у скатерти-самобранки чтоб битый час глотать слюнки. Ждать вот так натошак гостей. Это уж, хотите или нет, гостеньки дорогие, а никуда не годится.

Комбриг начал орудовать ножом и вилкой, положил толстый слой масла на хлеб, быстро прожевал, глотнул из рюмки, еще раз чем-то закусил, вытер кончиком платка усики, розовые губы.

— Что же вы, товарищи? — Он взял графин, наполнил рюмки. — Выпьем!

— Не спешите, товарищ комбриг, — сказал Анисименко. — Сначала о делах. Мы не решим деловых вопросов, если начнем с водки.

— Нет уж, благодарю! Дела и день и ночь. А теперь обед, товарищ комиссар. И по уставу, и по приказу, и по совести. — Комбриг придвинул нам рюмки.

— Что ж, обед так обед, — согласился Анисименко, — а пить не будем, — и взялся за вилку.

— Я удивлен. Как угодно, но с капитаном мы выпьем.

Туманчук звякнул своей рюмкой о мою, но я тоже отказался.

— Спасибо. Не спал, устал... и уже обедал...

— Вот уж позвольте не поверить. И не говорите! Я сам не то что пообедать, позавтракать не успел. — Ну, не томите, товарищи, выпьем! Выпейте, капитан, хотя бы перцовочки.

Он налил мне тонконогую рюмку. Кусачев вставил при этом:

— От простуды и сырости — лучшее средство.

— Но у вас тут тепло и сухо, — возразил Инчин.

— А мы немножко и размочим, милый лейтенант, размочим, не заставляйте всех ждать, не томите...

Все выпили, кто глоток, кто больше. Туманчук осушил целую рюмку.

— Вот капуста с луком и морковью, вот кавуны,— не унимался любезный хозяин.— Квашеные кавуны. Попробуйте. Балычок, окорочек, ах, ах! Подать кусочек? Возьмите же, кушайте. Лейтенант, работайте! Эх, еще по маленькой! — Он быстро выпил рюмку перцовки и воодушевленно воскликнул: — Но что тут? Вижу, друзья мои, вы еще не разглядели.— Он приподнял блюдо так, чтобы все видели, и, причмокнув кончики своих пальцев, объявил:

— Уточка с черносливом! Вот она какая! Вы только взгляните... а телятина, а крупная голубая слива. Чего только не родишь ты, земля родная!

Чокнувшись еще раз с Кусачевым и Тхориковым, комбриг начал дирижировать ножом и вилкой, нанизывая на нее куски самой разнообразной снеди. Он то садился, то снова вставал, пробуя на зуб и на вкус, смачно причмокивая, и вновь жевал и высасывал, рассыпая похвалы хозяйке, которой за столом не было. Его кадык подпрыгивал в такт восклицаниям.

Выпив еще рюмку, комбриг начал закусывать тем, что вызвало у него подлинное ликование:

— Друзья! Грибочки, маринованные грибы! И помидоры! Дайте же вашу тарелку, капитан! Товарищ комиссар, берите «золотые яблочки»! Они сами, сами просятся! Умоляю — возьмите в рот. Они с досады лопнут и забрызгают нас, откажись вы попробовать!

Инчин хохотал:

— Боги! Спуститесь с прозрачного неба! Вы позавидуете столу этого хлебосола. Лукуллов пир!

Кусачев и Тхориков сдержанно улыбались и едва успевали поесть то, что укладывал им на тарелки комбриг, а настороженные глаза Барановского перебегали с Анисименко на меня, к налитым стаканам, до которых мы не прикасались.

Я зорко следил за поведением Туманчука. Обильным угощением ему хотелось притупить неприятную остроту делового разговора, он явно силился избежать откровенных объяснений, но не знал, как выпутаться из положения, в которое поставил себя, вступив на завод в Мезеневке.

Он явно старался больше выпить и казаться пьяным. — Друзья! Разве можно не откусать этих ни с чем не сравнимых сливяночек? — провозгласил Туманчук. Ноздри его раздувались и глаза сверкали, как у охотника, едва успевающего перезаряжать ружье в разгар облавы.

— О, эти помидорчики!.. Их не берите вилкой. Нет, боже упаси! Мы их лопаточкой, ложечкой, аккуратненько... Вот так!

Он берет двумя пальцами продолговатую, немного больше голубинового яйца, красноватую, с тончайшей просвечивающей кожицей, налитую янтарным соком сливку и всю ее не спеша отправляет в рот. Сжав губы, высоко вздергивает бровями, увлажненные глаза его сияют от ощущения приятной сочной прохлады. Он сладко, по-кошачьи, щурится.

— Ах, ах! Какая тонкая смесь, какой букет пряностей! Вы только попробуйте! Вот этот! — Он выловил из стеклянной банки другую, искрившуюся янтарем и как бы покрытую красным лаком сливку и поднес Анисименко. — Иван Евграфович! Идеальной засолки! А вкус! И томат, и чесночек, и хрен, и перчик в ней, и еще что-то, и посоленное, и подсахаренное с кислинкой, и скреплено дубовым листочком, и смородиной, и анисом, и мятой! Ну, куд-дда этим спецам из пищепрома! Им бы только обливать злаки кислотой. Ведь вот и огурчик откуси — блаженство одно!.. А на запах? Ни одной капельки искусственной кислоты — все природная химия! И приготавливала эти яства наша хозяйюшка, Авдотья Павловна. Да где же она? Павловна! Покажись нашим дорогим гостям! — крикнул он в глубь квартиры. Но никто не вышел. — Стесняется... Ишь! Ну, да мы и без нее...

Белые зубы комбрига с хрустом перемалывают огурец, другой, затем вгрызаются в моченое яблоко.

— Ей-ей, поучиться бы всем им у Авдотьи Павловны! Или передать засолочное дело в руки колхозниц украинских.

Насытившись и охмелев, Туманчук откинулся на спинку кресла, держа замасленные руки над столом, как буддийский божок. От всей его рослой фигуры, от упитанного лица с розовыми губами и щеками веяло таким благодушием, что, казалось, жил он где-то за тридевять земель, в безопасности, на территории нейтрального государства.

— В беспечности благой живет, как сибарит,— вздохнул Инчин. И шепнул мне на ухо:— Он пьян, конечно.

— Не совсем так: в пуху лисичкина мордочка. Вот она и виляет пушистым хвостиком,—так же тихо сказал я.— Но гляди лучше — и ты увидишь матерого зверя.— Я указал на портрет, висевший над головой Тхорикова.— Ты теперь понял, где мы находимся? Это квартира Барановского... он предоставил ее Туманчуку, а тот не успел снять даже чужой портрет, повешенный, видимо, с первыми нашими выстрелами.

Из крупной ореховой рамки глядел военный. Два ордена Красного Знамени на груди, в петлицах — ромбы.

— Это вы или брат ваш? — спросил я Барановского, который во время обеда держался в тени и, видимо, чувствовал себя не в своей тарелке.

Польщенный вниманием, Барановский с готовностью подтвердил:

— Да. Это мой портрет. Первый орден — память о гражданской войне, другой — за спасение челюскинцев. Я выполнял особое задание правительства.

Барановский отпил несколько глотков яблочной шипучки и принялся не спеша рассказывать, как в годы гражданской войны был командиром красногвардейского отряда, как весной 1934 года спасал Северную экспедицию. Два или три слова он произнес с нерусским акцентом.

— Вы — поляк? — спросил Инчин.

— О нет! Хотя знаю польский в совершенстве. Впрочем, так же, как украинский и немецкий. Я — венгерский еврей, родной язык мой — еврейский. Россия с первых дней революции — вторая моя родина. Я состою, как вы теперь сами понимаете, на службе в нашей разведке.

— Еврей? И немцы доверили вам пост коменданта? — удивился Инчин.

Барановский извлек из бокового кармана бумажник, говоря:

— Никто этого не знает. К тому же вот эта бумажка во всех случаях выручала меня...

Плотная четвертка бумаги перешла из рук в руки. Штамп, три ряда слов, большая круглая печать с орлом и свастикой, подпись. Бумага удостоверяла, что лейтенант полнцейской службы Барановский проверен специальными экспертами и по своим биологическим данным признан чистокровным арийцем.

— Это подлинная подпись генерального медика? — не поверил Инчин, чем вызвал самодовольную усмешку Барановского.

— По крайней мере, ни печать, ни подпись не внушают гестаповцам недоверия. Они — подлинные.

Инчин выразительно посмотрел на меня, я на него, и мы прочли в глазах друг друга одно и то же: такую бумажку просто фашисты не выдают. Если уж она оказалась в руках Барановского, значит, заплачено за нее не дешево. И в моей памяти встали образы командиров законсервированных отрядов и полицейские, подкрашенные под партизан, и 28 смертников, извлеченных из здешних подвалов. Все это было очень серьезно и очень странно.

Анисименко, обсасывающий косточки чернослива и молчаливо наблюдавший за Барановским, задал вопрос:

— Вы член партии?

— Венгерский коммунист. С девятьсот семнадцатого...

— С семнадцатого? — повторил Инчин. — А венгерская Коммунистическая партия образовалась ведь в восемнадцатом...

Кусачев повел в сторону Барановского свои холодные продолговатые глаза, а Барановский пристально посмотрел на Инчина, на его бледно-матовое, решительное лицо, на всю его фигуру, напомиравшую не только по виду, но и по характеру что-то родственное жителю Придунайской равнины — венгру. Барановский не мог еще знать, что Инчин — эрзя, единокровный представитель той же народности, что и мадьяры. Приняв Инчина за мадьяра, Барановский насторожился:

— О, конечно же, в восемнадцатом! Но я не предполагал, что история политической борьбы в Венгрии близка вашему сердцу, лейтенант. — Он слегка наклонил голову. — Но, возможно, и венгерский язык не чужд вам?.. Впрочем, я уклонился. Все дело в том, что я до 1918 года принадлежал левому крылу венгерской социал-демократии, с 1916 года — в русском плену, затем — в Красной гвардии, годом позже — в советской Венгрии, затем снова в России, командовал отрядом Ортачека, и, наконец, на ответственном посту в Наркомвнуделе... Словом, дорогой лейтенант, нечто похожее на шлюпку, застигнутую штормом в море. — При этом Барановский изобразил жестами и пояснил словами, как швыряла его судьба по пенным гребням волн русской и венгерской революций.

— И что же,— не без иронии спросил Инчин,— утлый член ваш прибило в конце концов к Мезеневке?

— Об этом, юный друг, о такой работе в тылу противника, не говорят. Не принято. И вы сами понимаете, что, находясь тут, между Киевом и Харьковом, мы должны чувствовать и важность, и ответственность своей роли... Я позволю, друзья,— заключил развязно Барановский,— я позволю просить вас поднять наши кубки за победу!

— За победу нашего, советского оружия! — подчеркнул Инчин.

— За победу, за нашу победу! — воодушевленно повторил Туманчук и чокнулся с Барановским и с Кусачевым.

Звон хрусталя повторился почти по всему кругу, оборвался он только на мне и Анисименко. Барановский стоял в ожидании, когда мы возьмем бокалы.

— За победу выпьем,— приподнял и я руку,— но прежде необходима ясность. Ясность в делах. Я отодвинул бокал и строго поглядел на Барановского, на Туманчука, на его соседей. Анисименко также поставил стакан. Все сели, в комнате воцарилось напряжение. Я уставился в упор на Барановского: — Доложите, как понимать ваш отказ прибыть с докладом в мою штаб-квартиру?

Лицо Барановского, и без того смуглое, стало землисто-серым. Он на минуту растерялся. Ощупывая глазами Кусачева, Тхорикова, он вопросительно глядел на комбрига. Тот же, приложив носовой платок к своему вухлому рту, делал вид, что не может справиться с кашлем.

— Я тоже во всем за ясность,— нарушил наступившую тишину Анисименко.— Нам важно уяснить, как вы, гитлеровский комендант, совмещаете в своем лице еще и звание партизанского командира, а полицейские отряды выдаете за партизанские. Странное секретное задание...

Барановский встал. Его непроницаемое лицо оставалось бесстрастным, и только в глазах мелькнуло чувство тревоги, напряжения, а затем — ирония. Глядя на Анисименко, он ответил:

— Все, что касается моей работы у немцев, известно Москве и комбригу. В курсе дела также товарищи Кусачев и Тхориков. Мой отряд входит в бригаду товарища Туманчука. Как командир отряда я подчинен только ему, естественно...

— Ошибаетесь,— возразил Анисименко,— тут присутствует член штаба партизанского движения на

Сумщине,— он указал на меня,— а я комиссар объединения. Извольте перед нами объясниться...

— Капитан разве старше комбрига?..

— Не выкручивайтесь,— твердо сказал я.— Не поверю, чтоб вы не знали, кто командует соединением.

Туманчук запротестовал:

— Извините, простите! Вот радиограмма начальника главштаба. Пожалуйста.— Он протянул через стол бумажку, и по тому, как она затрепетала в его пальцах, все увидели, что комбриг взволнован.

— Я запрашивал главштаб, и мне разрешили действовать самостоятельно... Сегодня я, как и вы, полноправен в своих операциях. Прошу прочесть радиограмму.

Туманчук обронил бумажку. Она упала на блюдо, где были бараньи мозги с хреном.

— Прочтите, прочтите вы, комиссар,— тыкал комбриг пальцем в бумажку.

Но Анисименко осадил его вопросом:

— Вы что? На это и намекали позавчера в Марченках?

— Признаюсь, я еще тогда радировал, чтоб мне предоставили право действовать самостоятельно. И мне разрешили.

— И вы также просили разрешить вам формировать бригаду из полицейских отрядов Барановского? — спросил Анисименко.

Комбриг не ответил.

— Значит, миллионные запасы продовольствия — легенда, ложный предлог сманить всех нас в этот угол области? — напомнил я Туманчуку о его предложении и ходатайстве занять Мезеневку.

— Продовольствие есть, мои данные точны,— вставил Кусачев. При этих словах Барановский подскочил, как на пружинах.

— Я подтверждаю: 600 тысяч центнеров крупчатки заложено в Краснополье, 400 тысяч здесь, в Мезеневке. Пшеница. Это неприкосновенный запас южной группы армий «Б». Да, да! Как комендант я точно знаю и утверждаю: это стратегические запасы южного фронта немцев. Я головой ручаюсь.

Барановский вошел в раж. Сверкая глазами и широко жестикулируя, он начал излагать план, который они с Туманчуком и Тхориковым обсудили и приняли как базу, на которой должны строиться наши с ними взаимоотношения.

— Мы предлагаем,— продолжал Барановский,— сохранить все продовольствие для Красной Армии. Шесть миллионов пудов — это весомый подарок, даже для Советской Армии. Мы считаем, что все отряды должны остаться здесь для этого...

— Чепуха! — возразил Инчин. — Немцы уложат ради спасения этих запасов две-три дивизии, а хлеб вывезут.

— На чем? Как вывезут? — сразился с Инчиным Барановский. — Железная дорога без мостов, шоссе нет, грунтовые замело снегом. Да что доказывать. Чтобы вывезти, необходимо 50 тысяч автомобилей. Пятьдесят тысяч! А где возьмут? Как по глубоким снегам подъедут? Головой ручаюсь: они полка охранного не найдут!..

— Ну так сожгут,— стоял на своем Инчин.

— А мы, мы для чего? У меня в трех отрядах — семьсот, да ваша армия, да сотни людей поднимем из населения сахарных и других заводов — это такая сила, что мы не дадим врагу ни грамма, ни зерна...

Настойчивый стук в дверь оборвал зажигательную речь Барановского. В комнату не вошел, а ворвался Николай Баранников.

— В Мезеневке полицейские засели в хате и ранили двоих разведчиков. На предложение сдаться партизанам, стали отстреливаться... Пришлось прошить пулями хату и сдаться ей... Люди говорят, что отстреливался помощник коменданта Барановского...

Барановский побледнел.

— Не может быть! — воскликнул он. — Здесь недоразумение! Этого не могло быть!

Он развел руками, не смея взглянуть на меня и Анищенко.

Баранников, выждав секунду, продолжал:

— У амбаров часовой застрелил женщину — жену красноармейца. И дочку лет десяти, и подростка. Они пришли, чтобы набрать немного зерна из складов...

— Застрелил? Чей часовой? — вскипел я.

— Мой. Я выставил. Он действовал правильно: никто не имеет права расхищать советский хлеб! Часовой действовал по уставу! — выкрикивал Барановский.

— Довольно! — оборвал я его. — Товарищ Баранников, часового на месте расстрелять! Собрать местных жителей, склады открыть. Оповестить об этом ближние села. Весь хлеб раздать!

Баранников вышел. Лицо Туманчука покрылось потом,

от хмеля — ни следа. Кусачев с Тхориковым хмурились молча. Инчин, казалось, сжигал Барановского ненавидящим взглядом.

— А вам,— процедил я Барановскому,— и вам, товарищ комбриг, через два часа выступить. К исходу дня овладеть райцентром и открыть краснопольские склады для населения...

— Как могу я один это сделать? — вырвалось у Барановского.

— Как в восемнадцатом с красногвардейским отрядом! — отрезал Анисименко.

— Именем Сумского штаба! — я встал и сурово сказал Барановскому.— Именем штаба приказываю овладеть городом или...— я вынул пистолет,— вот этой, своей рукой... Поняли?..

Барановский стоял — руки по швам.

— Есть, будет исполнено. Слушаюсь!.. Позвольте позвонить гебитскомиссару. Можно? Надеюсь, вы знаете по-немецки?

— Разберемся,— ответил за всех Инчин.— Только про вода еще ночью мы обрубали...

— Да нет же! — бросился Барановский к телефону.— У меня прямой, подземный...

Он начал крутить за ручку.

— Алло, алло! — кричал Барановский в трубку.— Я комендант полиции! Я окружен, я погибаю!.. Да, да! Наступают на Мезеневку. Армия!.. Армия партизан!.. Прямо на Краснополье целой дивизией, минометы, пушки! Моя квартира в огне, партизаны в заводе. Куда прикажете отходить? Я вынужден оставить Мезеневку! Прощайте! Не забудьте мою семью. Спасайтесь! У меня последний патрон. И все убиты!

Барановский выстрелил в потолок и спокойно повесил трубку.

— Не беспокойтесь, товарищ капитан, товарищ комбриг.— Через час гебитскомиссар с его охраной эвакуируются из Краснополья. Охрана продовольствия и артсклада, поручена полиции, то есть вашим, товарищ комбриг, партизанам...

К ночи в Краснополье начался «штурм» складов с крупчаткой. Среди наших трофеев оказались склад с оружием и боеприпасами, эшелон с теплыми вещами, подорванный вместе с мостом через речку Успенскую.

Барановский этой же ночью скрылся. Исчезли и его

«партизаны». Одни, разгадав, наконец, с кем имели дело, бросили оружие и разошлись по домам, другие присоединились к партизанам, третьи, боясь ответственности, укрылись со своим шефом.

На марше к Ворожке я подъехал к Туманчуку, державшемуся после всего этого заискивающе, и, глядя ему в глаза, сказал:

— Что, товарищ комбриг, начиналось складно, а кончилось гадко? — Я напомнил ему краснопольское похмелье. — Зачем вам понадобилась вся эта бутафория? Неужели вы ничего не нашли подозрительного в поступках, во всем облике Барановского? Как могли пойти в ловушку? Как вывукстали этого мерзавца?

Оставшись с одним отрядом, Туманчук снова следовал в хвосте нашей колонны и не без страха, по-видимому, ожидал, что ответит Москва на мои запросы о «генерале», действовавшем в Краснополье якобы по заданию центра и так ловко надувшем Туманчука и Тхорикова.

— Признайтесь хоть теперь, что вы поддались на крючок? Что вы и понятия не имели о «секретной службе» Барановского? Что вы оказались близоруким и легкомысленным, прикрыли неизвестного вам человека своим высоким авторитетом представителя Большой земли. Зачем вам это понадобилось? Чем он вас взял?

Туманчук будто дремал, все хмуро молчал, и тогда взялся разбудить его Инчин.

— Вы не думаете, кого берете в свою бригаду. Вы действовали, как вербовщик каких-нибудь ландскнехтов или понтатьеров в старину, — заявил он, подъехав вплотную к Туманчуку.

— Бросьте! — обрубил Туманчук. — Ландскнехтам хорошо платили, а у меня, вы знаете, платить нечем!

— Сочувствую: звонкой монеты не имеете! — Инчин взвела дерзким взглядом Туманчука.

— Хинельцы, за мной! — скомандовал он, и несколько всадников понеслись вслед за командиром, вырвались на бугор.

Кавной колонне не было ни конца, ни начала.

Погода благоприятствовала: снег сверху и снег на земле еливался в непроглядную белую тьму. Легкие медленные хлопья застилали следы колонны.

С горы Инчин, а за ним и Карманов, Коршок, Самодов понеслись так быстро, что едва не врезались в эшелон, мчавшийся слева.

— Огонь! К бою! По пар-ровозу! — скомандовал Инчин.

Ломко треснули ППШ, застучала, рассыпалась крупная дробь пулеметов.

— Э-эх! Сплошали, вояки, упустили, — тоскливо сказал Инчин, провожая исчезающий в белой пурге эшелон.

Конные отряды ураганом несутся через железную дорогу. Быстро наползают сумерки, усиливается снегопад. Вскорости послышался страшный удар, треск и учащенное, как стрельба пулемета, лязганье...

Хинельцы оцепенели. Вначале показалось, что это чудовищное смешение треска, лязга, скрежетания произошло где-то совсем рядом, но минутой позже, когда умолкли последние толчки и удары, Инчин проговорил глухим голосом:

— Не сомневаюсь: произошло крушение...

— Вот знатно было бы! Туда поехать! Захватить эшелон трофеев!

— Да-а! — тянет Инчин. — Только на станции свалился он или же среди поля?..

В непроглядной темени хинельцы мчатся дальше вдогонку колонне. Вскоре убеждаются, что сбились с пути и уже потеряли следы колонны.

Въехали в какой-то населенный пункт, угодили на станцию. При свете прожекторов увидели сбегавшихся на перрон солдат. Слышались энергичные гортанные команды немцев и не менее энергичное пыхтение паровоза.

Хинельцы свернули в первый же дворик, Инчин забарабанил в окно домика.

— Эй, хозяин, проснись! — кричал он. — Вставай, Советская власть пришла!..

И в это время Самодов появился из переулка с каким-то человеком в форменной фуражке.

— Кто такой?

— Никак служащий железнодорожник?

— Я, я не виноват, я стрелочник... Я не мог поступить иначе!..

— Короче! Мы партизаны! Говори толком!..

Выясняется: неуправляемый эшелон, не затормозив у закрытого семафора, летел на состав с горючим. Но человек перевел стрелку... Эшелон безостановочно пронесся через станцию и уже в поле столкнулся со встречным поездом...

— Молодец, хотя ты и вражеский стрелочник,— удовлетворенно отмечает Инчин.

Стрелочник только сейчас опомнился и говорит:

— Дети мои! Полная Боромля немцев! Как же вы о Советской власти кричите на всю улицу?..

Инчин беззвучно хохочет, а потом отвечает железно-дорожнику вопросом:

— Где слыхано, папаша, чтоб Советская власть приходила тихо и шепотком разговаривала? Не до нас теперь, искалеченных спасать им надо!..

С помощью стрелочника хинельцы выпутываются из Боромли на Лебединскую дорогу и гадают о причине случившегося крушения.

— Яенее яеного! — солидно заявляет Карманов.— Прислугу паровоза побили, вот и помчал, как конь разнузданный!..

Более рассудительный Коршок добавляет:

— А может, в снег стрибнули машинисты, как наш огонь почувствовали...

Операция в Ворожке отвлекла нас от крушения и возможности захватить богатые вооружением составы. При решении этого вопроса все сошлись на том, что прежде всего надо освободить пленных.

Время не ждало. Несколько тысяч советских людей оказались вблизи нашей дневки, и это обусловило тактику лобового удара.

Атаковали в конном строю, по метровому снегу. Аниенменко сам повел сводный отряд кавалеристов. «Метнул,— как он выразился,— орел на решку». Отбили от конвоя только две тысячи человек — ту часть колонны, что размещалась на левом берегу Псла.

И вот уже ночь, а по улицам Великого Исторопа все еще бредут и в одиночку, и группами освобожденные. Идут от Псла, из Ворожки. Одним из них патрульные указывают путь к хуторам, ютящимся в сосновых рощах, других же, более крепких духовно и физически, препровождают к штабам отрядов.

На митинге освобожденных речь держал Кочемазов Ваенлий Порфирьевич.

— Во вчерашнем бою,— говорил он,— отряд потерял лучших своих товарищей. Был убит гроза фашистов и гордость отряда командир автоматчиков Мороз Николай Иванович. Пали смертью храбрых отважные разведчики

Приходько Ваня и Сухота Василий, тяжело ранен начальник штаба Евгений Бойдин. Есть потери и в других отрядах. Словом, обильно политы эти поля кровью наших товарищей... И мы надеемся, что все вы так же отважно будете сражаться с врагами, как погибшие товарищи!

От имени спасенных выступил рослый чернявый лейтенант по фамилии Туров. Он вышел вперед и, став против Кочемазова, сказал:

— Товарищ командир. Сегодня, здесь перед вами, славные партизаны, мы даем священную клятву — мстить врагу. Мы будем сражаться, пока бьется наше сердце... Пока не очистим нашу родную землю от гитлеровцев.

Он был по-настоящему счастлив, этот юный красивый парень в покоробленной, пропитанной его же кровью синей парусиновой куртке.

И вот уже Туров сидит у пулемета на санях. Ездовой, веселый и общительный пожилой человек — тоже новичок, — твердо управляет конями. Они мчат вдоль улицы. Мелькают в заиндевелых садах хаты, люди. Лейтенант ловит на себе приветливые взгляды девушек, вскидывает выше голову. «За вас, люди милые, за вас, девчата, в первом же сражении отомщу врагам. Прощайте, дорогие! Я буду очищать украинскую землю от ненавистных оккупантов!..»

Прямой Лебединский шлях кипел под ударами тысяч копыт, играли гармошки, баяны, звенели песни. Направо и налево на чистый снег обочин летели обломки бутылок, банки, консервные коробки, разные черепки, тряпье — все, что имело еще вчера ценность в плену, но сегодня выглядело скаречно-унизительным.

— Учти: партизану ни к чему ложки, банки...

— А кушать?..

— Любая хата на Украине — столовая для партизана. И в каждой хате тебе рады. То-то! Понял? Всегда гостем у людей будешь! Только не задерживайся на постоях! И вообще хороший гость — на три дня лишь, а настоящий партизан и трех часов обременять хозяев не будет...

Колонна шла на рысях. Порой в сторону отваливали подводы и с них соскакивали вчерашние пленные, приседали в снег... Партизаны гремели хохотом.

— Вынужденная посадка пленников, — сказал с горькой усмешкой Туров, — переели с голодухи ребята...

— Новый маршрут объявлен...— первое, что произнес Тхориков, усевшийся на лаве.— На Зеньков, стало быть, на Полтаву?..

Кусачев молчал. В хате было сумрачно и тихо.

— Выступать в двадцать ноль-ноль,— недовольно ворчит Тхориков.— И Туманчук туда же идет... Крутит... Не поймешь, что он хочет...

Кусачев лениво отпивает свой чай и как бы не слышит Тхорикова.

На дворе капель. На карнизах отсвечивают сосульки. Тхориков заглядывает в окно и громко вздыхает:

— Весна!

Оконце дрогнуло, вздрогнул и Тхориков. Донеслось глухое мощное рокотание.

— Наши! Советская Армия! Ты что, Леш, не слышишь? Идут наши, к Ворскле подходят!

Где-то в Богодухове или того ближе бомбят. А тут, на берегах Ворсклы вблизи Ахтырки, широко развернулись операции партизан. Рушились мосты на Ворскле, вырубались линии связи. От партизан не было спасения гитлеровцам нигде. Они вынуждены отступать проселочными дорогами. В Богодухове скопилось огромное количество железнодорожного подвижного состава противника, которому нет выхода на запад. А это значило, что все пути подвоза и эвакуации оккупантов перехвачены нашими отрядами, численность которых уже превышала три тысячи человек.

Мы готовились расширить действия партизан в этом прифронтовом районе Украины, но генерал Строкач радировал: «Немедленно отрывайтесь от фронта, выходите на Правобережье Днепра, в район Чигирин — Смела... Вашим рейдом интересуются в Ставке Верховного командования...»

Тхориков делал вид, что не знает этого указания. На деле же он возражал против выхода наших отрядов в другие области Украины и скорее готов был возвратиться в Эсмань. Его помощник и друг Кусачев разжигал эти местнические настроения Тхорикова.

— Нашу область скоро освободят,— значит, и мы свободны...— внушал за чаем Кусачев.

— Да, пусть повоюет тот, кто отсиживался, — соглашается Тхориков. — С нас хватит!..

— Ты плохо действуешь, Гриша, — уже с нажимом говорил Кусачев. — Много воли даешь командованию!

— Я даю?.. — неожиданно возмутился Тхориков. — Что я? Кто мы для них с тобою? Связные Фомича. Пятое колесо в возе! И кто мы перед Москвою?

Кусачев не спеша раскрыл свой блокнот, полистал его и, не глядя на Тхорикова, заговорил властно:

— Я впрягу тебя коренником в упряжку. На прочти радиogramму... Хотя лучше послушай: «Из Хинели. Тхорикову. Копия командованию объединенными кавалерийскими отрядами. Подпольный обком кооптирует вас в состав бюро областного Комитета запасным секретарем. Обком поручает вам возглавить партизанское движение и подполье на юге Сумской области. Получение подтвердите по радио и связными...»

Кусачев откинулся на стуле.

— Тебе, Гриша, надлежит возглавить обком и подчинить командование.

Тхориков болезненно ухмыльнулся.

— Выдумка твоя, Леша!.. Белыми нитками по черному... Фомич такой телеграммы дать не мог. Версии этой не поверят...

— А пусть проверят! — оборвал Кусачев. — Связи с Хинелью — никакой. «Копайгород» молчит, его бомбили!.. — Тут Кусачев понизил голос. — Надеюсь, и разгромили. Не поручусь, что Фомич жив... А если здравствует, не ручаюсь за радистов, за целость радиостанции. Не верится? А чем иным объяснить Фомичево молчание уже полмесяца?

Тхориков побледнел, а потом спохватился, фальшиво забеспокоился:

— Ты пугаешь меня, Леша. Я не представляю, не могу... Я не верю, что с Фомичем приключилось несчастье...

— Произошло! — жестко подтвердил Кусачев. — Чувствую, вижу... Как коммунист, убежден: подполье должно перейти в твои руки.

— А если жив Фомич?..

— Суди сам, какими силами Фомич удержался бы в «Копайгороде»?.. Мы — на юге, Мельников — на пути к Полесью, Курские бригады — в своей области! Севцы

отозваны в Брянские леса. И я уверен, что, в лучшем случае, наши пошли за севцами, а Фомичу, единственному члену Сумского штаба при такой ситуации, — на самолет да на Большую землю... Не возражай, знаю! Капитан тоже знает: он еще при нас в Москву собирался. И что говорить! Сеньке — шапку, Еремке — колпак! Знаем, на ком держалось Хинельское объединение...

Настала пауза.

— Но, — колебался Тхориков, — братья за обком — это слишком, это незаконно... нескромно было бы...

— Скромность — покров девиц. В политике все целесообразное законно. Ты должен. Ты обязан. Ты сделаешь это, Гриша!

— Нельзя же так, — все еще колебался Тхориков. — У капитана нет этой радиограммы, ведь и ему не отвечали с хинельской рации...

— А мы сейчас же передадим ее в адрес комиссара Анисименко. А капитан пусть думает об этом что угодно...

— С ума спятил ты, Леша. За такое — к стенке нас...

— Не посмеют. Подписывай именем Фомича...

— Не подпишу...

— Ах, так? Гестаповца, «гене-ра-ла» кто от возмездия спас? Кто Москву дезинформировал о Барановском?.. Впрочем, Гриша, не нужно твоих ответов ни оправдания. Ты ежег мосты и об отступлении не думай...

Кусачев, быстро настроив Анину радиостанцию, торжественно прокричал:

— Крути, Гришуха! Накручивай! Иначе Анька явится.

— Чего тебе еще, Леша?

— Привод, Гриша, крути! Ручной привод! Я передачу начинаю. — И он застучал ключом радиопередатчика...

Он вытер на бледном лбу капли и самодовольно сказал:

— Итак, сделано. Воронцов и Туманчук, ты уже знаешь, отделятся от капитана. Значит, с кооптацией тебя в обком тоже получится. Только энергичней действуй. Собирай секретарей парторганизаций, и комсомол, и политсостав. Задача дня: отделить от соединения Червонный, Ямпольский отряды и конотопцев. Вернем их в леса, на север. Аргументы на совещании: нет топографических карт, нет аэродрома, нет патронов. А что касается будущей ответственности, чудесный Гриша, не грусти: если что — твоим делом займется какой-нибудь инструктор. Чутко и внимательно выслушает, будет глядеть на тебя,

как на святого. Как-никак, с подпольной работы, из лап смерти... Герой...

— Не собратъ мне всех, Леша,— забеспокоился Тхориков.— Мало времени до выступления осталось.

— Не соберешь всех — неважно. Главное — документ партийный напиши об этом.

Но вот подготовлено уже и письмо командованию соединения за подписью «секретаря подпольного обкома» Тхорикова. В нем говорилось, что Червонный, Ямпольский, Конотопский отряды вследствие отсутствия боеприпасов и сложности обстановки продолжать рейд на юг не должны и не будут. За невыполнение настоящих указаний виновные понесут строжайшую ответственность.

— Пойдет,— сказал Кусачев пренебрежительно.— Главное для них в третьем пункте — в ответственности.

Не имея пока основания подозревать в самозванстве Тхорикова и приняв назначение его секретарем обкома за факт, мы удивлялись поведению Фомича, его странной доверчивости, либеральной позиции в решении этого вопроса. Иначе чем можно пояснить выдвижение лица, не пользующегося среди коммунистов и беспартийных партизан ни уважением, ни доверием...

— В конце концов,— сказал Анисименко,— отсюда, за триста верст, не докажешь и не переспросишь... Не возвращать же соединение в Хинель, чтоб только поспорить с Фомичем. Что же касается дела, то скорее дуб погнется, как та верба, в болото, нежели мы отменим рейд!

Анисименко оделся и поспешно выехал в Червонный и Ямпольский отряды, где, как доложил Баранников, хлопцы уже «митинговали».

Меж тем наступил вечер. Колонны хинельцев, недригайловцев, конотопцев топтались на улицах, а остальные отряды к установленному приказом времени — прибыть на исходный рубеж для марша — не подошли.

Мельник загонял связных по селам, где квартировали отряды, и только с опозданием на час у меня были собраны командиры.

Первым из «неуспевших» явился Воронцов. Оказалось, что он не склонен продолжать рейд на юг и готовится к выступлению «в свою» Харьковскую область. Он приехал попрощаться и привез радиограмму генерала Строкача, в которой сообщалось, что впредь Харьковский

отряд будет действовать самостоятельно с подчинением непосредственно Украинскому штабу.

— Собрался в свою область, хватит за других голову подставлять. Пополнюсь на фронте боеприпасами, вооружением, раненых в госпиталь пристрою, а там, если надо, снова на эту сторону выйду.

Уломать Воронцова нам не удалось.

— Спасибо,— твердил он,— повоевали вместе славно, но знаешь, капитан, ты обязан был ввести мой отряд в Харьковскую область. Считаю, что выполнил это поручение ЦК. Моя разведка, должно быть, уже где-то под Лозовой.

— Но ты знаешь,— доказывал я свое Воронцову,— наши под Богодуховом наступают...

— Что ж, Богодухов еще не Харьков, неизвестно, чем наступление кончится. Ведь степной фронт без передышки полтысячи километров шагает...

— Ты окончательно решил не идти с нами? Геройские дела вершить будем!

— Не проси. Между нами, честно скажу: устал, не молод я, да и в области народ поднимать надо. Задача такая мне поставлена.— Воронцов еще раз показал радиogramму.

— Не показывай, получили и мы такую. И, честно говоря, не будь у тебя прямой связи с Москвой, я б не показал этой радиogramмы. Нельзя выполнять этого решения. Теперь поздно идти на Харьковщину. К тому же, это ослабит соединение... Ведь сейчас решающий момент: нам предстоит форсировать Днепр в степи и выйти на южные магистрали... Восемьсот бойцов, оружие богатое уводишь. Понимаешь ли, как тяжело мне придется без тебя, трудный ты человечик?

— Понимаю, но не могу,— народ мой в армию, на фронт рвется...

— Харьков — лопни, не течет! — заключил эту беседу Мельник, намекая на мелководие трех речушек огромного города: Нетечи, Харькова и Лопани...

Мы распрощались с Воронцовым. Он уехал к своему отряду под Ахтырку. Пришлось заняться с другими «ноздавшими». Я вызывал их по одному, с непреклонной решимостью получить от каждого положительный ответ.

Ответы командиров были почти одинаковые: «Да, боевой приказ получен, обозы вытянуты в указанном направ-

лении. Но кто-то сказал, что марш отменяется, и поэтому отряды не вышли к исходному...»

«Кто-то сказал... Кто-то изменил приказ...»

Почему-то никто из командиров не соизволил уточнить, прислать хотя бы связного или самому явиться для выяснения. Все это было необычно новым и подозрительным.

Вскоре возвратился, сопровождаемый Тхориковым, Анисименко.

— Придется собрать коммунистов, — озабоченно сказал он, — и всех командиров, хотя собрание в такую минуту — дань дезорганизаторам. Понимаю, что это ослабит силу приказа, но зато укрепит сплоченность. Неизбежны дебаты, потеря времени, могут нагреть фронтные части... Но иного выхода нет. Пора дать партийную оценку подрывным действиям Тхорикова, сообщить о его заговоре в ЦК партии...

Однако отменять приказ, терять время на дебаты не пришлось. Как нельзя кстати, были получены две радиogramмы от генерала Строкача.

Первая являлась ответом на мой запрос еще из Краснополя.

«Есть основание считать, — сообщал начальник главштаба, — что отряд Барановского — замаскированная под партизан немецко-фашистская банда. Сам Барановский исключенный из ВКП(б) в 1933, троцкист. Как проходец и аферист, просидел в тюрьме пять лет. Не исключена возможность, что Барановский является агентом гестапо. В этой связи встает вопрос о проверке личности самого Тхорикова. Учитывая коварные приемы и методы немецко-фашистских оккупантов против партизан и Красной Армии, информируйте главштаб о военно-политической обстановке...»

Другой радиogramмой генерал Строкач приказывал упразднить самостоятельных представителей в соединении, Кусачева и Тхорикова назначить по нашему усмотрению в отряды, пользование им радиостанцией запретить...

Умоляя не доводить до ЦК партии его «ошибок», Тхориков признался в том, что радиogramма от Фомича — подлог, что он имел тайное намерение сорвать выход соединения из Сумщины. Раскаиваясь, он заверил, что в должности рядового агитатора и бойца искупит свою вину. От моего предложения — уйти с Воронцовым или перейти фронт — Тхориков отказался.

Понуро удалились командиры после этого разговора о Тхорикове, и только Баранников, выражая общее настроение, пробубнил:

— Назначить... а полезнее было бы списать обоих субчиков...

Инчин, разглядывая из-под густых белесых бровей комбрига, тоже не утерпел и едко процитировал сказанную ему в Мезеновке Туманчуком фразу:

— «Товарищ Барановский наш генерал и работает по заданию центра...»

— Я, как и вы, лейтенант, доверял им...

— Доверял... примерял, а гестаповца и целую банду упустили. Он еще покажет себя. И придется вам, товарищ Туманчук, взять все это на свою совесть, — упрекнул Анисименко комбрига.

Трехлетний младенец не улыбнулся бы столь невинно, как Туманчук:

— Извините! Партизанским движением руковожу, как известно, не я, а некоторые другие... Пусть они и ответят!

— Но вы забыть, по-видимому, изволили? — вежливо заметил Мельник. — А мне помнится некая бригада в Мезеневке. Из полицейских. Не вы ли ею два дня командовали?..

— Всегда, товарищ старший лейтенант, всегда, где нет должного руководства с вашей стороны, его возьмут на себя другие... Логика боевого поведения командира...

Туманчук поспешил выйти. Удерживать его никому не хотелось, объяснения казались излишними — не та была обстановка, не то место. К тому же, будучи самостоятельным и правомочным в своих действиях, он мог и не давать нам отчета о поступках.

Инчин задумчиво сказал:

— Как же назвать таких командиров, какое придумать слово?

— Зачем придумывать? — отмахнулся Анисименко. — Зови карьеристом. Выгнать бы теперь из партии да под трибунал. А он, поди ж ты, не у меня на партучете! А через ЦК партии привлечь его, так когда же я туда достану?..

Командиры разошлись. Итак, наше соединение, рожденное на Сумщине, выходило в другие районы Украины.

— Муки рождения позади, комиссар, послушаем, о чем

говорит Москва, какие вести с фронта? Послушаем, пока вытягивается колонна,— предложил я Анисименко.

В наушниках звучал торжествующий голос диктора: — «Могучий ледоход продолжается!.. Советская Армия движется вперед! Город за городом, село за селом освобождают от захватчиков советские богатыри. Курск и Белгород, Фатеж и Чугуев, магистрали, связывающие Орел с Харьковом,— снова наши! Взят Краснодар! Под напором войск генерала Малиновского пали укрепления врага в Батайске и Азове, все побережье Азовского моря, Кубань и степи Кубанские отныне снова наши!..

Освобожден седой Дон, освобождены шахты. Войска генерала Ватутина завязали бои на Украине».

Высказываясь о хозяйственном положении, обозреватель «Правды» говорил:

— «Весенний сев на всем протяжении Волги, Дона, Кубани, Терека, на всем Северном Кавказе будет обеспечен...»

Казалось, все звало и все продвигалось к Днепру — на юг, куда устремились и наши отряды партизан.

Туманчук не решился самостоятельно следовать в Кировоградскую область. Отряд его снова замыкал нашу колонну. Тхорикова Анисименко определил в Червонный отряд, а Кусачев известил, что остается якобы при отряде Воронцова. Он письменно сообщал, что не согласен ни со мной, ни с решением генерала Строкача, и грозился обжаловать решение, как только удастся ему перейти линию фронта.

Радистка Аня ликовала. Избавленная от своих подозрительных шефов, она возвратилась в родной Хинельский отряд, к Инчину.

Тот поглядел долгим пристальным взглядом на девушку и только проговорил:

— Кончим войну, уеду на восток и женюсь на той, чьи глаза осокой прорезаны... Прикомандировываю к санчасти в помощь к Моте до случая.

С целью экономии анодного питания рация Ани временно не включалась в работу. Но это не смущало радистку. Любые обязанности выполняла она охотно.

Следовало иначе решить дело с Кусачевым и Тхориковым, думалось мне, когда я уже ехал на марше. Что касается Тхорикова, то он, отрекшись от своего дружка, разоблаченный, подавленный, лишенный прежних полномочий, не мог, казалось мне, влиять на ход рейда. А Ку-

сачев? Кто он? Что за фигура? Вражеский агент, ловко использовавший Тхорикова, или же карьерист? Ретивый исполнитель неизвестных для меня указаний Фомича или же кого-то другого, еще более влиятельного попечителя...

В тылу врага темней, чем в лесу, и многое скрыто безмолвным мраком.

Полная самостоятельность, трудности, а подчас отсутствие контроля верхов, как правило, невозможность личного контакта государственных деятелей с партизанскими вожаками — все это благоприятные условия для кусачевых, тхориковых.

Знавали, например, партизаны деятеля, который выдавал себя замнаркомом и пытался подчинить партизанские отряды, присвоить их боевую работу. Другой, имея воинское звание старшины, называл себя генералом.

Не обошлось без авантюриста и у нас на Сумщине.

Зачем Тхорикову эта афера?..

В тылу врага случаются самые причудливые сплетения обстоятельств: там ждут вожака партизан и подводные скалы, и коварные трясины, и уготованные заранее гестаповцами волчьи ямы. Но могут быть и поручения военного командования, главштаба партизан или ЦК, о которых не каждому командиру дано знать, да и невозможно практически было бы сориентировать об этом всех партизанских командиров в тылу противника.

Нелегко, ох, нелегко командиру распознать вражеского агента или завязтого карьериста в условиях, когда обстановка меняется ежечасно. Они же используют, и слабоволие, и доверчивость, и отсутствие бдительности, и, конечно же, сложные обстоятельства...

О действиях Кусачева мы предупредили по радио Воронцова и всех других наших командиров, а также донесли в Москву. Ему не поверили, что он останется при отряде Воронцова, которому помешал в Мезеневке свести счеты с Барановским. Разыскать Кусачева, начинать следствие о нем в условиях рейда — дело невозможное.

«Сбежал — значит, безвредней стал!..»

И с этим пришлось выбросить из головы Кусачева, Барановского и мало ли еще кого, кто был заброшен к нам вражеской разведкой и в Хинели, и в Брянском крае, но, почувявши беду, скрывался или пытался скрыться при первом же удобном случае.

— Пардон, пардон, сеньора! — ласково успокаивал хозяйку человек, одетый поверх шинели в пелерину из женской юбки.

— О ля, белля сеньора! — упрашивал итальянец. — Соле уно молеко — только один, всего один котелок молека! — уверял он.

Двое других смуглолицых — один в пелерине из плахты, другой в накидке из розового стеганого одеяла, в женских красных сапожках — стояли посреди дворика. Они тоже пленительно улыбались «сеньоре» и галантно раскланивались.

— Буона мадам — молеко, соле молеко — только молека! — позвякивали итальянцы пустыми котелками, убеждая, что два литра молока на три человека — не так уж и много.

— Э-гей! Кончай, сеньоры! — насмешливо крикнул Инчин.

— Буон джерно, сеньор! Буон джерно! — Три живописных фигуры мгновенно стали по стойке «смирно» и откозыряли хохочущему Инчину.

— Ха-ха! Где ваше оружие, кавалеры? Где карабины?

— Их нет война!.. Их — музик! — живо проговорил одетый в розовое. Он показал искаленную руку, а сосед с помрачневшими черными глазами добавил:

— Нет солдат, нет музик, нет война. Капут голова, плохо война.

— Эля ностра армаля — китара! — приподнял третий над собой гитару. Он подкупающе улыбался.

— Гитара — ваше оружие? — догадался Инчин.

Инчин протиснулся с конем через калитку, за ним верхом Коршок и Баранников.

— Привет, чернобровая! — обратился Инчин к хозяйке. — С женихами ладишь? Трое в хозяйстве, или еще какие на подворье обретаются?

— Та куды там! — отрезала та. — Вся Италия до нас на Полтавщину сгрудилась. Какие приходят да уходят, а этих со двора не выжену...

Партизаны знали, что солдаты итальянской армии, которая повально дезертировала, умели ладить с населением. Им удавалось отстоять хозяйкину корову от полицейских, агенты заготовителей в хуторах, где обоснова-

лись на жительство итальянцы, всегда вызывали с их стороны возмущение.

Инчин знал об этом и потому дружелюбно беседовал с итальянцами.

— Карабины, интересуюсь, где? Ка-ра-бины? — повторил он вопрос по-немецки.

— Карабины?.. Неля каза, хата карабины! — Итальянцы наперебой начали указывать в сторону соседнего двора, где находилось их оружие.

— Точно, — подтвердил Баранников, — в соседнем дворе ихнего брата человек с тридцать. Спят вповалку, и винтовки — по углам навалом. У солдат ни патронташей, ни патронов, а у двора и часового не держат...

— И что делать, лейтенант, с ними, с этими итальянцами? — недоуменно вопрошал Баранников. — Ни солдаты, ни пленные, ни свои, и, опять же, на супротивников не похожие. Везде их по хуторам полно.

Баранников вплотную подъехал к итальянцам и добродушно скомандовал:

— Вольно, вольно! Опустить руки — сами рядовые... Ведь вот же, сердечи, от смеха не удержишься: какого тряпья только на вас не напялено! Не переносите климата? Зябнете? А люди как бы свои: ни один драться с нами не хочет! Так говорю?

Инчин выжидательно молчал, итальянцы читали в глазах Коршка и Баранникова теплоту и сердечность.

— Хотите, в обоз зачислю? В транспорт? — Николай изобразил руками, как натягивают вожжи. — Фьють, фьюты! — Конь его заплясал. — Туда, ближе к Италии поедем! — Он указал рукоястью плети к югу.

— О, буоно, руссо!..

— Ля мия Италия! Милая и прекрасная Италия, — угадывал смысл их речи Инчин, а Баранников грубовато и вместе с тем добродушно смеялся:

— Вот вам «ля мия Италия»! За каким же дьяволом в Россию-то вас потащило? Закоченеете, как цуцки. Морозы у нас, снег, холод!.. — Он указал на снежный сугроб возле хаты.

— Бенито — дьяболе, Муссолини, Гитлер — дьяболе!

— Порка мадонна — Муссолини! — сетовали итальянцы.

— Правильно рассуждаешь, — одобрительно кивнул Баранников, — порку добрую Муссолини, да и самой ихней мадонне...

Инчин затрясся со смеху:

— Надо спросить, кого называют они «поркой»!

— Что ж тут думать? — удивился Баранников. Что лупцовка, что порка — один резон, лишь горячей пришлось бы Муссолини!

Коршок вопросительно уставился на итальянцев.

— Вас ист «порка»? — спросил он по-немецки, и гитарист тут же опустил на четвереньки. Плутовато вода глазами, он захрюкал натуральнейшим образом.

— Свинья!? — изумился Коршок.

— Вот оно что: свинья — мадонна! — удивился и Баранников. — Что за народ? Как возможно, чтобы свинья и она же была мадонной?..

— Едем, други, — все еще смеясь, говорил Инчин. — В поход, в дорогу! Нам за ночь предстоит поход немалый.

Партизаны выехали со двора и пустились догонять головной отряд, бесшумно скользивший вдоль улицы.

— Да, занимательные они люди! — рассуждал на скаку Николай. — А только солдаты — никудышные! Не военного они назначения люди. Слабаки! Правильно, Анатолий Иванович, понимаю?

— Неправильно! — обрывает Инчин. Он придерживает коня, равняясь по коню Баранникова. — Если хочешь знать, то итальянский народ против союза с Гитлером и война с нами не популярна в итальянской армии. Более того: итальянцы сами партизанят против гитлеровцев...

— Ска-а-жите! — протянул Николай. — Чтобы итальянцы и они же партизаны — никак не верится!

— Не здесь, конечно, у себя в Италии партизанят.

Инчин думал об итальянцах и о Полтавщине, кишевшей дезертирами из 8-й итальянской армии. Никогда не помышлявшие о войне с русским народом, солдаты и офицеры при первом же ударе Советской Армии оставили фронт.

«Несчастливые дети юга», — так говорили партизаны об итальянцах.

Но Инчин не совсем был согласен с этим определением.

Дети юга стремились туда, где кипела против гитлеровцев борьба итальянских патриотов; они берегли в груди огонь мести, они пробирались на родину, чтоб расплатиться за свои бедствия с Муссолини, который сказал:

«Мне нужно несколько тысяч мертвых, чтобы сесть за стол победителей».

— Эх, земляк! — продолжал Инчин. — Прочешь бы тебе книжицу приличную про Италию!..

— Для чего бы?..

— Хорошему воину многое знать нужно. Изучать. Хотя бы в данном вот случае знать, что само слово «партизан» чье бы ты думал, Коля? Итальянское!..

— Вот бы и поучили, Анатолий Иванович. Расскажите в трех словах про Италию!

Инчин добродушно хохочет.

— Разве можно в трех словах, да еще про Италию?..

— Ну-у, — упорствует Николай, — хотя бы что-нибудь из самого главного?

Инчин прикурил сигарету, уставился на Баранникова:

— Скажем, первое: древний Рим, это что-нибудь говорит тебе, Коля? А Возрождение, Флоренция с великим искусством?

Николай изумленно глядел на Инчина и не мог уяснить значение услышанного. А тот, не замечая недоумения, задавал вопросы Баранникову и сам же торопливо отвечал.

— Что Рафаэль? Скажете — мастер живописи? Он — гуманизм! Гармония форм! Монументальность! Что Тициан и Леонардо?..

Инчин, прищурив глаза и снова взглянув на Баранникова, продолжал:

— Итальянцы изобрели компас, собрали микроскопы и телескопы... А о чем говорят нам имена Колумба и Марка Поло, Гиппократ и Галилея, Данте?.. Я не говорю уже о мелодичности итальянских народных песен, о темпераментных танцах, о музыкальных шедеврах Россини, Верди, Пуччини, о певцах, покоривших мир... Что еще?

Инчин глянул умными глазами на Баранникова.

— Говоришь — не военного толка люди? А римские легионы, потрясавшие некогда весь мир? А Гарибальди?..

— Скажи на милость, — перебил Николай, — что произошло с ними, с итальянцами, почему этот люд стал слаб и несчастен?..

Инчин грустно улыбнулся:

— Ты прав, Никола! Диктаторы и тираны, папч и фашисты — вот через кого несчастна Италия...

Окрашенная розовыми лучами вечернего солнца колонна уходила вдаль. Передние ряды всадников терялись в дальних балках, в надвигавшихся сумерках.

Партизаны шли теми местами, где русские в войне против шведов покрыли себя неувядаемой славой, где родились и мужали ярчайшие таланты Котляревского, Короленко, Квитки-Основьяненко, селами, некогда запечатленными в бессмертных творениях Гоголя. Где-то правее лежали Сорочинцы, маршрут колонны пролегал через Диканьские хутора. Слева от нас — Ворскла, готовая вот-вот зашуметь половодьем. Темно-зеленый лед был покрыт местами тонким слоем воды, и она уже не замерзала. И это больше всего тревожило: от Днепра отделяло нас довольно большое расстояние.

И как ни странно, беспокоило нас и быстрое перемещение на запад нашего фронта: как бы не оказаться в окружении своей армии? Ведь было ж под Ахтыркой, что наши танки оказались впереди наших разъездов у Зенькова и Чупаховки.

Инчин ехал с разведкой. На далеком возвышении показалась белокаменная церковка. Крест ее плавился в зареве заката. Издали казалось, что на одиноком куполе — исполинский самоцвет.

— Держать направление на церквушку! — распорядился Инчин и выслал дозорных.

Ядро разведки сбавило темп движения, кони шли шагом. Переехали глубокую впадину, поднялись на плоский бугор. Тем временем солнце скрылось за горизонтом.

Ехали молча, пока Козеха, не любивший молчать, заговорил:

— Фу, чертяка ему в боки: темно, как в бочке, а крест горит! — Он даже привстал на стременах. — Что бы оно такое значило, хлопцы?

— Нечистый, — подшутил Коршок, знавший, что Козеха суеверный.

— Какой нечистый? Как может на святом кресте жить нечистый? — буркнул Козеха.

— Гляди сам: два зеленых глаза.

— Что-то непонятное...

— Эх, Иван, Иван, — узнал Инчин неторопливый окающий говорок Самодова, — ведь это та самая церквуха, в которой Хома Брут три ночи подряд псалтыри читал по мертвой панночке.

А Пузанов, приставив бинокль к глазам, добавил:

— Ей-бо, из окон хвосты торчат!

— Не врешь? — Козеха вскинул бинокль. — Какие хвосты еще?..

— Чертячи! — увлекся Инчин. — Помните? Пробыло полночь, и вся нечисть во главе с Вием кинулась в окна! И застряла там на вски вечные!..

— И действительно, вижу, — всматриваясь вдаль, сочинял Роман, владелец лучшего в разведке бинокля.

Баранников, выдвинувшись немного вперед и остановив коня, объявил неожиданно:

— И в самом деле — черт!.. Сам сатана... Танки стоят, и факел горит возле!.. Не далее как за 150 метров!

Козеху как ветром сдуло, он спешил первым.

— Напоролись? Остановить колонну!..

Разведчики соскочили с коней. Инчин, пряча под плащом фонарик, справлялся по карте.

— Так и есть: дорога Зеньков—Диканька—Полтава...

И словно подтверждая его заключение, по шляху проплыла с притушенными фарами машина.

— Володь, кто еще с тобой? — обратился Инчин к Шашкову. — Мотай навстречу отряду, предупреди. Впрочем, постой! Я сам остановлю отряд в балке.

Минут через десять Баранников был подле церквушки. Два танка стояли на пригорке. В железном ведерке догорал мазут, чуть в стороне — виднелись снаряды.

— Чьи танки?

— Небольшие, значит — итальянские!

— Нет, венгерские!

— Все одно: поджечь или подорвать надо...

— Я его из ПТР продырявлю.

— Погоди грохотать. — Баранников исследовал отпечатки следов на земле. — А ведь здесь часовой грелся! Сбежал, видать.

— Конечно, удрал, — подтвердил Пузанов, — как заметил нас, так и скрылся...

— Э, нет. Вот он! — отозвался из темноты Самодов. Итальянец.

Баранников увидел испачканного мазутом солдатика и Самодова.

— Танк умеешь водить, как тебя, чумазый?.. Водишь?

Тот заискивающе улыбается и что-то лопочет по-своему.

— Не понимает, — почесал затылок Баранников.

— Ну, механик ты или не механик? — уже раздраженно спросил Баранников итальянца. Тот живо закивал

головой.— Вот и молодец! В таком разе — заводи! — Баранников покрутил черенком плетки, как заводной ручкой.— Понимаешь?..

Через полчаса танк стоял поперек дороги, преграждая проезд автомобилям.

Со стороны Полтавы подошла машина, за ней подкаатило еще несколько. Все остановились, выжидая, когда будет освобождена им дорога. Один по одному подходили автомобили и со стороны Зенькова. И тоже тормозили, ожидая, когда пройдут обозы, которые уже двигались через большак. Машины периодически сигналили, подмигивая фарами. Однако наши обозы молча пересекали дорогу.

Но вот со стороны Зенькова подошла колонна бензовозов.

— В дело, братва, гранаты! — приказал Инчин.

Грохнули взрывы... Затрещали автоматы...

Почти до рассвета вихрилось пламя на шляху. Мы уходили в глубь Полтавщины...

Анисименко посмотрел назад, удовлетворенно молвил:

— Хорошо сработали разведчики!..

Надвигающаяся с востока гроза гнала к юго-западу не только оккупантов. Хлынули грязные потоки тех, которых уже не могла носить русская земля, которым не было и не могло быть места на Родине и вообще в жизни — омерзительные отщепенцы, гнусные выродки, предатели, гитлеровские блюдолизы и прихлебатели. Бежали, спасаясь от народного гнева, бургомистры, полицаи, разные управляющие. Подлая их карьера на Кубани, на Дону, в Курской и Воронежской областях, на Харьковщине кончалась.

Хозяева оценили их предательскую деятельность не дороже, чем она стоила. Для «беженцев» не нашлось места в вагонах. Они ринулись по грунтовым дорогам, но и там настигало их возмездие: немецкие солдаты заградительных отрядов отнимали у них ценности и продовольствие, а интенданты — машины, добрых коней.

Сторонясь больших дорог, «беженцы» устремились в глубокий обход городов и немецких гарнизонов. Вдали от Полесья, на Полтавщине, они, конечно, не ожидали встреч с партизанами.

И вот одна из дней в междуречье Ворсклы и Псла. Еременко с Дьяковым и с группой товарищей дежурят

на ветряке, время от времени переговариваясь со штабом по телефону.

— Едут! — докладывает наблюдатель. — Двадцать одна подвода. По три-пять человек в санях. Не сомневаемся — господа полицейские!

— Принять спокойно, без суеты и шума, — приказывает Инчин лейтенанту Еременко.

Кавалькада приближается. Ее возглавляет выхоленный здоровило в русской комсоставской шинели нараспашку, в хороших сапожках, в белой рубашке и с большим трезубом на шапке. Сразу видно: начальник. Спрашивает:

— Откуда, хлопцы?

Ему отвечают:

— А вы откуда?

— Белгородские.

— О, земляки! — восторгается пулеметчик Лобач Федя.

— А мы чугуевские!

— Каковы дела?

— Да вот, как видишь, едем, а куда едем, никто не знает.

— Ваши все уже смылись?

— Да вот сорок человек осталось, а большинство в плену Советской Армии. И бумаги штабные тоже остались...

Они принимают партизан за своих: большинство наших в полной немецкой форме. У кого были звездочки — припрятали, красные ленточки сняли еще в Хинели.

Полицейские подходят к своему начальнику, а в это время отделение автоматчиков выбегает из ветряка и отрезает полицейских от их обоза.

— Господа полицейские, предлагаю оставить оружие у меня! Господин начальник, вас проводят в штаб! — распоряжается Еременко.

Застава вежливо пропускает полицейских в село. А на дороге уже появляются новые части: к ветряку несутся франтовитые «kozyри», подпряженные парами красивых коней. Добротные ковры служат пассажирам подстилкой, на ногах у них медвежьи полости. Десятка полтора всадников, в черных шинелях и тоже на добротных конях, чинно следует за «kozyрями».

Этих застава пропускает. Их останавливают возле квартиры Инчина. Эскорт спешивается. Средних лет даму, в каракулевом мантио с муфтой, в шапочке, вводят в штаб-квартиру двое солидных мужчин. Один в хромовом пальто, другой в черной с погонами шинели.

— Кто будете? — чинно спрашивает Инчин. Он сидит за столом, кубанка повернута на затылок звездочкой.

— Управляющий окружным банком, из Белгорода, — почтительно докладывает хромовое пальто.

— А эти?

— Моя жена...

— А они?

— Начальник старооскольской полиции! — спешит представиться другой и протягивает руку.

— Без рук, — пренебрежительно говорит Инчин. — Куда следуете?

— Пока что сюда, а дальше... Хотели бы в Миргород.

— Зачем?

— Как зачем! — вспылила дама. — Разве вам неизвестно? Мы отступаем... Белгород занят Советами, и немцы приказали нам выехать временно...

— Почему временно?

Пациенты пожимают плечами, переглядываются.

— Документы есть?

Пальто предъявляет толстый бумажник. Инчин просматривает советские и немецкие документы и говорит бесстрастно:

— Значит, проданся с потрохами? Дальше не поедешь! — и поворачивает свою кубанку наперед звездочкой.

У мужчин завибрировали пальцы рук, дама стонет, почти рыдая:

— Саша, ты понял, куда мы заехали?..

— Товарищи... братья, пощадите. Меня насильно... — упал на колени управляющий. — Простите!..

Но в Инчине нет сострадания к этим изменникам Родины, убегающим теперь от Советской Армии.

— Увести! — обрывает Инчин.

Не прошло и часа, еще обоз... в башлыках, с лампами...

И снова перекличка у ветряка:

— Кто такие?..

— З Дону!..

— И куда бежите, семьи на кого оставляете?

Стоят, сказать им нечего.

Инчин приглядывается к каждому. Надо понять, что за люди: враги убежденные, или одурманенные, или просто темнота.

Полтавские степи, вплоть до Хорола, пересечены мно-

жеством грунтовых путей, идущих из Харькова в сторону Киева.

Пересекая эти дороги, наши отряды, их разъезды и заставы как бы представляли собою густую рыбачью сеть, куда набивалась мелкая плотва и зубастая щука...

— Постоять бы в Диканьских хуторках! За двое суток на Полтавщине мой отряд наделал такого, что под Сумами и за неделю не сумел бы.— Комбриг начал перечислять захваченные трофеи: штабные документы, печати, разный домашний скарб — от запасов сала до швейных машин и велосипедов,— все, что награбили гитлеровские холоуи у советских людей и теперь увозили на запад. Да вон опять какой-то обоз в степи,— навел он бинокль на появившихся в стороне черношинельников.— Наверняка, «беженцы». Гульнем с неделку на Полтавщине?

— А Днепр? Днепр форсировать в половодье будем? На льдинах? Ведь надо перемахнуть Славутич, чтобы попасть в вашу Кировоградскую область. Перейдем — и лишь тогда я оставляю вас для самостоятельных действий. Собственно, и моя ближайшая задача выйти на Правобережье Днепра южным маршрутом.

Я придержал коня у оврага. Под мостиком шумел звонкий ручей, синел ноздреватый снег, а на берегах оврага уже сохла прошлогодняя трава.

— В таком случае,— сказал Туманчук,— я прошу не держать мой отряд в хвосте. Это изматывает, и несправедливо. Пятьсот верст! Только на прямую пятьсот! Я каждую ночь подвергаюсь риску быть отрезанным, я не смыкаю глаз, не угонюсь за вами. И всегда не знаю, что делается в голове колонны и почему изменен маршрут или место дневки. Так нельзя! Я где-нибудь затеряюсь...

— Не могу иначе. Вы разрываете колонну...

— Я наведу порядок в колонне, но прошу — пустите хотя бы на одну ночку в середину колонны.

Анисименко сжалился.

— Пусть ночь перебудет в середине,— сказал он Мельнику,— надо поддерживать товарищей...

— Поезд! Эшелон справа! — невольно вскрикнул Василек и погнал коней еще быстрее. Такие же тревожные возгласы слышались впереди и позади, по всей обозной цепи, пересекавшей железную дорогу на участке Полтава — Миргород.

Два паровозных глаза уже сверлили предупредительные сумерки, эшелон сбавлял ход, готовился остановиться на станции Сагайдак.

Еще мгновение — и, опаленный столбом пламени, паровоз, как бы споткнулся, подскочил на рельсах. За взрывом раздался трезвон буферов, скрежет, дробный перестук, эшелон остановился, Анисименко, сидевший в моих санях, крепко, как никогда, выругался.

— С ума спятили! Вместо головы гарбузы! Подрывать эшелон на переезде... Черт, сам сатана, все ведьмы с ними! — неистовствовал Анисименко. — Что делать? Колонна — под расстрелом!

«Сомнения никакого — эшелон воинский, — оценивал я нелепейшее положение. — Большая часть отрядов уже миновала переезд, но хвост колонны оставался еще на подходе к дороге, пересеченной теперь эшелоном гитлеровцев».

Мы летим вдоль заснеженной балки к акведуку. Анисименко, подняв руку, кричит конникам:

— Стойте, стойте! Падай на землю!

Но голос его тонет в грохоте. Да, голос — средство очень слабое для управления боем! И конница неслась, будто стрела, выпущенная из лука: не остановить, не вернуть...

— Вперед, вперед! Скорей! — раздавались чьи-то голоса, и конная масса шумно неслась под акведук.

— Остановить! — еще раз крикнул Анисименко и сам схватился за вожжи. Кони шарахнулись в сторону, чьим-то возом опрокинуло наши сани. Я оказался в снегу, Анисименко волочился за санями...

Щелкают подковы, мелькают конские хвосты и ноги, свищут, поют пули, а число пулеметов противника уже удвоилось...

— Остановить, влево свернуть! — силился и я перекричать шум боя, намереваясь повернуть колонну в обход. Но там, на бугре, уже горело несколько соломенных крыш. Сагайдак видно, как днем. Смертоносные трассы стелются над покрасневшим снегом.

— Быстрее, быстрее! — слышу я голос Пузанова.

Несколько всадников проносятся мимо. Пули секут скачущих лошадей. Я вижу, как падает вместе с конем всадник, один, второй...

— Стойте! — снова нечеловеческим голосом кричу я. —

Остановитесь! — и бросаюсь навстречу двум всадникам. Они соскакивают с седел, не зная, где укрыть коней.

Втроем перебегаем к акведуку.

— Минутка... — горячо выдыхает Инчин, — минутка, какой не забудешь вечно! Но я цел и готов к бою. — Тяжело дыша, докладывает: — Моих половина там, — махнул он рукой за переезд, а Ступич и Павловский держат двумя вводами хутор. — Он прислушался. — Да, это стучат их пулеметы.

Мы стоим под акведуком. Ждем. Туманчук должен ударить по эшелону, так предусмотрено приказом на случай боя тут, у станции Сагайдак.

Это спасет положение. Туманчук подавит пулеметы противника, изрешетит вагоны, и тогда эшелон наш. А нет — мы пустимся в обход, переведем колонну через дорогу в другом месте.

Проходят томительные минуты, пулеметы противника хлещут вдоль балки и по переезду, а бронебойки Туманчука молчат, словно комбриг не знает, что ему делать.

Из крайних хат хутора, что у железной дороги, бьют из нескольких пулеметов — это Кузьма Ступич с хинельцами. Они в упор расстреливают вагоны и гитлеровцев, спрыгивающих из них.

Слышатся стоны раненых. Инчин не выдерживает напряжения, вскакивает на коня и уносится назад, в поле, к Туманчуку.

За акведуком все еще мчатся отдельные подводы. Ровная луговина, залитая осенними дождями, превратилась в ледяной каток. Сейчас дождь пуль падает на него. Тут и там убитые лошади, оставлены сани, из которых доносится мольба раненых.

Скользя по льду, падая и вновь вскакивая, к саням приближается силуэт. Слышу голос Пузанова:

— Миша, Троицкий, ты жив?

Пузанов стаскивает друга из саней, тот вскрикивает от боли, оба падают на лед.

— Как же мне теперь без седла, Миша, — горюет Пузанов, — как мы доберемся до деревни?..

Он подползает к убитому коню, долго выпрастывает подпругу, а затем, волоча седло, снова ползет к Троицкому.

Вырвавшаяся на лед подвода проносится мимо. Пузанов бросает седло в сани, но только подпруга захлестывается на креслине, а седло скользит по льду, Пузанов

камнем валится на него, подхватывает Троицкого за голенище сапога, и все уносится с моих глаз в вихре розовой пыли.

Возвращается Инчин, за ним с пулеметами Лобач, Павловский и парни из Глушковского совхоза. Сзади, где остался за хутором Туманчук, — ни звука.

— Не удивляйтесь, — угадывает мои предположения Инчин, — комбриг забыл о приказе, он развернул свою колонну в обратном направлении. Должно быть, ушел в обход...

— А Пастушенко, Ямпольский отряд где? — вырвалось у меня. — Ведь за Туманчуком шли ямпольцы и рота эсманцев?

— В балке — хоть шаром покати, — хмурится Инчин. Огонь противника редееет. Мы выжидаем еще некоторое время и броском, минуя опасное место, выскакиваем за пригорок.

За пригорком возле хаты я нашел свою подводку.

Василек придиричиво осматривает мой маскхалат и говорит:

— В моем три, в вашем четыре — всего на одну подводку семь дырок. — Он рад, что все кончилось благополучно.

Мы едем по дороге к селу Байрак, где намерены остановиться на дневку. Оттуда прискакали связные. Они передают мне задержанного сухощавого старика. Без шапки, в незастегнутом кожаном плаще, он хотел, чтоб его обязательно довели до Байрака.

— Ох, и сидели бы вы, дед, в своей хате, — упрекает старика Инчин. — А тот в свою очередь укоряет его:

— А как же можно? А что наделали ваши в моей хате? С трех пулеметов палили, целую кучу гильз понастреляли, больше ста германцев в снегу положили! То как же я в той хате останусь?

— Но где же вы дорогу перешли, как на этой стороне оказались?

— А так и было: присмотрелся — они не встают, все побиты, я обогнул хвост эшелона и напрямик пробрался на эту дорогу...

«Напрямик...» Очевидно, именно такой маршрут избрал и комбриг с оставшимися отрядами.

Рассветало. На горизонте тут и там виднелись дымки. Это остановившиеся эшелоны. Их, очевидно, много. Необходимо поскорей уйти от магистрали. Но куда? Вле-

реди шоссе Киев — Харьков, которое не удалось перейти ночью. Там, как выяснилось, бесконечным потоком движутся немецкие войска. А позади войска в эшелонах. Я уже знал, что эти мотоколонны следуют из Франции. Они растянуты от Парижа до Харькова. Немцы готовили контрудар, чтоб взять реванш за потерю Харькова. Уже прошло 8 дивизий, что не составляло секрета даже для населения.

«Днем стоят, а ночью гудят...» — говорили люди. «Нах Харьков, нах Харьков!» — похвалялись офицеры перед старостами, требуя у них млеко и яйки, а для нас это вначило, что мы оказались в ловушке.

Карта подсказала нам компромиссное решение: перейти автостраду и занять несколько глубинных сел над речкой Хорол. Там, подалее от военных дорог, надо было дать передохнуть людям и коням, попробовать разыскать комбрига.

Мы начали искать, думать: где и как перейти Харьковскую дорогу. Не могло быть и речи о каком-нибудь прорыве с боем. Надо пройти незаметно, тихо, с хорошим, знающим проводником и без единого выстрела.

Иичин нашел такого проводника и привел его в штаб. Это был парнишка лет семнадцати, в черном полушубке, в решетиловской островерхой шапке, с немецким автоматом в руках.

— Перейдем дорогу без боя? — спросил я этого голубоглазого паренька.

— Проведу, — ответил он, не думая. И живо начертил карандашом схему: стоянки гарнизона, шоссе, обширного села Белоцерковки и даже своей хаты.

— Но где проведешь?

— Да возле ж моей хаты... и понад Пслон, кручами.

— Но в селе гарнизон...

— В селе ж и мы, белоцерковские партизаны...

Паренек щурится.

— Эге! — удовлетворенно щурится и Анисименко. — Солидные товарищи...

— Что солидны, то вряд ли, зато в ловкости да хитрости не сомневаемся... — Паренек снова прикусывает припухшую губу и пытливо вглядывается в меня и Анисименко. — Только вас не перехитришь...

Мы весело переглянулись.

— Чем заслуживаем похвалы?

— Я еще затемно был тут, в Байраке,— шепелявил через прикушенную губу паренек,— а выехать ни днем, ни вечером не смог...

— Тебя задержали утром?

— В том-то и дело что нет. Автомат я — под козюк, коня — дядьке в сарай. Но из села куда ни ткнусь — нет хода. Не то человеку, собаке из села не выскочить...

— Ах, вот что! — Смеемся мы. — Глаз твой, хлопче, не прост. Глядишь в самую точку. Однако, что задержали, не взыщи. Это уж каноны наши: в село хоть кто, из села — никто! И правило у нас это каждый боец соблюдает — не любим, чтоб про нас доносили!..

Овальное веснушчатое лицо парня расплылось в хитрой улыбке.

— Да уже все знаю!.. Мои соседи, полевая жандармерия из Белоцерковки, тоже утром остались здесь, а вечером и коменданту со свитой «лапти сплели». Я с ними знаком, каждого в лицо и по фамилии знаю.

Так мы познакомились с Андреем Ляхом, юношей с двадцатимесячным опытом подпольной работы среди местной комсомолки.

— Ну, а чего ты, хлопче, тут, в Байраке, оказался? Кстати, не ты ли железную дорогу в Сагайдаке минировал? — задумчиво спросил Анисименко.

— Не я, а хлопцы — тянет Лях. — Я на взрыв и выехал, чтоб зафиксировать крушение. наших хлопцев в Сагайдаке душ двенадцать да здесь, в Байраке, семеро, мы обговаривали свои действия...

Я гляжу на Анисименко. Челюсти ему светло, на лице Инчина — желание изругать или избить Ляха за неумелый, злосчастный взрыв. Нелепейшее положение: благое патриотическое намерение молодежи стало для нас едва не катастрофическим.

Лях осторожен. Он открылся нам лишь после того, когда на его глазах были уничтожены гитлеровцы, когда узнал, что мы связаны с Москвой.

— И что же вы успели сделать своим отрядом? — приветливо щурится Анисименко.

Лях с минуту молчит, косится исподлобья, потом, как бы вслух думая, докладывает:

— Пленных освободили из лагеря 126 человек; вывели из строя два трактора «ЧТЗ», подпилили мост через Псел... И две машины. Гитлеровцев убивали... — Андрей хмурится и дополняет: — Расстреляли старосту общин-

ного двора и попа, чтоб не агитировал против Советской власти, а также сожгли дом вместе с полицейскими...

С помощью Ляха мы в деталях обсуждаем, как и где осуществить переход через шоссе. Он взялся расставить в селе своих наблюдателей. Мы не спешим, так как дорога рядом, долго беседуем и только среди ночи приезжаем в Белоцерковку, раскиданную на высоком берегу Псла.

Сосредоточив обоз на задворках, подходим к асфальтированной дороге. Темно. Чистое полотно ее блестит, будто алюминиевое. Бесшумно несутся машины с затемненными фарами. Тихо, чуть веет холодный ветерок от движущейся автоколонны.

Машины идут по две в ряд и только в сторону Харькова. Расстояния между ними минимальные. Скорость — не менее 50 километров в час. За автомашинами — бронетранспортеры, прицепная артиллерия. Мотоколонны движутся побатальонно. Пользуясь короткими интервалами между колоннами, мы посылаем через дорогу свои подводы. Эти интервалы настолько малы, что еле успевают проскочить две-три подводы, после чего снова гуд машины и холодный ветерок в лицо.

Кирилл Лях вышел проводить сына. Андрей волнуется. Быть может, в последний раз смотрит он с горы на кривую саблю сверкающего во тьме Псла с дремучей, не раз спасавшей Андрея, порослью ольховника под крутой горой.

— Как бы теперь не поиздевались, отец, над вами немцы из-за нас...

Отец успокаивает сына:

— Не печалься, сынок, мы опыт имеем: недаром еще в восемнадцатому с немцем та Петлюрою воювали. Бейте фашистов за все, а оружие, что осталось, — нам старым... так и скажи командиру.

На переправе не обошлось без приключения. Кто-то из ездовых уснул, и кони, тронувшись вслед за другими, остановились посреди дороги. Немцы начали сигналить. Подъехав вплотную, махали из кабин руками, ругали ездового.

Пробудившись, ездовой сильно ударил коней, и те рванулись так, что вырвались из оглобель...

Сани пришлось убирать гитлеровцам...

— Опять же ночь. Да такая ж, что только ведьмам летать!.. Болото. Изморось. Не разберу: снег или дождь проклятый забивает в лицо. А мне Инчин приказал Турбаи разведать.— Говоривший хриповато откашливается, в темной комнате вспыхивают огоньки цыгарок.— Петляли, кружляли с Гончаровским,— продолжает тот же голос.— Знаю — вблизи Турбаи, а на сухое место не выберемся. И темно ж — хоть глаз выколи! Спрашиваю себя: и где она, та дорога до Панька Рудого, до пасечника, что моей прабабушке-пустобрехе говорил да зубы ей под луною заговаривал?..

Комната наполняется ядреным гоготом, и я догадываюсь, что в кругу разведчиков, конечно, Лях. Подвижной, начитанный, он быстро подружил с новыми товарищами-ветеранами хинельской гвардии. Его знал почти каждый.

— Ей-богу, хлопцы! — продолжает Лях.— Смотрю: в болоте не то волчий, не то чертячий глаз. То исчезнет, то снова в мою сторону светится, подмаргивает, будто в трясину заманивает... На всяк случай спешился... Приглаживаюсь — так и есть: подле костра кто-то. Мы с Владленом — туда. Говорю: «Неспроста люди в болоте прячутся». Передаю поводья Гончаровскому, а сам тихонько подлезаю. Смотрю — дидуган с люлькой в зубах. Весь сивый, усы висячие, а подле него — двое. Винтовки и все прочее, как у полицаев. Словом, на ловца и зверь бежит. Я автомат — на боевой, вслушиваюсь. «Вы, дед, — говорят, — в крайней хате дежурить должны — в наряд назначены». — «Ну, — отвечает тот, — сяду, а дале что?» — «Смотреть будете. Считать, чтоб знало начальство, куда сколько пеших через село пройдет, да конных и на повозках...»

«Вот сволота! Это за нами шпионят!» — думаю.

— Ты не выпустил их из болота? — вскакивает Шашков.

— Вижу, мой дидуган люлькой попыхивает, да подтрунивает: «А собьюсь со счету, что тогда?..» А те ему: «Крестикки, палочки ставьте». Дед передразнивает: «Отмечайте, примечайте, а если эти люди меня да и вас нагаями крестить почнут, да ребра прикладами пообломают?..» Замолчали. Вижу: глаза прячут, а старик — что б вы

думали? — наставляет не хуже партизанского агитатора: «Идите, хлопцы, к ним. В ноги падите. Зброю отдайте им! Повинитесь за вину перед народом».

«От,— думаю,— агитация, от дает прикурить дидуган». Они, щенки, оправдываются: «Та разве мы служили нимцу? Мы только так, мы бросим винтовки да в камышах переховаемся, когда партизаны придут...» Думаю: «Черта два от меня сховайтесь». А дед свое: «Ой хлопцы, не успеете! Ой не сховайтесь! С оружием застигнут вас — головы поснимают. Чует сердце — поотрубают. Сила идет по степи не малая, за двести верст слышно коней ихних...»

Лях сделал паузу. Молчат и разведчики.

Андрей рассказывает далее, как он доставил Инчину языка и потом уехал с ним в хутор Петровку, где заставил полиция вызвать на партизанскую засаду жандармов и полицейских, как из Шиловки привез полный грузовик гитлеровских мародеров.

Связные и резерв разведки занимают вместе со мной одну классную комнату. Я один угол, они — другой. Лежащих на соломе за партами почти что не видно.

Прислушиваюсь к болтовне молодежи, в своем углу беседую с местным учителем, расспрашиваю о Турбаях. Мы перебираем в памяти минувший, богатый событиями день. С утра партизаны отмечали День Советской Армии. Невольно припоминаю, где и что делали мы год назад, и об этом рассказываю учителю. Он интересуется историей хинельских походов. Я припоминаю операцию на Хуторе Михайловском, разгром у Четвертиновской дачи везовцев.

Какими далекими кажутся те события! И не по времени — размахом дела. Обстановкой. Тем, что пережито Хинельскими отрядами. Год войны вообще много для человека. Год борьбы во вражеском тылу — целая вечность!

Сегодня получена радиограмма: боевыми орденами награжден почти весь состав хинельской гвардии. Нас по-здравляют с успешным рейдом в Полтавской области.

— А как рады наши люди! Звона пасхального не так ждали в старину, как гуркота гармат с фронта,— говорит собеседник.— Ведь наше село знаменито издавна, и в дни Октября да гражданской войны оно тоже сказало свое слово. Это ж наш турбаивец Морозенко-Белоусенко Прокопий участвовал в штурме Зимнего дворца и там был ранен, а Ленин в госпитале разговаривал с ним,

прикасался к его плечу теплой своей рукой, благодарил и через него передавал привет всей революционной Украине. Он же, Морозенко-Белоусенко, руководил тут первым ревкомом, как только прибыл из Петрограда. Это под его диктовку написан первый протокол:

«Отныне село Турбаи именовать Турбаями, позорное же название Скорбино, навязанное царским правительством, снять со всех штампов и печатей и предать забвению на веки вечные!»

Сторчак припоминает, как праздновали в 1939 году 150-летие Турбаивской республики, когда в Турбаях было невиданное народное гулянье, когда на празднование приехало много украинских писателей и среди них Дмитро Косарик — земляк и первый секретарь ревкома, и Василь Минко, что играл хлопца-батрака в постановке «По велению царицы Екатерины», и Петро Панч, что обучил варить карасей в курином бульоне, писатели Андрей Головка, Павло Усенко, Иван Волошин, Савва Головановский, Александр Копыленко, Яков Городецкий...

— Где они теперь? — спрашивает Сторчак. — Может, вы знаете? Может, на фронте все? Может, многих и в живых нет уже?..

Спрашиваю, как живут теперь, есть ли в селе свои партизаны?

— Было несколько человек в организации, которая называлась «Четыре кума», да проживал тут секретарь райкома Киколь, — осторожно, подбирая слова, раскрыл свои тайны учитель.

Я догадываюсь, возможно, он, Сторчак, и руководит «Четырьмя кумами», чьи листовки попадали к нам в руки еще накануне. Как выяснилось, влияние этой организации было таким, что Турбаи бойкотировали все мероприятия оккупантов. Ни за три гектара земли в собственность, ни за деньги, обещанные за службу в полиции, турбаивцы не продались. Не такими они были, чтоб продаваться! Тогда прибыли каратели.

Угрожали уничтожить село, как во времена Екатерины. Но люди упорствовали: враги не получили от турбаивцев ни поставок, ни податей, не смогли также угнать молодежь на каторгу. Саботаж турбаивцев разозлил кременчугского гебитскомиссара. Он объявил воскресенье 23 февраля 1943 года днем расправы.

— Забегали немцы да их пособники, — рассказывает старый учитель. — Неделю вызывали всех мужчин

в Крынку в комендатуру для отправки в Германию, но ни один не пошел — все спрятались в болотах.

Сторчак подробно рассказывает о том, как было в последние дни перед нашим приходом, а мне грезятся потрясающие картины. И ночное болото, и травля злобными овчарками спрятавшихся в нем женщин и детей, жар и чад пылающего села, и предсмертные крики людей, которых швыряли в огонь фашисты, и вопли обезумевших матерей. И хотелось крикнуть на всю округу: «Мало, еще мало истребляем мы оккупантов!»

Нет и не может быть пощады подлым предателям, не искупить ничем преступлений, которые совершали над нашим народом оккупанты. И понятной станет месть, учиненная в Турбаях эсманцами и конотопцами над жандармами, — на шляху в Кременчуге партизаны уложили их до единого.

Случайно наш приход совпал с преступным намерением кременчугского сатрапа. Предвкушая «чудесное зрелище», как овчарки будут ловить в камышах детей и женщин, гебитскомиссар вместе с начальниками окружной и районной полиции, с комендантами и переводчиками, с овчарками, с полевой жандармерией прибыл в Турбаи целой колонной.

На удивление, этот отряд оказался куда как более жестоким, чем предполагалось. Он был настолько неожиданным и беспощадным, что из всех, выехавших в турбаивскую экспедицию, не осталось в живых — ни висельников, ни их овчарок.

Я распрощался с учителем. Оставшись один, заполнил страницы дневника, прислушиваясь к беспечным разговорам разведчиков. У них всегда одна и та же тема разговора: пересказ приключений.

Вышел на улицу. В хатах все еще звенели песни. Что там опасность и бои! На зло врагам, сегодня на душе празднично. Жизнь требовала разрядки, и суровые воины теперь были просто веселыми парубками. Над Хоролом звенело протяжно, по-степному широко и раздольно:

Ой Морозе-Морозенку,
Ти славний козаче!
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче...

Прошла неделя. Туманчук как сквозь землю провалился. В ожидании его мы кочевали над Хоролом, и боевых дел, если не считать ловлю и ликвидацию беглецов с воетюка, у нас почти что не было...

Зато уж «эвакуированных» предателей попало в наши сети довольно. Благодаря им все отряды пополнились вооружением, почти каждый партизан обзавелся конем и седлом. Все было готово к продолжению рейда, но нас задерживали отряды, оставшиеся с Туманчуком за Киево-Полтавской дорогой.

Ради поиска их мы готовы были еще и еще раз перейти и железную дорогу, и автостраду, отправили на розыски Туманчука ходоков, большей частью из местных девушек. Пробираясь с хутора на хутор, они обследовали весь Гоголевский район; старики ездили в сторону Киева и Полтавы под предлогом менять соль или же навестить замужних дочек в Хороле, в Миргороде, в Решетиловке. Связные из Белоцерковки не проникли лишь в тайники канцелярии самого гауляйтера!.. И все же никаких сведений о нашем комбриге, о судьбе его спутников, к сожалению, не поступало.

Тщетными были и усилия радистов. Рискаю остаться без анодного питания, девушки не снимали наушников ни днем, ни ночью, но позывных Туманчука так и не услышали.

— Пропал, как снег весной! — сообщал Баранников. — И не то что колонны — ни конных, ни пеших, ни живых, ни мертвых! — Баранников расстегнул пояс и шинель. — Видите? Мокр — по самое некуда. Трое суток без отдыха. Только коней напрасно мучили — мокрецом захворали. И самому ни штанов, ни портянок не хватило... — Николай выругался. — Что, Михаил Иванович! Сколько еще с комбригом панькаться?

Инчин тоже раскипятился:

— Довольно бесплодных поисков. Замучил и я разведку.

— Конечно, — отозвался и Щебетун. — Комбриг за Днепром, а нас весенняя вода отрежет!..

— За Днепром? — обрадовался Анисименко, остро переживший за свою доброту, за всю канитель эту, которая произошла в результате его распоряжения — пустить Туманчука в середину нашей колонны. — Но как могло это случиться?.. Возможно ли, чтоб опередил нас он?..

Анисименко посмотрел на меня. Я не склонен был к такому неожиданному заключению, хотя пропажа Туманчука с тысячным отрядом конницы в густонаселенной

степи, где в любую сторону на пятой версте если не хутор, так обширное село, было поистине загадкой.

— У тебя, Коля, есть основания? — спросил Анисименко. — Или же ты просто догадываешься?..

— Удрал Туманчук! — отрезал Баранников. — Удрал и притворяется, что позывных не чует! Всячески увертывается от нас, и немцев не трогает, и следы скрывает... Комбриг за Днепром, на правом берегу, и больше разыскивать его не следует...

— Так... так... за Днепром, — раздумчиво говорит Анисименко. — Но я не могу допустить, чтоб он на такое отважился. Не думаю. Не поверю. Не те у нас данные о Днепре, товарищ Баранников, не те и предположения....

Баранников сердито сопел, затягивая отсыревшую плетку на рукоятке, и упрямо твердил свое:

— Споловинил колонну — заполучил этим бригаду... а на большее он и не рассчитывал... — Николай злобно стегнул плетью по голенищу. Последние слова кинул с едким сарказмом, упрекая меня и Анисименко.

И поделом: мы оказались слишком доверчивы, чем он и воспользовался. Иного предположить уже нельзя. Невозможно допустить, к примеру, чтоб Туманчука наголову разгромили и — что хуже — поголовно всех партизан уничтожили. Иногда теоретически такое допускают, если считать, что отряд небольшой и находится где-либо в отрыве от населения и блокирован. Практика, опыт, знание обстановки — все говорило о том, что невозможно истребить одним ударом несколько партизанских отрядов, невозможно допустить, чтоб население никого из партизан не спасло, ничего не знало о побоище.

Советские люди выручили б комбрига, помогли б ему найти своих, провели б не то что через Полтавскую железную дорогу, но через пропасти... Значит, не хотел пользоваться комбриг этой помощью.

Я снова обращаюсь к Баранникову:

— Был на шоссе? Как там? Что заметил?

— Днем стоят, а всю ночь гудят, как и тот раз, — пробубнил Николай. Разморенный теплом, он хотел одного: скорей кончить разговоры и уйти спать. Он тер пальцами обветренное лицо, красные глаза и, силясь припомнить еще что-то, добавил:

— Подсчитано, Михаил Иванович: проходит до двух дивизий в ночь, а если с самого начала, то уж не менее

как дивизий восемь прошло на Харьков... Да Кусачев точно знает. Спросите, он толком все расскажет.

— Кусаче-е-ев? — переспросил Анисименко. — Что ты, Коля, — ведь он за Полтавой остался! С Воронцовым...

— Что? Почему за Полтавой, когда я в Сагайдаке его видел!

— А ты не обознался, Коля? Может быть, это не Кусачев?..

— Как же! Днем позавчера разъехались. Я с хлопцами по дороге на Сорочинцы, а он еще с двумя по Миргородской дороге на санях ехали. Еще и рукой помахал, да спросил: «Куда, Баранников?..» Я ему сказал, как это он слишком отчаянно рискует... И хотел еще спросить, зачем семафор закрыл, когда все наши к станции в ту ночь подъехали?

Инчин тихо и протяжно свистнул, я уперся глазами в Мельника и видел, как проступали на его лице мелкие росинки пота. Спустя минуту он признался, что за суетой забыл сориентировать главразведку об уходе из соединения Кусачева.

Все мы виноваты перед разведчиками за это и все извинились перед Баранниковым, и он смущенно сказал:

— Теперь уж точно у Кусачева о Туманчуке спрашивать надо...

Пришлось разослать гонцов, узнать: не обитает ли Кусачев в каком-либо нашем отряде. Но его, конечно, там не было: он мог быть или у Туманчука, или же шпионить за нами...

Я отослал Николая на отдых и передал на радиостанцию текст очередного донесения. Содержание его характеризовалось словами Николая: «Ночью гудят, а днем стоят механизированные колонны противника...»

— А вы говорите — комбриг за Днепром!

Анисименко, читая мои догадки, произнес не без укора:

— Сначала взвод потеряли в степи, затем отделились харьковчане, а теперь чуть ли не три отряда... И кому приспело из кулака растопырку делать?..

Это был первый укор опрометчивости главштаба, первый упрек тем, что, не советуясь с нами, выделил Харьковский отряд, а вслед за ним и Туманчука.

В глубине степей, вблизи главных коммуникаций врага, объединение оказалось расчлененным, сильно ослабленным.

Ради чего нарушена монолитность объединения?

По-видимому, из желания иметь в Харьковской области советское ядро, свой центр партизанского движения. Благое пожелание, но... донельзя запоздалое! Воронцов простился со мною в тот день, когда части Советской Армии освободили последний город на западе Харьковщины — Богодухов...

Ради той же благой цели дали самостоятельность Туманчуку. Слишком преждевременную. Мы находились в сотнях километров от Кировоградской области. Предстояло еще преодолеть половину пути, пересечь не одну магистраль, форсировать Днепр.

Что делать? Меня тревожило прежде всего то, как оценят партизаны потерю почти половины боевого состава? Как отнесутся бойцы и командиры к перспективе форсировать в эту пору Днепр, преодолеть «днепровский вал», о котором доподлинно никто ничего не знал, но каждый успел достаточно наслышаться.

Слухи об укреплениях на Днепре упорно обсуждались во всех отрядах. Поговаривали, что неприступность их превосходит все до сих пор воздвигнутые линии обороны. Говорили также, что все население от Кременчуга до Днепропетровска выдворено из прибрежных сел и хуторов, что «днепровский вал» обороняет несметная сила: на хату — взвод, на село — дивизия...

Но если б только слухи...

Неведомо откуда у партизан появились фотографии, на которых были зафиксированы доты и неприступные форты с пушечными дулами, бронеколпаки, надолбы, эскарпы, прожекторы и зенитки, возле которых мордастые, в железных шлемах солдаты распивают кофе. У них лениво-небрежные позы, самодовольный вид.

Эти фото появились еще на Ворскле. Вначале им не уделяли никакого внимания, не затруднялись даже переводом готического текста на них, считая, что открытки изъяты у пленных или же убитых немцев.

Однако число этих открыток возрастало прямо пропорционально нашему приближению к Днепру. Причем непонятные прежде названия укреплений были кем-то аннотированы на русском языке.

Исчезновение Барановского, потеря кировоградцев и ямпольцев и нескольких подразделений других отрядов, «днепровский вал», — все это могло быть звеньями одной цепи, и, несомненно, первым звеном данной цепи был Кусачев, рыскавший где-то вокруг нас.

Тлела искра надежды, что мы ошибаемся в оценке ситуации и что Туманчук, может, поступил как-то по-другому...

Глава XI

К ДНЕПРУ

Когда степь, то ослепительно белая, то дымчато-серая или синевато-розовая, предстает перед тобой во всей своей красе, когда чувствуешь всю необъятную мощь ее и бескрайность, когда в сиреневой мгле угадываешь, а местами и видишь крутизну днепровских берегов, тогда невольно отдаешься созерцанию и думам...

Вон Псел налево, обозначенный косматыми вербами и вишневыми садами, вон сторожевые и могильные курганы. Дуплистые, с перекрученными узловатыми ветвями, грубокорые дубы. Им по двести лет и более!..

Два-три века!

Кто здесь проходил? Кого укрывали они от зноя, кому указывали путь в зимнюю непогоду? Куда шли, куда спешили те люди, которых давно уже нет?..

Казацкая вольница, гордые ватаги запорожцев?.. А раньше, раньше?..

Поколения прошли этой степью, как волны, сменяя одна другую. И гибли здесь, поливая землю своей кровью.

Дикие гунны. Печенеги. Половцы!

Тут проходили тумены монголов, оставляя после себя пожарища, разрушения...

Но могучая земля вновь и вновь рождала гордый, прекрасный народ, жизнь которого зарождалась и развивалась под звон сабель и грохот выстрелов. И борьба за Русь, за казачество, за веру бушевала из края в край, и потоками лилась кровь, и раздавались стоны пытаемых плененных...

Степь. Необъятная украинская степь!

Ты кипела в огне восстаний и в годы наших отцов и в те дни, когда против кайзеровских дивизий поднимались партизанские полки Боженко и Щорса. Спасая молодую республику Советов, они дрались на своих полях с Центральной радой, с бандами Добрармии и Директорией.

Сверкая лесом клинков, по твоим просторам пронеслась, как майская гроза, стремительная буденновская кавалерия...

Чем ближе Днепр, тем больше разговоров... Одних эти разговоры волнуют, других заставляют смеяться, третьих — глубоко задуматься. Словно во сне, промелькнули полтавские села и хутора с причудливыми названиями, и эти названия, как снежинки в пургу, мелькают, носятся в памяти.

Сколько их, этих названий, только за последние двое суток запомнились: Крынки, Зубани, Радоловка и Селище, напоминающие о Турбаивской республике XVIII века; Горбы, Жуки, Кулешовки, и Бугаевки; Шушвалевки, Шепеливки, Мозолевки и много, много других, рожденных трудом, радостью и горем.

Много слухов о положении на Днепре, но они настолько противоречивы, что их трудно связать одни с другими.

Но Днепр с каждым днем все ближе и ближе...

Ни распутье, ни слухи о грозных днепровских укреплениях, ни бои не могут удержать нас.

Колонна уходит все дальше на юг. С волнением ждешь возвращения разведки: что там, какие новые сведения поступят о противнике, о большой воде, об укреплениях...

Рыжевато-пепельная равнина без конца и края. Пока что она безжизненная, грязная днем и будто отлитая из чугуна — ночью.

Посмотришь на обоз — и сердце сжимается: с каким трудом измученные лошади тянут сани. Совсем нет снега. Только ночные заморозки затягивают льдом лужи, и лед под копытами коней хрустит, словно стеклянный.

Днем — грязь, ночью — ледяная кора над лужами, над почвой, как наждак, беспощадно сдирающий с копыт коней роговину, стирающий полозья саней, гулко звенящий от тысяч конских ног, от колес повозок, от прыгающих на неровностях дороги саней.

К полудню в степи совсем тепло.

Хочется лечь на возу и лежать долго с закрытыми глазами, чувствовать над собою безбрежное сияющее небо. А откроешь глаза, видишь одно: невыносимо медленное движение обозов, извивающихся бесконечной лентой.

Грязь, непролазная грязь.

Стоит слезть с саней и пройти несколько минут, как сейчас же высунешь язык от усталости.

Сани оставляют за собой два гладких широких следа. На лошадей жалко смотреть: они еле передвигают ноги, мокрая шерсть прилипла к ребристым бокам. В воздухе

расстилаются густые-прегустые клубы пара, висит тяжелый одурманивающий запах. Вот уже несколько дней лошади недоедают: в селах совсем нет сена — все выбрано оккупантами. Приходится распрягать выбившихся из сил лошадей и заменять другими. Те, что освобождены от повинности, не хотят отставать. Привыкшие за долгий путь к обозу, они плетутся вслед сутками, понуря гривастые головы, пока не прибьются к какому-нибудь двору на хуторе.

По нашим следам можно без труда дойти до конечной остановки: дорога усеяна обломками полтавских саней. Высокие, массивные, их полозья служат нам не более суточного перехода, чаще — одной ночи. Наждаком почвы они стираются, разваливаются и остаются в унылом поле...

Село Гриньки, как и все села Полтавщины, открывается сквозь оголенную поросль вишневых садиков выбеленными хатами. Хочется видеть полтавское село утопающим в садах, с большим спокойным ставом, с нависшим над водой верболозом, а на улицах встретить веселые толпы молодежи. И музыку Лысенко!.. Ведь в Гриньках его родина.

...Напрасно. Гнетущее безмолвие в селе, и полуразрушенный бюст композитора на майдане. Большинство жителей — старики. Взгляд — забитый, понурый. Не верится, что за полтора года оккупанты сделали этих людей нищими. Какой убогий вид у людей, которые еще совсем недавно были уверены в себе, в своем завтрашнем дне, знали радость труда, семейного счастья, радость всей великой Родины.

Только посмотреть на измученные лица, на нищенский вид, чтобы понять, как обращаются с людьми фашисты и полиция, как пригнуло честных тружеников горе.

Не верят, что приехали партизаны, о которых в этих местах даже не слышали. В первые минуты чуждались, сторонились нас, поглядывали с опаской и подозрением. Но ярче слов вот эти близкие, родные всем красные звездочки на шапках, которые где-то там, на далеком фронте, носят отцы, мужья, братья.

Нет, не сон это: приехали и вправду свои. Забегали женщины, весельем засияли глаза их, заскрипели колодезные журавли, задымили сизым кизячьим дымом трубы — готовили завтрак для партизан. И все, что имелось в хозяйстве лучшего, то, что пряталось от гитлеровцев,

выкладывалось на стол. И угощают, потчуют партизан, как самых дорогих гостей.

На глазах преобразилось село и люди. Куда делись печаль, забитый взгляд!

Давно здесь не было такой радости. Недостает только девчат и хлопцев — их угнали на запад, на каторгу.

До самого вечера в селе оживленно. И позже, встречаясь у колодцев, женщины поговаривали: уж не сон ли привиделся среди горя, нищеты и страха.

А мы уже далеко, несем еще дальше правду о своей Родине, ту правду, которую так старательно скрывают враги от наших людей.

Сегодня еще больше разговоров о Днепре. До него по прямой осталось километров семьдесят. Жители говорят разное, и каждый считает, что весть об укреплениях — чистая правда.

Установить истину почти невозможно. Одни, например, с испугом на лице рассказывают, что на том берегу Днепра полно немцев, что они строят укрепления. Другие с таинственным видом сообщают, что Днепр укреплен еще летом, что нам его не перейти. Но все утверждают, что из-за ранней весны уровень воды поднялся в Днепре небывало, что вода уже пошла по льду и разлилась широко, поэтому вряд ли кто из партизан сможет увидеть даже правый днепровский берег.

Последнее более походило на правду.

Положение создавалось очень сложное. Многим командирам и бойцам казалось, что мы опоздали с выходом на Правобережье Днепра, что до спада большой воды, то есть до наступления лета, мы не сможем выйти на Правобережье. Но командование соединения иначе расценивало сообщения местных жителей.

Пристально вглядываясь в глаза, в самую душу истрадавших, истосковавшихся людей, мы разумели их опасения по-своему: с одной стороны, люди не хотели, чтоб партизаны подвергали себя риску или же потерпели поражение на подступах к высокому правому берегу; с другой — эти люди, старики, женщины, детвора боялись снова остаться в одиночестве перед оккупантами. Люди не желали ухода с Полтавщины своих защитников и мстителей.

Вечером мы снова двигались дальше. Вот и последний переход к Днепру. Что нас ждет?.. Проводить специальную

разведку нет времени. Каждый час дорог — надо навerstывать упущенное, нагонять те пятеро суток, которые простояли мы на берегу Хорола.

— Не будь комбрига с нами — все вышло б иначе. И Полтавщину по снегу промчали бы, и Днепр вовремя перешли б. Наверняка, и в Чигирин уже вошли б, и на Каменной горе свой флаг поставили б, — сетовал Анисименко. — Эх, комбриг, комбриг! Не захотел воскресить славу Богдановых мест!..

— А быть может, на той Каменной горе он ждет нас? — сказал Инчин.

— Если б так — мы б ему еще один отряд придали. Места здесь исторические, знаменитые: тут родина Хмельницкого и великого Кобзаря, Черкассы — первая колыбель запорожцев — рядом. А главное — связи, подполье партийное у него в руках! Ох, как в Заднепровье они пригодились бы нам!..

Чувствовалось, что Анисименко не столько верил, сколько страстно хотел найти за Днепром комбрига, и это действительно для нас, изнуренных, лишенных даже военных карт, обремененных ранеными, было бы наилучшей поддержкой и выручкой.

Инчин шутил, что на Днепре нас ждет подготовленная переправа или же, по крайней мере, разведка комбрига Туманчука, а на том берегу если не распростертые объятия гостеприимного предводителя кировоградских партизан, то, во всяком случае, отвоеванная у гитлеровцев некая территория. И уж, конечно, там есть для приема самолетов чудесная посадочная площадка.

Мы ехали дальше. Мучительно длинной казалась эта последняя решающая ночь. Походная колонна гремела по застывшей сверху почве. Густой терпкий запах конского пота и самосада, раскуриваемого в рукав, висел в темном морозном воздухе. Никто не останавливался, не выезжал из строя, и даже кони, захваченные общим порывом, словно понимая ответственность момента, бежали без принуждения, как бы не ощущали той мучительной боли в стертых до крови копытах...

Близилось утро. Одна за другой угасали звезды, налево зарделось небо, уже видно было хрустящие под копытами и колесами лужи.

Начался песок. Голый желтый песок. Все волнуются — близок Днепр! Вскоре показались прибрежные кусты лозняка и безлистые вербы.

Бедные кони! С каким усилием тянут они даже пустые повозки и сани. Ноги уходят в песок по самые бабки. Партизаны устало бредут пешком. Некоторых лошадей уже совсем оставили силы... Измученных, их бросают на дороге...

Не верится, что проехали шестьдесят километров. Но уже видны рыбацьи хатенки да две-три высокие вербы на хуторе Чигирин-Дубрава...

Замедленно приближаемся к хутору. Все гуще и выше прибрежные кусты. Ярко-красный лозняк необозримо простирается в обе стороны.

Пока что вокруг спокойно. Вот как будто и Днепр... На песчаной дюне, которая возвышается среди багряного лозняка, видно всадника. Он, как бронзовое изваяние, как монумент, неподвижный... В седоке я узнал Кочемазова.

— Горжусь! — сказал он мне. — Горжусь, что не на стежке лесной оставляют конотопцы свой след, а в широких степях Приднепровья.

Обозы остановились на берегу, и все оживились. Даже раненые приподнялись в санях, привстали и всматриваются в синий простор. Синий лед, синяя вода, синее небо... Не понять с первого взгляда, что там: ледяной мост или же на чистом плесе волны...

И только пристально взглядевшись, видим взбухший, с глубокими темно-зелеными трещинами, серо-синий лед, по которому тут и там струятся то сверкающие сталью, то лазурно-синие потоки воды.

И куда ни глянь, лежала она, синеватая громада ледяной степи, холодной и уже приподнятой могучей силой весны.

Кто-то проникновенно сказал:

— Здравствуй, Днепр!

Забияка снял шапку и поклонился:

— Закованный ты, Днепр, в лед, словно рыцарь у латы, не хочешь ломать льда, чтоб не ходили вражеские пароходы...

— Вот он какой! Ого! — восклицают те, которые никогда не видели Днепра и теперь стоят перед ним очарованные.

— «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои», — начал Инчин, а мне думалось: «Сколько волнений, тревог и ожиданий связано было у нас с этой переправой. Сколько сказок и былин связано с тобой, Днепр, сколько

поэтических дум и песен сложено, сколько обмыто твоей волной раненых за тебя удалцов и сколько захлебнулось врагов в твоей пучине».

И хочется громко запеть, закричать, чтоб услышали на том берегу. И я уже слышу — поют. Это спустившиеся к реке бойцы передового отряда:

Враг напал на нас, мы ушли с Днепра,
Смертный бой гремел под горой,—
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он, как герой...

Анисименко вздохнул и незаметно для себя подпевал.

Я силюсь увидеть что-нибудь за Днепром, но правый берег, едва обозначенный лозняком, тонет в утренней дымке. В бинокль распознаю тусклые очертания сел Подорожного и Вороновки — тех прибрежных сел, где намечена наша дневка.

Тревожит вопрос: что там?.. Головной Эсманский отряд хотя и без обозов, но идет уже по льду: пешая колонна почти достигла середины реки. Но я все еще не решил, возможно ли переправлять главные силы, благоприятна ли на том берегу обстановка?

Инчин, угадывая мои сомнения, говорит:

— Тихо — значит, благополучно. Иначе не может быть. Глушь, внезапность, быстрота... Ручаюсь — там все, как надо! Баранников не ведет боя, и держу пари, что вижу Баранникова и с ним Грызлова. Вон, видите? Левей, левей от эсманцев на льду. Два всадника на сивых конях...

Но я не вижу, не нахожу их: серый лед, серые кони, белые, а теперь посерелые халаты, — все слилось. И лишь когда всадники показались среди красного лозняка, я по довольному лицу, по свободной осанке Баранникова вижу, что путь через реку свободен, что правый берег на этом участке не таит опасности. Умышленно громко, чтоб все слышали, кричу:

— Ну как, Николай? Вправду там неприступный вал?

Все притихли. Баранников издали, не придерживая коня и по-волжски окая, провозглашает:

— Какой вал? Прошел бык, навалял — вот им и вал!..

Как ветром сдуло усталость и тревожное настроение партизан.

Разразился хохот, раздались голоса одобрения и радости.

Сойдя с коня, Баранников подошел ко мне и уже без апломба, так чтоб не слышали другие, сказал:

— Как живой, как на опаре, лед.

Оказалось, что в сумерках, когда впервые переправлялись разведчики, утонул конь и что двое разведчиков едва спаслись, провалившись на рыхлом льду где-то возле того берега...

— Жаль коня до слез, а что делать — стихия! Затянуло его под лед. Роман с Коршком пытались было подползти по льду, да куда там! Сами едва не утонули. Мокрые, на хуторе пересушиваются...

Баранников окинул взглядом реку и горизонт.

— По всему видать — теплый день будет, а коль так, может, двинется лед. Уж верьте, Михаил Иванович, волжанину...

Слушая Николая, я вспоминал весну на родной Каме. Каких случаев не бывало там с запоздалыми ямщиками и пешеходами!..

Весной река коварная, порвав оковы зимы, она гнет и ломает лед, подмывает и подминает его под себя. Или же выжимает лед наверх, и тогда берегись, ездок и путник!.. Тебя подстерегают и надледные стремнины, низвергающиеся в промоины и трещины, и набухшие, с виду нетронутые и прочные, а в действительности слизанные водой, распадающиеся, крохкие поля, таящие под собой водовороты.

Я дал указание спешиться всем и начать переправу. Правый берег молчал. Чтоб не толпиться и не перегружать лед, отряды двинулись цепями.

Вот уже вступили на лед. Местами он отошел от берега и звонко ломается. Закипела вода под конями. Они скользят, оказавшись на льду, но сани идут легко или же плывут, будто лодки. И не понять, то ли по дну переходят лошади быстрину, то ли — по льду...

Но вот выбираемся на твердый лед, обходим трещины и вогнутые места с потоками зеленоватой воды и через час выходим насередину. Невдалеке багровый кустарник и едва приметный островок с копной сена. И уже побежали туда, чтобы набрать сена. Раздается треск, вижу, как проваливается Говоров, левой его барахтается в воде еще кто-то. Инстинктивно все отпрянули назад. Предостерегающие трещины, как молнии мелькают тут и там. Услышался девичий голос: «Мама!..» Я оглядываюсь и вижу, как по грудь в воде барахтается Валерия.

— Ну и холодная!.. Как крапива!..

Видимо, там неглубоко, девушка удерживает над голо-
вой радиостанцию.

— Снимай пальто! Выбрось оружие! — кричу я де-
вушке.

Валерия придерживается за оглоблю, поданную кем-
то, и налегает на кромку тонкого льда, приговаривая:

— Вот как можно отметить день рождения отца!..

Наконец все мы: Говоров, связные, радисты — на
островке.

Остальные с осторожностью продвигаются вперед.
Держа широкие интервалы между собой, люди и кони
заполнили всю долину.

Мокрые копошатся у сена. Чье оно? Все равно! Зажи-
гают, чтоб обогреть мокрых. Аня развязывает свой мешок
и подает Валерии запасное белье. Та задорно преду-
преждает:

— Прошу не смотреть!..

Говорову, который тоже побывал в воде, принесли ве-
щевой мешок. Вынув оттуда носки и ватник, он кидает
их к ногам девушки.

— Одевай скорей!

Я всматриваюсь в правый берег. Он пустынен. Кое-
где виднеются копны сена; побуревшие, омытые прошло-
годними дождями, конусообразные, они придавлены
сверху кольями, чтоб выюжный ветер не раскидывал
сено.

Тихо. Передовой отряд уже там. Ни звука, ни движе-
ния в селе Вороновке, словно все вымерло.

Анисименко тоже не отрывается от бинокля. Минуту
спустя говорит, будто себе:

— Днепр — рубеж важный. Переход его означает боль-
ше половины дела, почти все дело.

— Товарищи, братья, друзья по партии! — юлил, сто-
нал, всхлипывал человек в тонкосуконном пальто и ще-
гольской смушковой шапке. — Я не виноват, меня насиль-
но... Я такой же, как вы, большевик в подполье! Вот мой
билет...

— Ах ты, шкура! Гадина! — грозил маузером Баран-
ников. — Сволочь ты, а не большевик.

Ни Баранников, ни Козеха — никто не хотел смотреть
документы пленного бургомистра; его вместе с другими
гитлеровцами ввели в штаб-квартиру.

— Вот, вот он, мой билет, я по заданию райкома, по заданию партии!..

— Это по заданию райкома ты коммунистов перевешал, партизан и комсомолок казнил?..

— Наклеп! — заревел на всю улицу бургомистр. — Неправда!

Это был бургомистр из Новогеоргиевска, он припал лицом к сапогу, обхватил колени Баранникова. Николай закричал, содрогаясь от гнева и отвращения:

— Прочь! Руки грязные прочь! Червь, мокрец, вошь тифозная!

Он отшвырнул предателя.

К бургомистру подошел Козеха.

— Отвечай, кат, где в твоём районе отряды? Где партизанские группы, где их оружие?..

— Где райком Чигиринский? — допытывались партизаны. — На каких дубах, на каких перекладинах вешал?

Бургомистр упал на колени, к нему подбежала молодая женщина.

— Скажи, падлюка, где кости моего мужа, где кости моей матери, моего отца, где моя сестра, где мои дедушка и бабушка?

Предатель не смел поднять головы и взглянуть на женщину.

Ее увели. Это была одна из немногих, кому удалось скрыться от преследования бургомистра. Он выдал райком и все подполье Чигиринского района; как провокатор и тайный агент, он погубил подполье в Знаменке, в Каменке и Александровке.

Еще позднее этот выродок стал «связным» между черкасскими партизанами и... гестапо. После разгрома этого отряда, после провала и гибели еще многих подпольных групп и отрядов на Тясмине он был признан гитлеровцами и назначен бургомистром.

Вместе с комендантом, с полицией и с ротой солдат он поспешил на расправу, как только донесли ему о появлении наших разведчиков.

Предвкушая еще одну свою «победу» над партизанами, он не дождался подкрепления из Чигирина и выехал сам ловить и казнить партизан, как это было в последние полтора года.

И вытянул свой жребий.

Гитлеровцы были расстреляны среди песчаных дюн у села Подорожного, а раненый комендант, начальник

полиции со сворой приближенных и бургомистр сдались в плен партизанам.

Бургомистра постигла заслуженная кара, ему не помогли хитрые уловки.

Не удалось узнать у него ничего о Туманчуке, о переходе Днепра его отрядами. Бургомистр клялся головой, что никаких других партизан не бывало в этом участке между Кременчугом и Киевом.

И приходилось верить, ибо уж что другое, но выслеживать партизан умел этот хищник!

Обстановка была зловещей. Куда ни кинь — вражеские войска и сильные гарнизоны. В Смеле находился армейский штаб с зенитной и тяжелой артиллерией. В Кременчуге, в Черкассах и в Чигирине — две пехотных дивизии. Знаменский узел дорог, магистрали на Днепропетровск, Кривой Рог, на Николаев и Киев находились под усиленной войсковой охраной.

Напряжение предельное. В палате — ни звука, лица больных и персонала сведены страхом, их глаза, полные ужаса, прикованы к одной точке — к дульному срезу автомата, нацеленного на гитлеровца.

Только что перевязанный, он вытянулся на крайней, одиннадцатой, койке. Десятеро других больных лежат, натянув одеяла почти к бровям, но это не скрывает их молодого, «кадрового» возраста.

Не замечая ничего, кроме выпученных рачьих глаз гитлеровца, Коршок и Аня остановились подле его койки.

Кровавый след привел сюда Коршка. Гитлеровец отстреливался на песчаной дюне, но, убегая, был подстрелен, приполз к больнице, где его настигли партизаны.

— Куда ранен? — бесстрастно спрашивает Коршок, и молоденькая бледная сестра докладывает, едва шевеля губами:

— В живот ранение. Слепое, пулевое, с разрывами...

— О т в о е в а л с я, — отмечает Коршок и обводит медленным взглядом больных. — Их же пулей подстрелен, собака! — объясняет он и вскидывает немецкий автомат за спину.

В палате проносится вздох облегчения. Коршок вопросительно смотрит на Аню, а та, сузив презрительно глаза, говорит:

— Сам подохнет. Все равно рана смертельная!..

Круто повернувшись и не замечая меня в коридоре, они

покидают больницу; я вижу облегчение на лицах больных и персонала.

— Что это за люди, доктор, и почему все больные — молодые парни? — спросил я у главврача.

Это был седой, лет шестидесяти пяти человек.

— Видите ли... — запнулся он на полуслове, — в больнице лагерный лазарет... — и осекся.

В его глазах я прочел просьбу не расспрашивать при всех, и мы прошли в кабинет. Степанов плотно прикрыл двери, поправил занавеску на окне и только потом начал говорить:

— Благодарю. Вы нас спасли. Раненый безнадежен, но его казнь навлекла бы беду на персонал; неизбежно пострадала бы семья и сам я не миновал бы рук гестапо. Не говоря уже о наших больных, — Степанов понизил свою речь до шепота. — Да, да, и а ш и х!.. Почти все они с обмороженными конечностями, эти офицеры, командиры советские. Я умышленно положил к ним этого гитлеровца, чтоб еще раз отвести подозрение...

— Но почему именно у вас они собраны?

Степанов с трудом улыбнулся:

— У нас разделение труда: находил их и списки подделывал капитан Дмитриев. Он был переводчиком в Кременчугском концлагере и подбирал нужных людей на лесоразработки для здешнего лагеря, а лагерный врач — Шарашенидзе — ко мне в больницу направлял... Я лечу под охраной полиции и при удобных обстоятельствах «выписываю» за Чигирин, в чернолесье направляю... И эти тоже у партизан будут.

Степанов вдруг встревожился:

— Только, упаси бог, не сегодня, не сейчас. Ибо малейшее подозрение — и я жертва. Сегодня к вам перейдет капитан Дмитриев — он оставил Кременчуг и скрывается у меня в землянке, еще пошлю завхоза Васильева. Скажу, что в подводы угнали немцы, найду для этого свидетелей...

— Спасибо, но как вам удавались такие рискованные предприятия?

Доктор прищурился, я видел в его искрившихся молодостью глазах непоколебимую веру в то великое дело, которому он посвятил свою жизнь.

— Трудная задача, — ответил Степанов, — но выручает документ... — Он показал мне пропуск в Чигирин. — Достал за яички да сало.

— Вы связаны с партизанами? — И я прошу скорей рассказать об этом, мне представляются обжитые партизанами места, возможность точнее ориентироваться в обстановке, посадочная площадка где-нибудь в малодоступном для врага месте, быстрая эвакуация раненых, получение топографических карт и возможность найти Туманчука с отрядами...

— Был связан,— вздыхает доктор.— До осени, а потом оборвалось...

Степанов подозвал меня к окну. Из него виднелся обширный массив великолепного соснового леса.

— Позвольте сообщить вам,— указал Степанов на лес,— что давно уже в Крыловском лесничестве поселились комендант и рота солдат. Туда же стянули до сотни полицейских, и человек пятьсот харьковских рабочих, и из Кременчуга прислали столько же военнопленных. С ними и прибыл Шарашенидзе, тоже военнопленный.

Однажды встретив меня, он без обиняков предложил организовать партизанскую группу. Я почувствовал, что предложение его искреннее, и согласился. Затем он сказал, что если бы можно было подделать немецкую печать, он вызволил бы из концлагеря своего хорошего друга капитана Дмитриева. Мой завхоз Васильев сделал печать, состряпали и документ на имя Дмитриева, разрешающий ему следовать к месту жительства в Подорожное...

Степанов еще многое рассказал мне и благодарил за снисхождение к раненому гитлеровцу.

— Подумать, за что благодарю! — проговорил он.— Но иначе невозможно было бы продолжать тут работу, пришлось бы жертвовать семьей и последней возможностью приносить пользу нашим людям.

Из дальнейшей беседы с врачом я все выяснил о лесозаготовительной фирме. Она процветала, хищнически вырубывая заповедные леса в днепровской пойме.

Глава XII

НА БЕРЕГАХ ТЯСМИНА

— Ах мамкины дети! Мародеры, баракхольщики! — размахивал Ступич плеткой.— Что происходит у вас? В ранцах да в чемоданах шарите?..

— Дак то ж немецкое баракхло, а не хозяйское,— неуклюже оправдывался Андрейка и еще кто-то другой из

новичков, орудовавший вместе с ним в большой, освещенной парафиновыми плашками комнате.

Парни по-хозяйски забирали из чемоданов сигареты и вещи, а на кроватях сидело семеро полуголых фрицев. Искушение схватить стоявшее у стен оружие и проучить дерзких мальчишек, страх и стыд за беспомощность и беспечность боролись на физиономиях гитлеровцев.

Ступич сразу навел дисциплину: достал пистолеты и гранаты из тумбочек и с карманов шинелей, приказал сдать в обоз оружие, чемоданы, обмундирование.

Квартиру занял штаб Хинельского отряда.

— Хо-хо! — потешался Инчин. — Гансы убеждены, что за Днестром их порядок прочен. Даже ночью часовых не ставят. Ну! — обратился он к пленным. — Вэк, вэк! В костюмах Адама! — и показал на выход. — Откроем амбары. В селе тридцать тысяч центнеров зерна. Закроем выходы из села, водворим, други, на Тясмине наш, советский порядок!..

Среди ночи мы заняли Малую и Большую Андрусовку — два смежных села, разделенных живописным Тясмином. Желтоватые воды выступали из берегов, поросших склонившимися над водой вербами. Малая Андрусовка прижималась к лесу, Большая возвышалась на гористом берегу. Место казалось спокойным, глухим — пригодным для ожидания самолетов и для отдыха.

Но спать не пришлось: тут оказалась значительная группа патриотов. С их помощью хинельцы быстро нашли предателей и захватили врасплох вражеских солдат.

Пришлось знакомиться, заслушать отчет подпольщиков. Черкес Гвашев рассказывал:

— Что делал? (По-русски говорил он с некоторым затруднением). Немного делал... Из Запорожья бежал. У бабушки Маруси как родной сын проживал, приемник делал, Москву слушал, листовки писал, и другие помогали. В лесу полицаяев стрелял, сто девочка и мальчик домой отпускал, в Германию не давал...

Подумав, Гвашев добавил:

— Две пилы разобрал, детали в карман клал... Больше ничего не делал! — Гвашев развел руки, и в черных быстрых глазах его я прочел чувство досады за себя и за товарищей, опустивших в смущении головы.

Внезапность, с какой партизаны ворвались в село и убрали гитлеровцев, как бы пришибла Гвашева и его друзей, стеснявшихся теперь своего «цивильного» вида.

Анисименко, взглянув в бойкие глаза Гвашева и окинув взглядом его порывистую фигурку, заговорил:

— Молодцы! Хорошо работали! — и рассмеялся. — Как вспомню себя в подполье, ей-ей, не лучше вас выглядел, хотя и в лесном крае находился. Пока вылезли из того подполья, так едва всех не расстреляли, а у вас — нате! Какой отряд сохранили!

— Бери всех, с вами пойдем, больше сделаем! — оживился Гвашев. — Все согласны. Веди, дома никто не останется!

— Не сомневаемся, — сказал я Гвашеву. — Только люди и кони изнурены — трое суток без сна, в походе, а до утра, пока не ушли враги, пока не знают, что здесь мы, надо быть в Крыловском лесничестве...

— Мы поняли, — мы берем коней, привозим шефа, механиков...

— Не то, Гвашев. Можете не привозить. Необходимо электростанцию вывести из строя, тракторы, автомашины испортить. Бараки, казармы сжечь, распуснуть лесорубов, уничтожить лагерь...

— Ну, и эти... — добавил с усмешкой Анисименко, — электропилы...

Гвашев понял иронию:

— Ка-а-кой глупый! Какой неумный: портил деталь, а всю электростанцию не трогал!.. Теперь все правильно понял...

— Уничтожить техническую базу, фирму разорить, гитлеровцев вывести в расход, вырубку запретить. Делать вид, — напутствовал Инчин, — будто на работу приехали, сумеете обмануть охрану. Короче: я не сомневаюсь, что возвратитесь с победой и с оружием.

Спустя полчаса повички встретили гитлеровцев на двух подводах и разоружили их.

На рассвете центр событий переместился на Кременчугскую дорогу. По ней прямо через Андрусовку началось движение автомашин и обозов на Кировоград.

Снова добычей партизан с утра и до позднего вечера были разные «добровольцы», интенданты, штаб какой-то полицейской дивизии — ящики подписанных и с печатями бланков удостоверений. Эти сразу же нашли применение у разведчиков.

Вася Вертюченко тоже приобрел удостоверение, заполненное четким красивым почерком Инчина. Василек стал «на всякий случай» личным ординарцем начальника ки-

евской жандармерии — какого-то есаула Бунчука, которого прикончили на Кировоградской дороге.

— Запасайся, Василек, по ходу рейда и дядями. Ей-ей, не лишнее это на случай... Встретишься со сволотой — отрапортуешь: «Личный ординарец и двоюродный племянник есаула «икс» возвращается в свою часть из отпуска, который проводил у троюродного дяди...» Чтоб никакой сыщик не отличил тебя от полицейского, — инструкторовал Инчин моего ординарца.

В Андрусовку хинельцы пригнали много повозок, десятки машин, тракторы, а главное — раздобыли сотни три превосходных седел, кавалерийские клинки, коней. Большая часть партизан, включая взвод Гвашева, были полностью посажены на коней.

Вскоре появились связные из дальних сел — Снежковки, Вдовичина хутора, Чаплищ, Тарасовки. Это были представители уцелевших от гестапо подпольных групп и отрядов. Ивановецкий конезавод прислал связных с предложением принять 180 вооруженных бойцов, забрать для потребления откормочный свинопункт и двести голов коней. На это, как заверяли они, требовалось не более трех-пяти суток. Из Кировограда обещали передать в наше распоряжение весь автопарк — около сотни машин автоколонны «Тодта»; причем связные просили угнать «насильно» в партизаны нужных людей, чтоб избежать этим репрессий по отношению к их семьям. Для этого надо было, чтоб мы прошли через хутора и села.

— Вот где резервы! — торжествовал Анисименко. — Еще неделька без сна — и мы восполним потери!..

Вечером мы получили новое задание.

«Установите контакт с руководителями кировоградских партизан, со Скирдой и Туманчуком, оперирующими в районе Черного леса, в десяти километрах южнее Знаменки...» — так гласила радиограмма Украинского штаба.

— Вот оно что! — обрадовались мы. — Объявилась «пропавшая грамота»! Нашего полку прибудет. Коль скоро комбриг в здешних краях, то из Чигирина фашистов выкурим! И, конечно же, вместе начнем поднимать резервы...

Все мы почувствовали облегчение. Еще бы! Оборудуем эродром, отправим раненых, получим военные карты и бронебойные патроны. Отоспимся под крылом у боевого товарища! И тогда дальше, в следующую область.

— А может, помедлим с неделку? — предложил Анисименко. — Лесорубочную фирму добьем, дорогу на Кировоград закроем. Конями, седлами разживемся за счет «беженцев» и рабочих из городов в партизаны заберем!..

Однако, поразмыслив, что Кировоградщина — сфера действий Туманчука, а далее на юг все еще для УШПД — белое пятно на карте партизанского движения, мы двинулись вверх по Тясмину.

— Все же несправедливо отзывались мы о комбриге, — вздохнул Мельник, — а теперь и он выручит нас.

— Посмотрим, в каком виде у него Ямпольский отряд и эсманская рота, — заговорил Инчин. — Нельзя же быть таким... Провалился, точно в прорву, увел наших людей да еще не отвечает на позывные...

Ободренные доброй вестью о Туманчуке, отряды сметали на пути мелкие гарнизоны гитлеровцев и уже через сутки были на стыке Чигиринского района со Знаменским.

Только обдумывая и оценивая обстановку, в частности характер схватки у села Подорожного, вывоз врачом Степановым советских лейтенантов куда-то к белорусским партизанам, угон молодежи в Германию, возникало недоумение. Я не мог понять, как все это могло ужиться рядом с партизанскими отрядами Скирды, с бригадой Туманчука, уже имеющей солидный опыт и оснащенной прекрасным оружием...

Я пришел к выводу, что Туманчук разбит, подполье раскрыто и они нуждаются в нашей помощи...

Шумел чигиринский базар, тренькали колокола в церквушке, с Каменной горы спускались по лестнице группы эсэсовцев, а внизу, возле сверкающего на солнце Тясмина, сутились крестьяне; со всех сторон стекались к Чигирину люди.

Торг немудрящий: сахарин, «шнапс» из буряка, камни для зажигалок, горшки, кресала; за щепотку соды, за горсть соли, за бутылку керосина «новая держава» требовала яйца и масло; торговали только тем, что осталось здесь еще с довоенных времен, из райха на семидесятой неделе оккупации не поступило на украинский рынок ни коробка спичек, ни гвоздя, ни иголки, ни куска мыла.

— Говорили, материи эшелон в Смелу пришел, а до Чигирина автомашинами перевозят, а где они? — интересуется какая-то женщина.

— Держи карман пошире! Эсэсовцев в Чигирин перевозят!

— Для чего?

— Партизанская армия объявилась, бой на Тясминне великий был, на Чигирин та армия из Новогеоргиевска идет.

— А кто они, эти партизаны, какие?

— Да красные казаки... помолчи, язык прикуси!..

Невдалеке группа офицеров в черных блестящих плащах с пелеринами гогоча рассматривала старинный музыкальный инструмент — бандуру.

Вокруг начали собираться люди.

— Откуда они бандуру взяли?

— Не видишь, у деда Федота отняли!

— А чего зубы скалят?

— Дурню все смешно, что не понятно, да не им сделано...

Офицеры бросили бандуру старику, а дед Федот провожал их с базара песней:

Гутен морген, гутен таг,
Нету хлеба — будет так.
Были здесь большевики —
Все мы терли сирныкы,
Власть немецкая настала —
Все взялися за кресало...

Из-за плетня выскакивает мальчик и кричит:

— Фрицы по рядам шарят!

Оккупанты и в самом деле шли по рядам. Их сопровождал пороссячий визг, кудахтанье кур, тихая ругань крестьян. Унося трофеи, эсэсовцы оглядывались, а люди грудились вокруг деда Федота.

— Деда, сыграйте ту, что в Субботове в недилю.

— Ох, люди добрые, правду вам говорит старик: близко, близко наши...

Появились полицейские. Они приказали замолчать бандуристу и разойтись людям, но старик, не страшась угроз, пропел прямо в глаза полицаям:

Пане Гитлер, дайте мыла,
Бо вже воши мають крыла,—
До Берлина полетять
И всіх нимцив поедять!..

Базар одобрительно зашумел; полицейские схватили старика, начали избивать. Толпа глухо зароптала.

Бандуриста с окровавленным лицом вели через базар, а он издевался над гитлеровцами:

— Разбить можно горшок, а не народ!

Стиснутые людьми полицейские вынуждены были отпустить деда. Вскоре началась облава, но бандуриста гитлеровцы уже не нашли.

А через некоторое время и мы познакомилась с бандуристом, которого люди переправили к нам в село Матвеевку.

— Откуда такие хорошие да веселые хлопцы! Кто такие? — удивляется дед, а ему отвечают:

— Самарский!

— Архангельский!

— С Урала!

— Сумчане и полтавчане, от самых Брянских лесов народ собираем, дидусю, заберем и вас с собою!

— И киевляне! — улыбнулась радистка Валерия.

Глаза деда часто-часто моргают, блестят слезы, он потрясает кулаками:

— Врут немцы, что в России хлопцев нет! — И зарыдал. Его провожают в хату.

И вот уже звучат слова новой песни:

Тают снега на великих руинах,
Тучи по небу ползут.
Муки и слезы твои, Украина,
Сердце нам гневом пекут,
Сердце нам гневом пекут.

Дома остались пустыня и горе,
Цепью истерзанный шлях,
В ночь, как засветятся зори над степью,
Хлопцы, собирайтесь в лесах,
Хлопцы, собирайтесь в лесах...

Бандурист устало опустил голову.

Валерия подсела к старику и тихо спросила:

— Дедушка, вы сами сложили эту песню?..

— Не я,— так же тихо поясняет дед.— А дивчинка моя замученная и загубленная, онука моя, такая, как ты, умная да хорошая. Пусть будет ей пухом земля родная, а вы... — старик оглядел партизан, сжав крепко узловатыми пальцами гриф бандуры,— вам мстить за народ надо проклятым людоловам и людожерам! Вот, вот оно! — Старик бережно достал из-за пазухи тряпицу, развернул из нее полуистертый промасленный клочок бумаги.— Читайте, люди добрые, кровью написано!

Валерия вслух прочла записку:

— «Федор Родионович! Шлю горячий большевистский

привет Вам и всему партизанскому отряду. Я одна, оторвана от вас. Я сижу в кировоградской тюрьме, мне грозит казнь, но мне хочется бороться за Советскую Родину. Я работала с вами более года, а придется помирать — помру за Родину Советскую, за партию Ленина... Я прошу лишь не забыть детей моих, и чтоб они знали, что их мать боролась за их счастливое будущее до последнего...

Если имеете возможность освободить, то не затягивайте, дня через два меня не будет...

С приветом ко всем товарищам. *Ваша Саня.*

Помру честно, не выдам никого...»

Валерия опустила листок.

— Кто такой Федор Родионович? Кто те товарищи-партизаны? Они далеко?

— Федор Родионович Савченко — руководитель черкасских партизан. Ему не дошло это письмо. Он погиб за неделю до казни внучки. А пятого мая пали в неравном бою еще девяносто два его товарища. Осталось их девятнадцать, а на Октябрьские праздники и они погибли до последнего...

— Мы вас с собою возьмем, отец, — проговорил Роман Астахов. — Они еще узнают, что такое месть и ненависть. Я беру деда к себе, хлопцы!

— Не надо! — запротестовала Валерия. — Пусть, пусть он, как бы то сказать?.. — Она обвела всех взволнованным взглядом. — Пусть он бьет в дзвоны! Понимаете, когда пожар, бьют в набат — народ созывают. Всех! Всю Украину будем подымать.

— Правильно говорит она! — воскликнул Василек. — Она верно решает. Дед Федот будет набатом. Его люди не выдадут!

— Играй, диду, спивай громче про Саню и про нас!

— Нашли! Нашли-таки! — вбежал в комнату радостно возбужденный Василек. — В Холодном яру! Все девять живы, вот герои!..

— Кого нашли, кто герои? — не понял я.

— Партизан. Девять подпольщиков в Холодном яру. Полтора года выдержали. Солнца не видели, голодали!.. Да их уже привезли, живые!.. — торопился Василек высыпать все, что смог узнать и чем мог порадовать.

Итак, наши старания во что бы то ни стало отыскать партизан и войти с ними в контакт увенчались успехом.

Выполняя задание центра, разведчикам было сказано: отыскать местных партизан в Черном лесу. Умышленно при этом не говорилось о Туманчуке.

Десять суток день за днем искали, спрашивали всех и каждого, обследовали не только Черные леса от Чигирина до Знаменки, но буквально прощупали и Холодный яр, и все чернолесье от Субботова вверх по Тясмину, вплоть до Смелы.

И нашли! Их много раз искали немцы. Они взорвали и завалили входы в подземелья Мотроновского монастыря, выкуривали, но не смогли найти этих «схимников», а мы обнаружили...

Это была находка Коренского. Он сообщил, что в Холодном яру была задержана девушка Люба Федорова из лесного села Грушевки, которая и сопровождала Коренского со Стадником к подпольщикам.

Где-то в чаще Люба ударила палкой по дереву, после чего высунулся винтовочный обрез из-под пенька и показалось улыбающееся лицо:

— А, это ты, Люба? От десантников?..

Коренский опустил в подземелье, в котором ютилось девять человек. Все заторопились, чтоб поскорей увидеть своими глазами «партизанскую армию». И вот они в штабе соединения.

— Их надо опросить,— сказал Анисименко Мельнику.— Может, этот «дядя Ваня» и есть Скирда? И вся группа его — подполье Кировоградское?

Но, как выяснилось, это были окруженцы из двенадцатой армии.

— Значит, вы не подпольщики и не десантники?.. И не знаете никаких связных, кто искал бы вас и пытался руководить вашей группой? — уточнял Анисименко.

— «Дядя Ваня» в начальники был избран как старший по званию и по возрасту,— говорит Петя Насонов — молодой москвич, назвавшийся его заместителем.— Мы разоружили в Грушевке полицию, а затем организовали нападение на «мессершмитт», который стоял у станции Каменки. Сожгли его.

— Герои-таки! Герои... а не схимники,— похвалил Анисименко.— И сколько таких вот — по ярам, по ямам! И как их научить действовать? Для этого опять-таки сначала надо найти того, кто должен руководить ими, подпольщиками. Сложно все, трудно,— вздыхает Анисименко.— Ни подпольщики, ни десантники...

Я знаю: это он о Скирде, о десантниках Диброве и Дяюраке, которых никак не отыщем.

«И в скирде Скирды не найду, и в дубравах нема Дибровы...» — такую радиограмму сочинил было Мельник для генерала Строкача.

Радость находки не утешала.

Мы с Анисименко, — после того, как люди ответили: «Не знаем», «Не чулы», «Не было...» — пришли к единственно возможному выводу: Туманчука ни в Черном лесу, ни в Холодном яру нет и не было. Мы трижды донесли об этом в УШПД, но оттуда твердили свое: сообщали, что Туманчук радирует ежедневно в Москву и находится в Черном лесу под Знаменкой...

Это породило подозрения: не завладел ли враг шифром Туманчуковой радиостанции? Не ведет ли гестапо с нами игры? Подозрения усиливались еще и тем, что необходимых нам самолетов все еще не присылали. Готовясь эвакуировать раненых и разложив сигнальные костры, мы жгли их две ночи подряд на посадочной площадке. Но самолеты не прилетали. Из УШПД сообщили, что самолеты вернулись с полпути из-за дурной погоды. Предлагалось ждать снова, причем сигналы опознавания оставались прежние.

На третью ночь пришлось отказаться от самолетов. Наш аэродром разведали и начали обстреливать с бронепоезда.

Нельзя же было всерьез надеяться, что гитлеровцы оставят нас в покое вблизи такого важного транспортного узла, каким была Знаменка. Магистраль Берлин—Киев—Днепропетровск—Ростов являлась осевой дорогой войны, дорогой донецкого угля, криворожской и азовской стали, пшеницы, мяса, сала, сахара; и эта дорога шла прямо через Знаменку.

Мы уже знали, как охранялась и с каким огромным напряжением эксплуатировалась эта магистраль. Стоило появиться на путях хотя бы одному постороннему, как почти на всех телеграфных столбах зажигались красные огни, на перегоне поднималась тревога. По этой дороге шла важнейшая боевая техника. Но мы не смогли в те дни парализовать движение. И то, что боеприпасы не были доставлены нам самолетами, очень огорчало. Однажды это вызвало возмущение даже у сдержанного и рассудительного Анисименко:

— Уйти надо, пока целы!..

Мы поступили бы так еще на третий день пребывания в Чигиринском районе, но удерживало нас другое — напоминание начальника УШПД о том, чем гордился каждый наш партизан и что выражено было в радиограмме всего лишь несколькими словами: «Учтите, за вашим рейдом следят в Ставке Верховного главнокомандующего...»

Одно сознание того, что наш Степной рейд отмечают на оперативных картах главнокомандующего, что мы нужны тут Советской Армии, фронту, — одно это сознание прибавляло нам сил, помогало переживать все опасности, заживляло раны...

Со слов того же Туманчука, а также от Говорова, Мельника и других присланных к нам из Москвы, я знал, что еще прошлым летом УШПД десантировало в степи более сотни парашютных групп, но ни одна их радиостанция не ответила...

Положение в степных районах Украины, военно-политическая обстановка, состояние партийного подполья, партизанское движение в этих краях — все это неясно было для УШПД и, конечно, не могло не интересовать Центральный Комитет партии, генштаб и ставку.

Поэтому мы не могли оставить поиски Скирды и Туманчука и продолжали рейдировать от Знаменки до Смелы, пока не нашли «схимников», то есть до тех пор, пока не убедились, что разведчики и поисковые группы работали с предельной тщательностью.

Но разведал нас и противник. Дальнобойные орудия посылали на наш аэродром снаряд за снарядом. Каждые пять минут грохотал разрыв на посадочной площадке. Прием самолетов и эвакуация раненых были сорваны. К тому же успел прибыть из Киева отдельный полк СС «Бранденбург». Его механизированный отряд уже имел стычку с нами, мы задали ему между Субботовым и Матвеевкой солидную трепку. Но отряд не оставлял нас в покое. Он получил подкрепление и вызвал бомбардировщиков. Число раненых росло, боеприпасы истощились, радиопитание и шифродокументы — тоже. Экономя шифроленты, мы передавали в Москву лишь самое необходимое.

Казалось бы, ничего особенного — пробыть с десяток дней в каком-нибудь одном районе. Но это возможно лишь в горах и больших лесах. Совсем другое дело в безлесной, густо населенной местности. Тут нельзя оста-

ваться в одном районе, партизаны не должны лишать себя главного, на чем держится вся их жизнеспособность в степи,— маневра!

— Надо уходить, немедленно уходить из этих мест, перехватить инициативу врага. Но как быть с Туманчуком? Где он — несчастье наше? — вырвалось у меня.

Анисименко вдруг закричал:

— Я знаю, я понял, распромамкин он сын! Ей-ей, подлющий! И никак иначе! Отсидивается где-то в безопасном месте, развел вокруг себя минные поля, заставы, замуровался, как те «схимники», и доносит в Москву: «Руководжу партизанами за Днепром, КП держу в Черном лесу, в Кировоградской области...»

— Что ты, Иван Евграфович! Возможно ли такое?

— Наверняка так,— заверял Анисименко.— Вспомню одного жука, был такой в районе, еще после гражданской. Банды кое-где пошаливали в глубинках. И вот мой шеф, бывало, среди ночи звонит в обком, а нет — так на квартиру секретаря обкома: «Дмитрий Гаврилыч! Это я, Махренко. Из Дорошевец звоню. Собрание провожу. В селе ночью!»

А то село наиболее неблагополучным и глухим было. Вот так наговорит сорок бочек арестантов в обкоме, а сам на квартиру к жинке под бок!..

— Так легко ж было разоблачить его! — недоумевал я.— Обратным вызовом телефона...

— Эге! Он телефонистке наказ: «Кто б ни просил ночью Дорошевец,— включай меня, квартиру!..»

— Ловок, подлец! Но в какое положение мы попали! Пятеро суток на Хороле стояли, десять — на Тясмине. Ведь за это время уже были бы в Бессарабии или в Буковине. Сотням отрядов, групп помогли бы выйти из подполья на открытую борьбу...

— Вижу,— с горечью произнес Анисименко,— не только нас обманул Туманчук!.. Хотел бы я в ЦК партии, в Москве о нем и о тех, кто такое дело негодяю доверил, вопрос поставить...

Занимало нас и другое: с кем же мы по радио сносимся? Почему не выручают самолетами, не вывозят раненых, не шлют противотанковых патронов, шифродокументов, а главное — топографических карт? Еще в «Копайгороде» заверяли Мартынов с Дрожжиным, что снабдят картами.

Эх, партизанский командир! Все, что ни взвалится на

плечи твои,— неси!.. Знай суровую правду жизни, принимай невзгоды, как должно патриоту!

Мы долго не ложились спать в этот последний вечер в Матвеевке. Расшифровывали, изучали радиограммы УШПД.

Во-первых, начальник УШПД ориентировал Ковпака, Руднева и других партизанских командиров, сообщая, что Наумов с группой отрядов совершил рейд: Смелиж—Хинель—Сумы, правый берег Днепра, в южные районы Украины, где превосходно действует, и представлен к званию Героя Советского Союза... И этой оценке наших действий мы не могли не радоваться.

Вторая же радиограмма адресована была члену Военного совета армии И. С. Грушецкому, а копии — нам. Сообщалось, что Туманчук, повернув от Миргорода назад, уже через день соединился с нашим фронтом у Ахтырки и благоденствует с той поры в тылах сороковой армии и что УШПД просит генерала Грушецкого помочь комбригу перейти фронт и проникнуть в заданный ему район, то есть в Кировоградскую область!

Третьей шифровкой генерал Строкач сообщал комбригу, что отряды Наумова не разбиты, а вышли в указанный им район, что комбриг, не имея уважительных причин, боевого приказа не выполнил и будет отстранен от командования отрядом, предан суду, если не перейдет фронта и не войдет с партизанами в Заднепровье.

— Вот тебе связь, адреса явок, чтоб доверить раненых товарищей населению!— ухватился за голову Анисименко.— Мы опоздали с уходом в Андрусовские леса, чтоб укрепить там отряды, организовать и поднять новые...

Нам ничего не оставалось, как продолжать поход, чтобы оторваться от наседающих каждый день эсэсовцев.

Мы решили идти на юг, иного пути не было. На востоке гремела битва за Харьков, позади нас шумел многоводный, широко разлившийся Днепр.

Глава XIII ЗА КИРОВОГРАДОМ

Заиндевелая, скованная утренником степь. В блеклом свете луны виднеются молочные пятна перелесков. Ветви деревьев растопырены, и не понять в тумане: угрожают они или приветствуют усталых путни-

ков. Раздается гулкий грохот обозов на мерзлой дороге, топот конницы.

Множество повозок. Из отдушин в одеялах валит пар; свесив ноги, укрытые множеством одежек, сидят женщины. Это обоз с ранеными. Накрытые домотканым рядом, немецкой или венгерской плащ-палаткой, клеенчатым плащом, сгрудились бойцы, потерявшие во вчерашнем бою коней. Мерцают огоньки цыгарок, звякают на ухабах подковы, вскрикивают раненые.

Колонна пересекает какую-то широкую дорогу, возле которой стоят человек двадцать конных. Белеют изморозью на луках седел дырчатые кожухи немецких универсальных пулеметов, автоматы — наш заслон. С повозок соскакивают.

— Где едем, ребя?

— Первомайск, Новоархангельск рядом!

— Знаю, служил до войны.

— Эсэсовцев тогда не было?..

— Из-за границы выглядывали!

— Ну, а теперь они здесь. День не дают прожить без боя. Будь они прокляты, шакалы!

Разведка доносит, что прошли эсэсовцы. Много бронемашин и танков.

Навстречу трусит всадник. Мы узнаем Карманова. За ним — еще три всадника. Рядом с конем одного из них бежит человек без шинели. По сбившейся набок пилотке, по ловко пригнанному костюму на упитанной рослой фигуре легко узнаем эсэсовца. Обступили. Начинается допрос:

— С партизанами воевал, сволочь?

— Е, е, Краков, Прага, так-так!

— То там — так, а тут иначе будет!

Уже при полном рассвете останавливаемся в селе Шляховая.

Гляжу на пятикилометровку — не нахожу. Узнаю у хозяйки, где находятся районные центры. Впереди, километрах в двадцати, Новоархангельск, налево, на юг километров с полсотни, — Первомайск.

Бросает в жар: снова не выполнен намеченный план марша, значит, опять неравный бой, снова убитые, раненые...

Отсутствие подробных карт — наше главное несчастье. Колонна то и дело наталкивалась ночью на неожиданности, а я делал одну за другой ошибки. Они усугубля-

ются командиром авангарда, разведчиками, и в итоге вместо 50—60 километров по прямой мы делаем за ночь не более 30—40 километров по кривой, рассвет застигает нас на хорошо доступных противнику позициях.

Шляховая! Всего лишь сотни две изб, разделенных довольно глубокой балкой, с трех сторон гладь черных полей, с четвертой — рощица, рядом проходит шлях из Кировограда на Умань. Место невыгодное для нас и очень выгодное для противника. Конечно же, где-то вблизи есть лучшая позиция, но что делать, если командир не может руководить без карты, он попросту слеп без нее!

Так или иначе, мы вынуждены остановиться в Шляховой. Создаем круговую оборону.

Люди валятся, как снопы. Пока что тихо. Над рощей — лиловое солнце. Теплеет, начал подтаивать снег в балке, скоро поле обратится в болото. Это немного успокаивает: вода в балках, грязь на полях и на дорогах — наши союзники. Небесная же синева не радуется.

Я гляжу на розоватую мглу горизонта. Баранников, видя мое состояние, вздыхает:

— Ничего хорошего, Михаил Иванович, бомбежки не избежим, снова ждать в небе стервятников.

Николай подает мне бумажный сверток.

— Газетки, листовки, — говорит он.

Разворачиваю «Украинский голос». Привлекает внимание объявление:

«Кто известит полевую комендатуру о следующих злодеяниях:

- а) укрытие оружия, амуниции;
- б) укрытие советских командиров, красноармейцев, партизан;
- в) укрытие машин, частей к ним, — кто оповестит об актах саботажа, о планах восстания против немецких вооруженных сил и распоряжений немецких властей, о порче имущества, — тот получит награду 10 000 рублей.

Комендант города Кировограда генерал-майор Тарбук».

— Дешевка, — сплевывает Баранников, — по себе наших людей меряют.

Николай уводит коня под крышу. Я продолжаю просматривать бумажки, собранные в Новомиргородском и Новоархангельском районах. В них можно прочесть:

«Уничтожайте партизан и всех, кто им помогает! Больше всего вредят они вам самим. Кто допускает действия бандитов — сам бандит. О всех подозрительных лицах сообщайте немедленно местному германскому начальству, военным властям или полиции».

— Черти! — восклицает Баранников. — Неужели они всерьез бандитами нас величают?

Читаем другие бумаги — их подписал тот же генерал Тарбук, которого Инчин назвал «утюгом». Все бумажонки насыщены презрением, высокомерием по отношению к людям. А поощрялось только то, что противно характеру советского человека — подкуп, предательство и подлость.

Советские командиры и красноармейцы мерещились тарбукам повсюду. Они казались опасными даже здесь, в глубоком тылу, в тысяче километров от фронта.

Это ли не изобличение шаткости положения оккупантов, их тщетность укротить дух сопротивления оккупированного, но не покоренного народа?

Ненавидя оккупантов с их прислужниками, люди распространяли о партизанах фантастические вымыслы, сказочно преувеличивая наши силы и возможности. Здесь, между Днепром и Южным Бугом, благодаря народной молве, мы катились по степи сорокатысячной лавиной, мы были и кавалерийской дивизией, и красно-казачьим десантным корпусом, и партизанской армией неуловимого героя степей капитана Калашникова, и конной армией, прорвавшейся из Харькова для того, чтобы захватить Одессу, Кишинев и даже самый Киев.

Террор, все усиливающийся насильственный угон молодежи в рабство, разнузданное ограбление — все ставило этот край в положение, при котором затаенная надежда на возвращение своих поднимала дух народа. И грохот наших боев слушали люди как дивную музыку, и слово «товарищ» вызывало у них горячие слезы счастья. «Наши родные, наши дорогие...» — обнимали и целовали партизан.

Движение обозов, топот коней казались населению движением танков; наши успехи на Тясмине ходили в народе как сокрушение «днепровских укреплений»; освобождение нескольких сот пленников близ Знаменки и двух тысяч в Ворожбе рассказано было как восстание всего стотысячного Кременчугского концлагеря; расстрел из засады эсэсовского отряда под Крынками выглядел

как поголовное уничтожение целой дивизии. Эта молва, опережавшая нас на протяжении уже второй тысячи километров, ширилась и росла, она «обретала крылья» и не могла не влиять на умы людей, не взбудораживать все население от Десны до Черноморья, от Северного Донца до Подолии...

Просыпаюсь от сильного взрыва, грохнули цветы на пол, вылетела рама, пошатнулась вся хата. Выскакиваю через окно, и перед глазами... качающаяся роща. Бронзовый прошлогодний дубовый лист кружился надо мной вместе с ядовитым дымом.

Сбросив бомбы на рощу, самолеты начали обстреливать село из пулеметов.

Отдых, как и вчера, был сорван, но замысел мой удался: костры и часть обозов в роще — ложная стоянка, она приняла на себя основной удар и тем спасла село от бомбежки.

Расстреляв патроны, самолеты ушли в сторону Первомайска, но над рощей появились новые. И опять взрывы и треск.

Я пробираюсь задворками на КП конотопцев — это пегреб недалеко от рощи.

Группа командиров склонилась над самодельной картой и схемой обороны.

— Вот Журавка, — в ней нарвались на танковую засаду. Это Перегоновка, — тут столкнулись с эсэсовцами. Сидим, — говорит Кочемазов, — сидим на опушке, теперь надо держаться, уходить некуда!

Скользя по мокрому косогору, Галушка и его политрук Будаш идут к своей роте. Гудят «юнкерсы» над рощей.

— Иван, смотри, эсэсовцы! — резким голосом сказал Будаш.

— Да, они...

Томительное ожидание. Шестьсот, пятьсот, четыреста метров... Кто-то нерешительно предлагает начать, кто-то возражает, говоря, что огонь автоматов еще не будет достаточно эффективным.

— Подождем — могут и первые начать! — цедит сквозь зубы Будаш и снова молчит, а с поля уже доносится какой-то хриплый лай, галдеж, как от сотни гусей. Грохнули мины. Гитлеровцы приближались. Все упитанные, мордастые и в стальных шлемах.

— Меняй, Лобач, позицию! — Галушка не отрывает от глаз бинокля. — А минометы у них на бронетранспорте-

рах! — говорит он Будашу, который подле противотанкового ружья.

— Черт с ними!

Над цепями противника повисают две оранжевые ракеты, и мины перестают лопаться. Редает огонь пулеметов. Скучиваясь, враги бросаются к роще; правее нас к селу несутся бронетранспортеры.

По цепям партизан летит команда:

— Подпускай, подпускай!.. Не стрелять! Лучше маскируйтесь...

Первым справа лежит Туров, он крепко прижался плечом к пластмассовому прикладу «универсала». Левой вижю франтоватую мадьярскую пилотку Павловского, внизу — расчет «кинжального» «станкача» Самороки. С ним сестры Галушко и медперсонал.

Сто пятьдесят, сто метров до гитлеровцев!

Застрочил пулемет Турова, за ним отозвались другие пулеметы и автоматы, застучали немецкие «универсалы», венгерские и русские станкачи. Подкосили первую цепь эсэсовцев. Из-за кустов выскочил Галушка.

— За мной, ура!

Партизаны бросились в атаку. Справа показались броневики, партизаны залегли. Вперед вырывается Лобач, он в форме эсэсовского офицера.

— Не залегать! Не давай одуматься!

Лобач, Галушка, Туров, — они тоже во всем немецком, — за ними Будаш с бронебойным автоматическим ружьем снова бегут вперед. Трещат партизанские автоматы, мелькают приклады.

Грохочет противотанковое ружье; дымится броневик; три других повернули назад и, резко лавируя, спешат укрыться в лощине.

Я перебегаю на КП Кочемазова. В роще все еще лежит снег, темнеют разметанные сани, убитые лошади, ярко освещены изломы старых дубов, а вся роща залита ослепительными весенними лучами солнца.

В селе непонятно что делается. Горят сараи, хаты. С трех сторон вклинились и захватили отдельные дворы эсэсовцы. Я поднимаю бинокль и узнаю в мчащихся всадниках Пузанова, Ляха и моего Василька. За ними летит во весь опор пара моих серых, они без ездового, а следом скачет с больными и ранеными санитарный обоз.

«Костыль» снижается над мостом и кладет выстрела-

ми несколько лошадей. Это спасает раненых. Правда, восемь или девять подвод унеслись в открытое поле, в западню, специально устроенную для нас эсэсовцами. И нет никакой возможности ни остановить, ни повернуть их в этом дыму, грохоте разрывов и выстрелов.

— Что они, что делают! — услышал я отчаянные крики Петрикея. — Они на танки угнали Байдина и Халимоненко!

Заухал шестиствольный миномет, загорелось сразу несколько хат, разворотило ближайший ко мне дом. Взрывы мин, крики детей и женщин в погребах, винтовочная и пулеметная стрельба, лопанье разрывных пуль — все слилось в невообразимый грохот, потонуло в клубах известковой пыли у кудрявого темного дыма.

Укрывшись в единственное каменное здание — в школу, я вместе с группой хинельцев обстреливали эсэсовцев из карабинов. К школе начали отходить и недригайловцы, но противнику удалось отрезать школу от эсманцев. Все смешалось: и партизаны, и гитлеровцы. Враг озверел и лез врукопашную, нам же некуда было отступить. Сошлись вплотную. Мы не только видели пьяные лица, но, казалось, слышали, как несло от них перегаром.

— Возьми, Валюшка, автомат! Стреляй, пока я перезаряжу свой! — кричал Инчин.

Припав к подоконнику, посылаю пулю за пулей на бугор, в пулеметный расчет гитлеровцев. Они расположились возле хаты, высекают из моего окна кирпичную крошку. Но вдруг там взорвалась граната. Несколько фигур выскочили из окна, мгновение ничего не понять. И вот я уже вижу группу эсманцев, ликующего политрука Шеколдкина, его поблескивающие очки. Он кричит мне с бугра, машет немецкой пилоткой: «Фронт с хинельцами восстановлен!»

Еще, еще напор, и мы соединим линию обороны с конотопцами. Я покидаю школу, хинельцы бросаются за мной; вместе с эсманцами, недригайловцами наступаем, чтоб помочь Кочемазову. Бежим через балку. Падает за смертью боец Конотопского отряда Катя Кострова, уткнулся в землю комиссар недригайловцев Решетняк Иван и, как бы не желая расставаться с комиссаром, упал рядом с Решетняком начальник штаба недригайловцев Петро Сергиенко. Склоняюсь, поворачиваю к себе голову Решетняка: в глазах стекло.

Наконец, взяли бугор, достигли первой хаты, за ней еще ряд хат, саран, погреба. Из дыма высовываются головы Батехи, Толстыкина — оба в глине. Ребята орут во всю мочь:

— Стадников! Анатолий Иванович, Шеколдкин! Братцы мои! Свои, наши! А мы думали: капут в погребе!

На ходу поясняет Батеха:

— Выскакиваю из хаты, а вокруг немцы, чесанул, да за хату, а там тоже они, а патронов нет, мы в погреб...

— После, после разговоры, — обрывает Шиколдкин, — забирай трофеи: пулемет, гранаты, патроны, возьмите и касеты.

Тяжело дыша, мы перебегаем от хаты к хате. И вот — чистое поле. Что там? Поют? Да, поют «Интернационал» конотопцы. Встают в полный рост и поют. На поле горят три танка. Эсэсовцы бегут. В чистом и ровном поле их бьют пулеметчики на выбор, как зайцев.

Кочемазов, с крестами на офицерском немецком френче, в стальном шлеме, шагает впереди и, столкнувшись с озадаченными пулеметчиками эсэсовцев, стреляет в них из пистолета. Еще мгновение — и он повернул их пулемет, открывает огонь по гитлеровцам.

Закачался, как подпиленный дуб, и рухнул головой вперед комроты конотопцев Андрей Лебедь, падают почти рядом его отделенные командиры Атрохов и Богомолов. Лежит подплывший кровью и все еще поет пулеметчик Володя Роганов...

Но конотопцы идут вперед, они уже за линией горящих машин, враги отступают. Кочемазов, хромя, приближается и склоняет обнаженную голову над Рогановым.

«Победим или погибнем со славой!» — провозгласил командир конотопцев в решительную минуту, поднявшись, запел «Интернационал» и повел отряд в бой.

Смеркается. За рощей взвились зеленые ракеты: видно, у врагов — сбор. Редуют выстрелы. Нам необходимо как можно скорее уходить: опомнившись, гитлеровцы придут на поле боя, чтобы собрать убитых и раненых.

Предельно усталые, поредевшие цепи партизан еле бредут назад, к все еще горящему селу; вытянувшись, выдохнул последние слова «Интернационала» и смолк Роганов. Вблизи его сидела обожженная Тася. Она утратила способность ощущать, где находится, и по-детски, упрямясь, твердила:

— Я никуда не пойду, я хочу спать. Оставьте в поле...

Убитых обступила скорбная толпа партизан. Пришел Анисименко — весь день он находился при эсманцах. Окинув медленным взглядом погибших, он сказал взволнованно:

— Как сегодня, так и всегда, будем отстаивать социалистическую революцию!..

Инчин, пошатываясь, записывает в свой дневник имена павших. Он выводит: «Галимурза Петро — молодой полтавчанин, из группы Ляха; Богдашко Василий — 18 лет, коренной эсманец; Гвоздев Виктор и Ситников Иван — разбитные, веселые москвичи; старший сержант Кузнецов из Рязани; Марков Митя — из Горького и Скрябин Михаил из Кировской области...» Голоса товарищей подсказывают еще и еще новые имена: «Никифоров Андрей — с Алтая; Сухота Василий — из Архангельска; Федотов Аврам — сталинградец; Исеняев Алексей — из Пугачевска; Краснобаев Давид — из Читы...»

Кто-то назвал еще одного новичка, по фамилии Воронович, а кто-то добавил:

— Миша...

Лопатников и Петрикей тоже ведут записи и тоже едва держатся на ногах от переутомления.

«Ковальчук Иларион Зиновьевич», — пишет Лопатников, и мне представляется село Кучеровка близ Эсмани, которое почти полностью влилось в начале зимы в хмельскую армию...

Инчин трет виски концами закопченных пальцев. Он пытается вспомнить ускакавших с санитарным обозом конников. Он уже записал Ляха, Романа, Вертюченка Василька, ему надо записать и четвертого.

— Слушай! — обращается он к моему новому ординарцу — Самодову. — Скажи, брат, как по фамилии того разведчика, Сергея Пузанова?..

«...Ночь! Благодатная, спасительная, приди, укрой, выручи! Мы ждем тебя, синекрылую, таинственно-тихую, всегда благосклонную спутницу степных всадников!

Мы проскользнем смутными тенями, обманем врагов, уйдем в обход им и будем мчаться и мчаться, пока не вспыхнет первый луч солнца.

И тогда снова — бой и снова пытки считанного по минутам дня. И мысли: «Как выстоять? Хватит ли патронов?..»

Так писал однажды Инчин в своем дневнике, когда находились мы где-то между Тясмином и Южным Бу-

гом. И эти мольбы и тревоги отображают то гнетущее и до предела напряженное состояние каждого участника рейда, его ожидания, чаяния.

Идут тягучие, как резиновый клей, минуты. Сколько еще их до заветной неблизкой мартовской ночи? Обойдется ли хотя бы день без боя, без потерь и пожаров в родных гостеприимных селах?

Без четверти семнадцать, без пяти.

Ушли, наконец, бомбардировщики, и наступила тишина.

Бомбили в соседней Верделевке «своя своих» — сброд «беженцев». Их приняли за партизан. Досталось заштатным шефам и комендантам, всему их громоздкому, обремененному грабленным добром табору. Но радует нас не это, а надежда, что не обнаружили нас, что мы выиграли спокойный вечер и ночной марш. Хочется надеяться, что сумеем сегодня выступить на два-три часа раньше, уйти, оторваться от преследующих нас эсэсовцев. Но наш враг хитер. Он неутомим в преследовании. Обнаженная степь и авиация ему помогают. Мы прячем от самолетов не только людей, но и повозки, и лошадей. Где не хватает сараев, ставим лошадей в сени, заводим в хаты, — укрыться от глаз врага больше некуда.

И он знает это.

Чтоб не ушли днем, «подвешивает» с рассветом авиацию, чтоб ночью не уехали слишком далеко — навязывает бой перед вечером.

В 17.00 — ни минуты позже, обязательно ежедневно преследователи заявляют о себе выстрелами. Эти постоянные ожидания 17 часов, эти напрасные надежды на отдых подрывают нашу боеспособность не менее, чем сами ежедневные бои, чем бремя все возрастающего числа раненых.

И опять, как вчера, как все последние десять-пятнадцать дней, в 17 часов заговорила застава. За ней — вторая и третья. И уже доносится частый перестук четвертой.

Горит село, горят танки врага, гремит бой и час, и два, но далека еще ночь, — ох, эти предлинные весенние дни и короткие ночи! Как трудно дожить до вечера!

Долгие минуты и длинные пулеметные очереди. Почему наши не стреляют одиночно? И не берегут патронов?

— Проверить, еще и еще раз напомнить: пусть экономно стреляют! Только — одиночно, только в упор прямыми выстрелами! — кричу я Инчину, и тот отвечает с понурой усталостью:

— Проверено, — немцы! Это они запускают «на всю катушку», не жалеют для нас патронов.

Мы снова в кольце огня, уже горят дома на окраине, опять раненые.

И могильные холмы. Сколько насыпано их на тысячеверстном пути нашем?

В Глушкове и в Ободах Курской области, в Битице, в Мезеневке, в Великом Исторопе Сумской области, в Сагайдаке на Полтавщине, в долинах Тясмина и Сянюхи Кировоградской области насыпаны эти памятные холмы партизанам, но еще больше полегло гитлеровцев.

Не ужиная и не отобедав, выступили мы из Шляховой поздним вечером, оставив убитыми сорок два товарища.

Снова морозило: зябли руки, лицо, все тело, но еще больше морозило душу. Потери казались ужасающими, прибавилось много раненых, не хватало лошадей. О судьбе капитана Дорошенко и политрука Алферова с ротой Цыбулева, об угнанных в степь подводах с ранеными, о Пузанове, Васильке и многих, многих других не было никаких сведений. Баранников, возвращаясь в сумерках из разведки, видел вблизи Новоархангельска много машин, танков, слышал от людей, что во второй половине дня под селом Журавкой началась ружейно-пулеметная перестрелка.

Пятнадцать ночей в походах после небольшой передышки в Холодном яру, столько же дней в болотах измотали силы, окончательно подорвали боеспособность отрядов.

Спасти могла только действенная неотложная помощь. И в первую очередь — эвакуация тяжелораненых. От этого резко возросла наша маневренность, повысилась бы жизнеспособность отрядов.

До зареза нужны были карты и бронебойные патроны. Необходимы шифродокументы. Наличие карт и возможность управлять отрядами по радио позволили бы рассредоточивать при необходимости силы, позволили бы собрать их в кулак для новых ударов; мы могли бы стать более мобильными и стремительными...

Все будет там, южнее, как полагаем мы с Анисименко. Нам кажется, что, находясь в стороне от больших

дорог, Голованевские и Савранские леса будут той крепостью, которая послужит нам временной базой в Одесской области. Там наладим связь с одесским подпольем, установим контакт с местными партизанами; там найдется, конечно, поляна, пригодная под аэродром, и мы вызовем самолеты для раненых. А нет — за Южный Буг переправимся, освоим Савранские леса, выгоним румыно-фашистов из Савранья; к лету переправимся за Днестр, в Молдавию пойдем, Буковину поднимем против гитлеровцев...

Так грезились нам южный партизанский край.

Я еду на возу Анисименко, на мешках, туго набитых червонцами и казначейскими билетами. Они, как и раненые, подлежат отправке в Москву — на танковую колонну.

Чтоб внезапно войти в Голованевские леса, весь следующий день двигались по степи без привала. Звенели и пикировали над нами самолеты, снова бомбили, но рассыпавшаяся от горизонта до горизонта конница, полсотни шагов всадник от всадника, благополучно прошла Подвысокое, Перегоновку, многие другие села и остановилась в стыке Николаевской, Кировоградской, Одесской областей, в селе Грузкое.

Все туже затягивается петля. Все чаще и затяжней наши бои. Все трудней видется с командирами отрядов. Даже с Коренским не встречаюсь уже вторую неделю подряд. И вот представился удобный случай заслушать информацию Коренского, который с документальной точностью доложил:

— 8 марта. Остановились в селе Андреевка. Только расположились, как налетел самолет, начал бомбить и обстреливать. Сделал три налета. У нас прибавилось раненых.

По дороге в это село конотопцы освободили более сотни военнопленных. Эсманцами захвачено две машины.

9 марта. Стояли в селе Крымка, поймали несколько человек полицейских. Местной подпольной группе помогли кое-каким вооружением и боеприпасами. Пусть хлонцы действуют в Знаменке. Командира Куценко снабдили газетами и другой литературой. Я не успел позавтракать, как услышал: «Зовут в главштаб Коренского!» Помчался туда. Послали со взводом эсманцев усилить Хинельский отряд и организовать засаду.

На двое саней я усадил двадцать человек и пролетел к лесничеству, которое находилось у дороги, ведущей из Подлесного в город Каменку.

Ступич уже выставил посты и посадил партизана, знающего немецкий язык, к телефону. Вскоре раздался звонок из Каменки и комендант потребовал доложить: не слышно ли у нас о партизанах?

Ступич приказал доложить, что «бандиты», вероятно, в селе Подлесном. И чтоб его не убили, лесничий просит охрану.

Комендант пообещал прислать взвод войск СС.

Не успели пообедать, как раздался выстрел, а за ним пулеметная очередь разбила окно, у которого мы сидели.

Мы схватили оружие и выбежали во двор, где увидели на дороге, метрах в пятидесяти от нас, стоявшую крытую брезентом машину. Вправо и влево от нее лежали фашисты и усердно обстреливали усадьбу лесничества.

Мы открыли ответный огонь. Я стал за амбаром и, положив винтовку в замок сруба, бил на выбор по гитлеровцам, которые видны были как на ладони.

Ступич дал знак окружать, и я с группой хлопцев пустился перебегать через лесопитомник, чтобы зайти в тыл противнику. Продравшись через густую поросль, я оказался метрах в двадцати позади врага. Мы залегли в канаве и ударили ему с тыла. В этот момент атаковал гитлеровцев и Ступич. Он уложил офицера и человек шесть солдат.

Я считал убитых эсэсовцев. Их было двадцать семь. От машины уже тянулся в небо черный дым. наших было убито двое. Только успели мы собрать трофейное вооружение да отвезти погибших в Крымку, как со стороны Подлесного снова подошли фашисты. Там завязался бой, который вели конотопцы и недригайловцы. Пули прошивали усадьбу лесничества. Мы подожгли из ПТР самолет и две танкетки. К ночи противник отступил, и мы тоже оставили лесничество.

Хочу сказать и о Капитановском лесничестве. Там тоже было освобождено десятков семь военнопленных, а конвой был перебит.

10 марта. Стоим в рощице, похожей на сад, ждем критического момента — пяти часов дня. Ведь в это время ежедневно начинается бой. Сегодня наверняка не избежать боя, так как недригайловцы повторили наш

трюк с телефоном: захватили дежурного полиция, позвонили и вызвали на себя новомиргородского гебитс-комиссара. Сказали ему: «Зерно портится в коморах, и нужно прислать авторитетную комиссию».

Поверил, сказал: «Приеду сам».

И впрямь — подкатил к партизанской заставе на машине и с солдатней на двух грузовиках...

Финал такой: перекрестили всех из автоматов да пулеметов.

11 марта. Шляховая.

Изумляло меня в ходе всего рейда то, что при появлении любого количества врагов не было у нас излишней суеты и нервозности. Каждый отряд заблаговременно знал свою задачу в обороне и точно выполнял ее.

Люди, прожившие десятки месяцев в оккупации, вдруг видят, что сравнительно малочисленный отряд людей, уверенный в своей правоте и силе, побеждает спесивых завоевателей.

Появление партизан не может не влиять и на самих оккупантов. Оно подрывает в них веру во всемогущество немецкой военной машины.

Мы снова сражались весь день. Снова деловитое упорство и презрение к смерти победили. Тут сложило голову человек пятьдесят или сорок!

Не повезло и мне. Направили меня в рощу — распорядиться о завтраке для ездовых и коноводов. Я отправился.

Подойдя к роще, догнал двух партизан и вошел вместе с ними в дубовую чащу. И в это время сильно завывала сирена. Тут так рвануло вблизи нас, что вывернуло с корнем столетние дубы. Мы все трое вскочили в образовавшуюся воронку.

Когда послышался свист третьей бомбы, один из моих спутников не выдержал, выскочил из воронки. В тот же миг раздался взрыв, и партизан был скошен осколком. Весь мой путь к обозу эсманцев сопровождался обстрелом.

Дойдя до места, я застал только куски шинели да шапку-буденовку, по которым узнал, что тут погиб Нещерет Максим — мой ездовой.

Поняв, что наибольшее поражение бомбами происходит на склонах, я приказал, свести всех копей на самый низ балки.

Вот самолет делает разворот вдоль балки, начинают

стрелять пулеметы, я вижу, как отрываются бомбы. Трещат, стонут дубы, сотрясается наполненная страшным грохотом роща. Качается земля.

Так продолжалось весь день.

До меня донеслись звуки боя, то приближающегося к роще, то откатывающегося в село.

Перед заходом солнца проехал балкой Пузанов и от имени начштаба Дорошенко скомандовал ехать за ним. Я запряг пару лошадей и двинулся вслед обозу эсманцев.

Вырвавшись из Шляховой, мы проскакали километров пять полем и остановились у домика полевого табора колхоза.

Перед табором мы переехали речушку, где поверх льда катилась талая вода. Мои сани застряли, порвалась сбруя. Я вылез, бредя по воде, выпряг и вывел на берег коней. Потом перетащил на другую подводку миномет и припасы, а сам стал переобуваться и отжимать одежду. Связав и перекинув сапоги через плечо, я сел на лошадь и направился к скирде соломы, где столпились все остальные.

Чтоб согреться, я зарылся в солому и крепко уснул. Ночью двинулись дальше.

Ехали, часто останавливаясь в ожидании соединения, но никого не дождались. Стало очевидным, что капитан Дорошенко, ведущий нашу группу, и командир отряда Козлов не договорились о том, куда следовать.

Я пытался объяснить с Дорошенко, но ни с ним, ни с Алферовым, который тоже оказался в этом обозе, не смог встретиться. Они были в разведке.

Утром мы очутились в небольшом леске, Дорошенко с Алферовым снова выехали в разведку. Но Дорошенко вскоре вернулся. Вид у него был встревоженный. Не слезая с коня, он объявил, что мы окружены огромными силами врагов, что сопротивление бессмысленно и что выбираться следует, кто как сможет.

С этими словами он и его сопровождавшие ударили по коням и умчались.

Я не успел сказать ему ни слова, не был уверен, что он заметил меня среди ездовых; и только тут дошла до моего сознания вся непоправимость происшедшего.

Мысленно выругал себя за то, что не разобрался в обстановке, за нелепый отрыв от главных сил соединения.

Тронул лоб, и он показался мне горячим, наверное, я простудился и у меня был жар. Это он мешал думать и действовать.

Кто верхом, кто пешком, кто на подводах с ранеными — все устремились за быстро удалявшимся Дорошенко. Я вдруг оказался без лошади и совершенно один.

Увидев трех пеших партизан, обсуждавших, что предпринять, я присоединился к ним, но отстал: на мне были узкие немецкие сапоги с железными шипами, они скользили на ледяной корке. Кроме того, нарыв на ноге отзывался на каждый шаг жгучей болью. Расстояние между мной и партизанами все увеличивалось.

Вот задний из них бросил полушубок. Появилось на минуту и у меня такое желание — бросить шинель, но тут же я подумал, что подобное бегство не может продолжаться долго и тогда придется замерзнуть. Вскоре я потерял из виду троих и продолжал идти вдоль перелеска один.

Через некоторое время вышел на опушку. Передо мной открылось ровное, покрытое сединой инея поле. Оно протянулось километра на четыре, а дальше виднелся большой лес, вдоль которого шли телеграфные столбы.

Слева, приблизительно в километре, проходила профилированная дорога с небольшими рядами обычной посадки — акации; справа в балке, километрах в трех, тянулось какое-то село.

Выйдя из лесу, я снова увидел трех партизан. Они пересекли уже половину поля, скрывшись за большой скирдой.

Сзади я услышал треск валежника и оглянулся. По короне больших медно-красных кос я сразу же узнал Тоню Милову.

Узнав меня, она быстро приблизилась, заговорила о начштабе.

— Завел, бросил всех, скрылся, — возмущалась она, а я молчал. Она не знала, что я, замначштаба, не менее виновен в этой катастрофе.

Тут нас догнал Николай Дзюба. Он был на добром коне, и я попросил его забрать мою спутницу. Дзюба согласился, я помог Миловой взобраться на коня, и они помчались к видневшемуся лесу.

Затем мое внимание привлекли показавшиеся на дороге автомашины. Их было много, впереди шли

броневик и танк. Увидев их, я лег в борозду, приготовился к бою.

Но ни одна машина не остановилась и не было сделано ни одного выстрела.

Когда колонна прошла, я перебрался к скирде соломы и наблюдал оттуда за немцами.

Доехав до леса, гитлеровцы спешились и пошли на «проческу».

Не знаю, остался ли кто в перелеске, но на этом поле я был один.

Из леса донеслась редкая стрельба. Но вот наступило затишье. Нигде ни души. Я забылся в тяжелом сне...

Не знаю, 12 или 13 марта, я все еще в скирде. Ночь, я проснулся от холода. Над головой распростерлось небо, усеянное звездами. Кругом мертвая тишина, не нарушаемая даже лаем собак, несмотря на то, что вблизи село.

На душе у меня тоже холод и безнадежность. Мучает голод. Я проверил — у меня много патронов и заряжен автомат. Пойду в то село, которое видел еще утром.

На этом, наверное, кончается мое пребывание в партизанском соединении, где я был горд тем, что вношу и свой вклад в дело защиты своей Родины.

Теперь настал другой жизненный этап — это существование затравленного волка, ежеминутно ожидающего нападения и готового впиться зубами в горло врага.

Мой фонарик гаснет из-за недостатка энергии, возможно, дописываю последнюю строчку.

13 марта. На подходе к селу я натолкнулся на подводу и по хинельской запасной оглобле определил, что едут свои. В санях оказалось трое: ездовой и двое раненых. Они тоже потеряли отряд и медленно пробирались в темноте, надеясь найти соединение.

Я предложил укрыть раненых в селе до установления связи с соединением, и они с этим согласились.

Пришлось пойти в разведку. Только прибыл на окраину села — заметил что-то знакомое. Я вспомнил, что здесь позавчера дневал наш отряд. Это значительно облегчило мою задачу, и я быстро разыскал нужную хату, в которой жила большая семья колхозника Степана Петровича. Они радушно приняли тогда партизан, и взволнованный Степан Петрович, узнав меня, с готовностью согласился укрыть у себя раненых.

Он быстро спрятал их на чердаке в сене, а мне посоветовал пробыть день в соседнем доме у старушки.

Ездовой решил укрыться в поле, в скирде соломы.

Наступил день. В маленькое слуховое окошко я видел и поле со скирдой, и раскинувшееся в балке село, покрытое туманом. Взволнованная старушка, которую я просил выяснить обстановку, принесла страшную весть: немцы намеревались произвести облаву.

Из хаты в хату ходили большие группы гитлеровцев. За селом загорелась скирда, окруженная фашистами; но вдруг из пылающей в огне соломы затрещали автоматы, грохнули гранаты. Фашисты бросились бежать. Это была последняя схватка пяти героев-партизан. Вокруг сгоревшей соломы осталось лежать одиннадцать фашистских бандитов.

Вечером Степан Петрович тихонько поднялся на чердак. Счастливый, он взволнованно доложил, что все в порядке: жизнь раненых товарищей спасена.

Поблагодарив Степана Петровича, старушку и навестив раненых, я вышел в темную морозную степь, и — радость! — наскочил на меня поисковый разъезд Стадника!

Глава XIV У ГОЛОВАНЕВСКА

В полном изнеможении опустился я подле костра. Казалось, понадобись теперь спасти жизнь хотя бы движением пальца, не смог бы я сделать и этого.

Столь же обессилели неутомимые Ступич, Инчин, Самодов и другие. Еще в более худшем состоянии был Анисименко. Он даже не добрал до привала, а свалился в мокрый снег, едва достигнув опушки.

Окровавлены, посечены осколками, прострелены или же исцарапаны пулями были все мы десятеро. Вид наш был ужасен, всем требовалась срочная медпомощь. Мучительно хотелось пить и есть.

Через минуту, когда в моих глазах померк свет, я почувствовал сначала запах, а затем вкус самогона. Прильнув к дыре бочонка, сделал несколько обжигающих глотков, потом чьи-то услужливые руки уложили в мой рот кусок сала. И казалось, что оно само тает во рту, наполняя меня жизненной силой.

Ни хлеба, ни соли не было, я ел и ел сало, заливая глотками самогона. Это Батеха оказался моим кормилицей и нянькой в тот тяжелый час, когда обессиленный нечеловеческим напряжением, я походил на младенца.

— Не знал, что можно так пообедать...

— Народ знает! — ответил Батеха. Он сказал еще что-то, но я не слушал его и снова был во власти случившегося.

А произошло вот что. На рассвете, после приема радиogramмы, которой поздравил меня секретарь ЦК с присвоением звания Героя Советского Союза, мы готовились к завтраку. Получилось так, что отряды отошли в сторону леса на полчаса ранее назначенного срока, а штаб и командование с комендантской охраной продолжали оставаться в селе в своих квартирах.

В ожидании завтрака Митя Самодов стоял у окна, уткнувши глаза в зеленое озимое поле. И вдруг схватил бинокль, забормотал что-то.

— С наблюдательного поста от скирд, на полном газу!.. — вскрикнул, обернувшись ко мне. — Товарищ командир, на поле машины, немцы!..

Поднялась торопливая стрельба.

Мельник, набросив бушлат, сумку через плечо, бросился к двери, за ним Анисименко. Самодов подхватил мою полевую сумку, автомат, и мы выбежали из хаты. Крыша нашего дома, где находился наблюдатель, уже взялась огнем. Через дорогу, у хат, стояло два бронетранспортера. А с поля мчались еще две машины с автоматчиками.

Мы залегли. Сорок автоматчиков и несколько пулеметчиков взвода Ступича взяли на прицел немецкие вездеходы. Завязался неравный бой. С поля немцы подвозили все новых солдат. Соломенные крыши ближайших домов охватило пламя, запылала крыша сарая, в котором стояли наши кони, загорелись мешки с деньгами на повозке Анисименко. Самодов рванулся тушить, но я вовремя остановил его.

— Сейчас нам кони дороже миллионов! — кричу ему в лицо.

Я расстрелял, тщательно целясь, два дисковых магазина из ППШ, тем временем Самодов подвел коня.

«Прорваться к лесу, ударить оттуда во фланг фашистам, спасти взвод и штаб хинельцев...» — с этой мыслью

я вскочил на обезумевшего от пожара коня и пустил его через плетни, огороды.

Легко взяв несколько плетней, конь вынес меня в болотистую лощину и затем на пригорок за село. Там я повернул резко влево, к лесу. Две-три минуты — и я достиг бы леса, куда отошли отряды. Но по мне уже стреляли. Вот еще одна короткая очередь с крупнокалиберного пулемета. Я оглянулся — танк. Сейчас пули просвистели в трех-пяти метрах. Мелькнула мысль: «Пристрелялся...» В эту секунду очередь прощелкала так близко, что у меня зазвенело в ушах. «Еще мгновение — и он срежет меня!..» Мои руки уже на передней луке седла, ноги отбросили стремяна. Сильно рванувшись вперед, я вылетаю из седла. В глазах — веер зеленых искр, вертятся радуги. Вижу, как на фоне неба мелькнули четыре конских копыта, взметнулся густой хвост... Я приподнялся. Шагах в пятидесяти конь уже лежал мертвый...

Огляделся. До леса оставалось триста-четырееста метров. Крайняя хата была не далее всемидесяти шагов, я бросился туда короткими перебежками, но сразу же почувствовал, что меня снова обстреливают. Уткнувшись в сырую землю, я притворился убитым. Лежал в таком положении долго, пока не услышал знакомые голоса:

— Убит, убит капитан!

— И конь тоже убитый...

Невольная передышка вернула мне силы. Слегка приподняв голову, я увидел Самодова, Инчина, Анисименко и нескольких наших автоматчиков. Броском приблизился к ним. Краткий разговор. Выясняется, что силы противника намного превышают наши. Немцы обыскивают каждый двор, выгоняют из села жителей, что единственный путь отхода к лесу — чистое поле.

Нужна была помощь. Кого послать в лес? Связной должен передать приказание: прикрыть наш отход через поле...

Ступич взглянул на брата.

— Иван...

Тот не возражал. Спустя некоторое время он устремился короткими перебежками к лесу. То впереди, то сзади него вскакивают султанчики земли. Вдруг он судорожно дернулся и замер...

Все опустили тяжелые взгляды, как перед свежей могилы...

Поле смерти пытались преодолеть Павличенко,

Тимченко, Гура... Но участь всех постигла одинакова: они остались лежать недвижимыми на черном поле между селом и близким, но недосыгаемым лесом...

Спустя час к нам двинулись танки. Капитан Дмитриев бросился к ближайшему, держа противотанковую гранату. Взрыв... Танк завертелся на одной гусенице, а Дмитриев упал с отсеченной выше колена ногой... Еще сохраняя сознание, Дмитриев воскликнул:

— Пристрелите... Умоляю, не оставляйте живым врагу...

Говоров кинулся к нему, но тоже упал.

— Прощайте, товарищи, бейте проклятых, отомстите за нашу кровь!..— умирая от ран, кричал помкомроты хинельцев Андрей Толстой.— Возьмите мой автомат...

Другой танк приближался к погребу, откуда мы — Анисименко, Самодов и я — стреляли по гитлеровцам. Я резко отпрянул в сторону, Анисименко чуть задержался. Произошло то, что бывает в подобных случаях: танк послал в закрытую дверь длинную очередь. Осколки разрывных пуль впились в голову, в шею, в спину, в ноги моего боевого друга Анисименко. Подхватив его под руки, мы выбрались с Самодовым на огород, а оттуда к последней от поля хате.

Мое лицо, руки были окровавлены. Самодов получил ранение в бедро, правую руку и челюсть.

— Кто-то под гусеницы бросился,— докладывал он, отплевывая сгустки крови.— Не дал танку раздавить нас. Кто — не опознал, увидел, когда рвануло,— шепелявил Митя.

— Это Баранников был, Баранников! — по-мальчишески звонко, быстро заговорил Вася Богачев.— Он еще крикнул: «Все равно погибать, ребята!» — и бросился. Я был все время поблизости, вместе с ним мы десант ссадили с танка — ударили из двух автоматов.

Богачев подполз ко мне и, понизив голос, доложил:

— Он рвал на себе волосы, ругался, что не уследил и подпустил эсэсовцев к штабквартире.

Пристроившись поудобнее с автоматом, я стрелял по выбегающим из-за танка гитлеровцам, и некоторые из них, как глиняные, оседали на землю. Другие отползали за хату. Танк стоял метрах в 70 и не приближался. Время от времени он пронизывал глинобитную хату бронебойными снарядами.

Переведя автомат на одиночную стрельбу, я занял по-

среди маленького огорода яму, обвалившуюся по краям. Должно быть, картофельную.

Анисименко ничком лег в борозду и прижал автомат к окровавленной щеке. Вскоре подбежал Ступич и стал возле одного угла хаты. К другому подполз Инчин, Самодов лежал рядом с Анисименко, и я видел, как он, залепив глиной рану, перевязывал тряпками руку. Человек шесть или семь бойцов лежали между грядок кукурузы. Вдали, там, где была штаб-квартира, слышна была перестрелка — кто-то упорно бился с гитлеровцами в одиночку.

— Возьмите мой автомат перезарядите, — прощамкал Митя. — Если еще добавят — приштрелите.

Перезарядив свой и зарядив его автомат, я ответил:

— Освобождаю тебя, Митя, от обязанностей. Спасай свою жизнь, уходи отсюда!

Самодов отполз в сторону, подобрал пистолет убитого связного и возвратился.

— Не уйду. Я комсомолец, — заявил он и сел возле меня в яме.

— Ложись, ложись, Митя, — просил я его, не ослабляя наблюдения за окнами хаты и тревожась, чтобы гитлеровцы не проникли в нее: оттуда легко было перестрелять всех нас.

— Отходите, товарищ командир! Здесь больше невозможно оставаться.

Я не слушал его, следя то за одним, то за другим углом хаты, за поведением танка, стоявшем, как на приколе, вблизи хаты.

Инчин, осунувшийся, бледный, стоял с пистолетом в левой руке. Правая, с автоматом, опущена, — по-видимому, нет патронов. Ступич держит второй угол. Мне видно его сосредоточенное спокойное лицо, чуть прищуренный глаз. Его холодную решимость не поколебать ничем. Ступич расплачивается с врагом за товарищей и за братьев. Он бьет короткими, но точными очередями, на выбор.

Гитлеровцы начали бросать из-за углов и через крышу гранаты. С длинными деревянными рукоятками, они падают возле нас с Самодовым и Богачевым, а мы отшвыриваем их в стороны, где они как-то глухо и, кажется, безвредно лопаются.

Так, жонглируя немецкими гранатами и отстреливаясь, мы держались еще довольно долгое время. Ильин Вася

ловко забросал гитлеровцев последними гранатами, расстрелял в них два магазина из ППШ и тем улучшил наше положение.

Гитлеровцы отбежали к другим хатам, а ту, за которой мы укрывались, начали еще интенсивнее обстреливать из танка. Я видел, как развернулась в нашу сторону башня, как, дымя густым белым дымом, загорелась наша хата — последний очаг нашего сопротивления...

Сильно тошнило от голода, от угара или же от сознания неизбежной, неумолимо надвигающейся гибели именно сегодня, в праздничный день, когда присвоено звание Героя...

До чего же капризное, непостоянное счастье война!

Казалось, ничто уже не спасет нас, что через каких-нибудь полчаса, самое большее — через час, все мы будем уничтожены на открытом бугре или же сами вынуждены будем пристрелиться, чтобы не попасть живьем в лапы гитлеровцев.

Я отшатнулся, увидя, как рука Инчина медленно поднималась с пистолетом к виску...

— Отставить, Инчин! — скомандовал я так, чтоб перекрычать треск разгорающейся кровли. — Приказываю!..

Не опуская пистолета, он недоумевающе обернулся. Я встретился с его тупым взглядом.

— Опустите оружие! Рано еще, рано!

Ступич двумя прыжками оказался возле него и властным движением пригнул руку Инчина к бедру. Он вывернул из руки Инчина пистолет, мгновенно перезарядил его автомат и вложил выпавший пистолет в кобуру.

— Рано, товарищ, рано, — твердил я, боясь, чтоб не вздумалось еще кому-нибудь предупредить события: у каждого еще оставались заряженными пистолеты, хотя все запасные магазины автоматов были опорожнены...

Солнце клонилось к закату, но все еще ярко освещало лес и эти 400—500 метров поля, усеянного трупами бойцов. Мы все еще надеялись, что ударят из лесу наши товарищи, появится, наконец, та соломинка, за которую ухватимся мы, утопающие. Тошнота мешала мне сосредоточиться, принять какое-то решение. И вдруг я подумал, что действительно нам остается одно, чтобы спасти честь: стреляться!

Я вынул из-под полы «Вальтер» и карманную гранату. «Откажет пистолет — подорвусь», — подумал я, но в эту

минуту повалил густой дым, и за ним уже не видел я ни танка, ни горящего села. Я зашелся от кашля.

Кто-то кричал на меня, крепко изругал, чья-то сильная рука подхватила под мышку, поволокла, и я чувал, что не слушались мои, по-видимому, сильно ушибленные при падении с коня, ноги. Помню еще, что, вылезая из ямы, я тянул за собою оба автомата, полевую сумку и что за это еще раз был награжден крепким, произнесенным сквозь зубы словом.

И только на середине поля, когда белый дым поредел, я увидел справа от себя Самодова. Держа меня левой, здоровой рукой, он всем корпусом валился вперед. Помогал ему Ступич, поддерживая одной рукой меня, а другой Анисименко. Позади, понурившись и тяжело дыша, месили липкий чернозем остальные: Инчин, Ильин, Митя Гончаров и его жена Мотя Шило — едва ли не единственные выжившие из всего комендантского взвода...

Замыкал шествие самый маленький ростом — Шаповал Роман, ординарец Анисименко, и самый юный из автоматчиков Вася Богачев.

В сотне шагов от леса снова запели вокруг нас пули. Зататакали отдаленные выстрелы. Мы ускорили шаг. Остаток пути до леса и первые сотни метров в лесу я уже мог двигаться сам и поддерживать обессиленного Самодова.

И вот чудом спаслись.

Мы в лесу!..

Аня дремала, когда Лобач со взводом вышел на площадку для посадки самолета, которая находилась в сотне метров от лесниковой хаты. Приятно было лежать между стеной и теплой печкой. Ей снилось, будто она снова в Эсманском райисполкоме над кассовой книгой... Дремала и слышала голос Тхорикова. Он все время крутит ручку телефона и вызывает какой-то Голованевск:

«Алло, алло! Голованевск!»

Сначала Голованевск не отвечал, а Тхориков все твердил чьим-то знакомым голосом «алло» и просил, чтоб соединили с комендатурой. Аня поняла не сразу, для чего нужен был Голованевск? Зачем комендатура?.. А тот настойчиво вызывал, переспрашивал: «Комендатура? Прошу включить коменданта!.. Говорите, спит? Но звонит «У-70». Да, да! Только лично, и необходимо немедленно. Доложите: звонит «У-70».

А когда Аня проснулась, ее будто подбросило. Вспомнила, где находится.

Глухой лес, одинокий дом лесника, столь же одинокий, прячущий глаза лесник с будто приклеенной бородой, вышедший к партизанам...

Аня быстро встала, надела через плечо сумку с радиостанцией. Сознание лихорадочно работало: «Голованевск?» Это же в Одесской области! Лесное место, куда пробиралось соединение, чтобы там принять самолеты из Москвы. Радистке ли не знать о таком намерении командования!..

Принять боевые грузы, эвакуировать раненых, получить шифродокументы и питание для ее, Аниной, радиостанции — вот что такое Голованевский лес и Голованевск!

Все эти мысли пронеслись вихрем. Сон улетел, Аня прильнула к стенке. Вкрадчивый голос, казалось, доносился не то из-под пола, не то с чердака. Он хотя и был знаком, но не казался уже голосом Тхорикова. Говорил кто-то другой, внушавший неприязнь и смутную тревогу.

Успокаивая себя, Аня подумала: «Быть может, обычный прием наших партизан, чтоб разыграть, спровоцировать коменданта». Но тут же отбросила эту наивную мысль — она вспомнила, что телефон был обрезан, дом пуст и ожидаются самолеты. Поэтому никто не мог бы вызывать по телефону гитлеровцев.

Телефон снова загудел. Аня определила на слух место, где он был подвешен. Спустя минуту, она убедилась, что аппарат прикреплен с той стороны стенки. Аня увидела даже проклюнувший стенку кончик кронштейна.

— Докладываю,— послышалось из-за стенки.— «У-70». Наблюдаю, ориентирую. Северная окраина Станиславчика. Да, северо-западная. Шестой дом от леса. Повторяю — шестой. Да-да, командный пункт — в шестой хате.. Достоверность безусловная. Точнее не может быть!

Далее говорилось что-то о численности, о моральном состоянии и вооружении партизан. Аня не во всем разобралась, ибо говорилось по-немецки. Но она с предельной ясностью поняла, что подслушала разговор шпиона.

Не задумываясь, насколько это будет безопасно для нее, с карабином в руках бросилась она в прихожую комнату. Там, при свете зари в открытых сенях, она в упор встретилась с наклеенной бородой, с наглым взглядом зеленоватых глаз Кусачева.

От неожиданности у девушки закружилась голова. Но все-таки она гневно выкрикнула:

— Я еще ночью провода обрезала!..

Кусачев захохотал.

— Ха-ха! А я подключился к подземному! — злорадствовал он. — Как в Мезеневке... на квартире Барановского!..

Карабин выпал из рук радистки.

Кусачев схватил ее длинными сильными руками, жесткой приклеенной бородой прижался к лицу девушки и лихорадочно зашептал:

— Уйдем со мною, пока не погибла, не пропала даром! Сдашь шифры, укажешь посадочную площадку — будешь вольной птицей и моей подругой!

Жесткие обветренные его губы впились в Анин рот. Она, изловчившись, выскользнула ему под ноги и вмиг оказалась за порогом.

Не разбирая направления, она бросилась в лес. Стук дверей, топот по ступенькам, брань и угроза стрелять преследовали Аню на поляне, а в лесной чаще одна из пуль, выпущенных Кусачевым, настигла ее. Однако Аня еще долго бежала, пока, потеряв силы, не упала на сыром снегу под красным кустом калины.

Друзья по взводу все это не знали. Лес наполнился гулом боя в Stanisлавчике, и весь взвод развернулся на краю леса для обороны.

На Аню наткнулась одинокая подвода старшины хинельцев Виктора Жарова. Сам он был с двумя бойцами, тоже раненый.

— Анютка!.. Радисточка наша, ты чего тут? — соскочил Жаров с саней. — Неужели ты одна, бедненькая?!

Хоть синяками зашелся лоб, запеклось кровоподтеками все лицо и слиплись от крови черные волосы, хоть под распухшими губами не хватало зубов и на окровавленном рушнике висела левая рука, коричневые глаза Жарова исторгали тепло и ласку. Он был таким же веселым, с грубоватым хриплым голосом и темно-бронзовым, как у Баранникова, лицом, простой и сердечный хлопец Жаров.

— Эх, девка! Разнесло ж твою ноженьку. Что тут глядеть, сейчас распотрошим голенище ножиком...

Позже Аня припоминала: еще до того, как подоспел Жаров, из-за деревьев показался Кусачев. Склонившись на миг над смертельно бледной радисткой, затаившей

дыхание, он раскатисто захохотал, потряс лямкой Аниной радиостанции и исчез в лесных зарослях...

Подкрепившись, я потянулся к костру, чтобы как-нибудь оживить потухающий огонь, и заметил кучу пепла: это были остатки сожженных документов. На снегу валялись обрывки почерневших по краям бумажек. Я вопросительно посмотрел на Мельника. Он сидел на корточках, не решаясь поднять на меня глаза.

— Мы,— несмело начал Мельник,— вынуждены были уничтожить документацию штабов. Мы совещались. Все говорили, что вы и Анисименко погибли; и комиссаром соединения объявил себя Тхориков.

— Тхориков? — вырвалось у меня.— Он уцелел? Какие они, тхориковы, живучие!.. И почему Тхориков? Ни Петрикей, ни Щebetун и ни кто-нибудь из конотопских подпольщиков?

Мельник виновато опустил глаза и уклонился от прямого ответа.

— Условия необычны, растерянность,— продолжал он,— на всех просеках — танки, из Винницы, из Гайворона стянуты немецкие и румынские войска — об этом рассказывали пленные из 15-й пехотной дивизии... Я молодой партизан,— добавил,— а Кочемазов не смог бы командовать — у него почти что не осталось ни вооружения, ни отряда...

Не согласившись признать Тхорикова комиссаром соединения, ушел начштаба Конотопского отряда Грищенко и увел с собой лучших бойцов, забрав все автоматическое вооружение. И уже поздно было его вернуть, он был, конечно, далеко, если не стал где-нибудь среди поля добычей вражеских бронетранспортеров и танков.

Я видел, что Мельнику было и стыдно, и больно за свою нераспорядительность, за малодушие. Пряча виноватые глаза, он сообщил, наконец, самое страшное:

— Мы оказались вынужденными сжечь и списки...

— Что? — не понял я вначале.

— Полностью все списки партизан,— уточнил Мельник, и это меня ошеломило.

— Зачем? — только и мог я выговорить, чувствуя, что наливаюсь неудержимым гневом.

Лицо Мельника взялось белыми пятнами, а длинные ресницы часто-часто заморгали.

— Мотивировали, знаете, зачем подвергать родственников...

— А списки погибших, пропавших без вести,— скрипнул зубами я,— отставших, заблудившихся, окруженных?.. Честь их семей тоже в огонь бросили?..

Большие, выразительные глаза начальника штаба полны раскаяния и боли; обгоревшие бумаги в костре сказали мне то, что уже не решался произнести Мельник... Ярость закипела во мне. Гнев, обида на начальника штаба, на командиров.

— Что вы наделали!.. Бросили командование на растерзание врагу, не пошевелили даже пальцем, чтобы помочь! Списки на кострах сожгли!.. Быть может, бросите теперь еще раненых и больных?! — Я не помнил себя от гнева, рассудок помутился, и я видел только укоряющие глаза бойцов, вверивших свою судьбу, честь родных и близких нам, командирам, руководителям партизан, видел лица тех, которые пришли к нам во время рейда, тех, которые освобождены были из застенков гестапо, из концлагерей.

Я помнил эти лица, знал многих бойцов по имени, но если они убиты или, отстав от соединения, пропали без вести, кто сможет припомнить их анкетные данные и адреса? Кто и как сможет восстановить уничтоженные списки? Выслать родным похоронные? Избавить отца, мать, жену, детей от напрасных, незаслуженных укоров?..

Это безумие, случившееся в Голованевском лесу Одесской области, произошло из-за неопытности моего начштаба, из-за подлости Тхорикова. Как и в Хинельском лесу, он опять объявил, что своими глазами видел меня и Анисименко убитыми, что Хинельский отряд целиком уничтожен. Это он подал мысль уничтожить штабные документы, списки живых и погибших партизан, боясь, чтобы в случае, если он, бросив оружие, сдастся в плен, ни один документ не мог бы его «скомпрометировать».

Решив уничтожить документы, он внушил Мельнику и остальным, что самим партизанам выгодней не иметь улик, что все равно соединение разгромлено и раненых придется бросить в селах.

— Расстрелять, убить его мало, мерзавца! — кипел я.

Так растеряться, не подать товарищам помощи в бою, не помочь тем шестидесяти трем, которые во главе с комиссаром хинельцев Говоровым, с начштаба Дмитриевым сложили головы в Станиславчике, спасая командование

и штаб. Но разве не они геройски дрались в Шляховой, под Новомиргородом, Чигирином, в Глушкове? Под Сумами и на Полтавщине?.. Кого же наказывать? Кто виноват во всем происшедшем?

Ответа ждать не пришлось. Я вслушался в голоса спорящих. Вблизи, как оказалось, собрались командиры, их созвал Тхориков. Не решаясь разводить костра, они сидели на куче хвороста. Громче других говорил Тхориков.

— Я считаю,— каркал он,— во всем виновато командование. Мы... я,— поправился он,— я и другие товарищи говорили о несостоятельности такого похода. Ковпак — не нам чета, а и тот не решился выйти в степи...

Я понял, что Тхориков считал соединение окончательно разбитым.

— Будем и в несчастье объективными: виноват УШПД,— сказал Кочемазов.— Он послал в степи, расчленил боевую силу соединения, привязал нас к Туманчуку и не оказал никакой помощи, даже картами, даже списков партизан не вывез на Большую землю.

— Ты неправ! — возразил Щебетун.— Разве не УШПД посылал нас в рейд еще в ноябре? Мы б никакой грязи ни половодья не знали, к весне бы всю Украину рейдом прошли! Убежден: будь хоть малейшая возможность, УШПД оказал бы нам всяческую помощь.

— Э, что там! — вмешался Инчин.— Виноват Фомич! Еще в прошлом году он лишил нас хинельской гвардии. С кем пошли в степи? Лучший отряд к черту в Пинские болота вытолкнули!..

Я не видел лиц споривших, не хотел прежде времени вмешиваться. Чувствовалось, что не прийти нашим командирам к одному мнению.

— Вся вина,— возражал Тхориков Инчину и Щебетуну,— лежит на УШПД и на тех, кто без учета фронтовой обстановки завел нас в голую степь.

— Слыхали! — с насмешкой отрезал Петрикей.— «Не надо было браться за оружие!» — девиз капитулянтов, маловеров и всякой другой сволочи!

Тхориков разобиделся:

— Грубости и оскорбления — не аргументы. Если объективно искать виновников, то...

— Э, на воре шапка горит! Но ты — не один! Много чести! — напирал на Тхорикова Инчин.— Еще виноват Фома твой — вот кто! Он, твой Фома, затянувший выход на три месяца, не выполнивший настойчивых требований

УШНД, директивы ЦК партии! Мы потеряли в пустой болтовне о рейде ноябрь, декабрь и весь январь, когда вражеские фронты трещали от Волги и до Ладоги, а теперь от затишья и распутицы мы кровью харкаем!

...Инчин горячился:

— Твой доверенный тоже гадил. Где он, этот приятель твой, Кусачев? Я не поручусь, что когда-нибудь не разряжу парабеллум в вас обоих!..

— Петрикей, товарищ Кочемазов! — оскорбился Тхориков. — Что это такое? Как смеет он грязнить... — И тут Тхориков, увидев меня, замолчал.

— Товарищи! — вмешался я. — Виноват я! Виноват прежде всего потому, что не решился на более ранний выход в этот рейд, чтоб переходить реки по льду, а степи — по легким зимникам...

Говорил я так, чтобы каждое слово слышали не только командиры, но и рядовые партизаны.

— Виноват и в том, что не разъяснил вам важности и значимости Степного рейда!

Я снял шапку, и все встали. Инчин сунул парабеллум в кобуру и тоже вытянулся. Глядя каждому в лицо, я заявил твердо и предостерегающе:

— Но виновником будет и тот, кто сложит оружие, прекратит борьбу с захватчиками!.. Кто распустит отряды!

Я достал из своей сумки клятву любашевских и савранских подпольщиков, найденную еще в Каменско-Шевченковском районе. Прося совета и помощи вооружением, крымчане предъявили мне эту клятву как пароль верности делу борьбы с захватчиками-фашистами. Я нашел подходящим этот случай, чтобы огласить клятву одесских коммунистов как присягу.

«В условиях войны, — гласил текст присяги, — когда наш народ истекает кровью и взывает к борьбе и мести, я сознательно и добровольно вступаю в подпольную организацию, основная цель которой прогнать интервентов, отстаивать независимость Родины.

Обязуюсь беспрекословно выполнять распоряжения руководящих товарищей, поддерживать дисциплину и работать в организации; требую уничтожать предателей и их имущество предавать огню! Клянусь честью и подписываюсь кровью, что по первому зову организации, в любую пору дня и ночи с оружием в руках явлюсь в указанное место и, приступив к выполнению любого

поручения, голову сложу и жизнь отдам, защищая Родину-мать, свою честь и свободу».

Я подчеркнул:

— «...голову сложу и жизнь отдам...» — и в упор строго поглядел на Тхорикова.

— Что ж, еще только клянутся, — попытался съязвить Тхориков.

— Стыдись: клятва — неопровержимая улика для смертного приговора! Сюсюкаешь о жертвах, о ранах и трудностях! Забыл, по какой земле идешь? Избалован успехами триумфальных маршей по Сумщине и Полтавщине? Тоскуешь о темном лесе?

Я много наговорил Тхорикову и всем остальным в назидаение жестких и хлестких слов. Мне не пришлось ни с кем спорить: все снова вспомнили о важности и необходимости продолжения Степного рейда.

Рейд, рейд! По сути мы армия, независимая от коммуникаций и свободная от громоздких тылов, армия, обладающая способностью действовать в тылах противника. Если б не эти разноречия...

Следовало принять неотложное решение: куда и каким образом выйти из блокированного леса. Разрывы крупнокалиберных снарядов и мин гремели в лесу, сшибая деревья и наполняя его едким дымом. Это означало, что, обложив Голованевские леса, карательные войска надеялись вынудить нас артиллерийской стрельбой пойти на расставленные ими засады...

Инчин оплакивал друзей. Спустя несколько часов после того, как мы вырвались из огня и состоялось совещание у костра, он попытался восстановить утраченные списки убитых и пропавших без вести партизан. Шестидесяти трех не досчитывался. Некоторых потеряли в Шляховой. Многие находились в числе пропавших без вести, каждый четвертый оказался контуженым или же раненым, отряд едва ли насчитывал полторы сотни партизан...

Но в еще более отчаянном положении находились конотопцы. У них не было даже командира. Кочемазов и Галушка пропали без вести.

Изнуренный, обремененный ранеными, Конотопский отряд был на грани развала. И, как водится в подобных случаях, нашлись паникеры и шептуны. Считая положение безнадежным, они видели спасение в выходе из бло-

кады мелкими группами, без обозов, с лучшим боекомплектом, с более сильным вооружением.

Обнаглев, шептуны решились пригласить в свой «самостоятельный» отряд комиссара Петрикея. Это и спасло отряд. Были собраны коммунисты и комсомольцы; они потом призвали к бдительности, ознакомили бойцов с намерениями командования.

Коммунисты разъясняли партизанам:

— Вот увидите: выйдем из окружения и оставим гитлеровцев в дураках. Пусть себе разбрасывают снаряды по лесу.

Но главная опасность грозила, как оказалось, оттуда, откуда мы не ждали: среди ночи исчезли все, до единого, эсманцы. А с ними и радиостанция — самое дорогое и необходимое в тылу врага.

Лишившись связи с Москвой, мы не могли передавать УШПД донесения.

Было ясно, что радиостанция захвачена. За полчаса до выступления колонны я лично предупредил радистку и ездового рации: не терять из виду Эсманский отряд, держаться все время за авангардной колонной. Я приказал командиру эсманцев на случай чего прикрывать главрацию и поручил ему только двух раненых товарищей — ординарца Самодова и комиссара соединения Анисименко.

После тяжелых боев, после нечеловеческого напряжения в походах, в обстановке постоянного окружения остался я с голодными, израненными людьми, без карт, боеприпасов, медикаментов, решая все тот же один-единственный вопрос: куда вывести колонну, чтобы спасти людей от окончательного разгрома?

Над лесом кружило несколько наших самолетов. Первая помощь за тысячеверстный подход в степи! Но и она уже запоздала...

Это уже была не та помощь, которую с таким эффектом использовали бы мы на Днепре, где кончились наши карты, где эвакуация первых раненых подняла бы боеготовность отрядов, повысила бы авторитет командиров и самого УШПД, вселила бы доверие бойцов к своим начальникам! Такая помощь не пришла своевременно. Карты, шифродокументы... Как без них? Напрасен сейчас радостный блеск в глазах раненых — бедняги не знают, что на площадке, где должны гореть сигнальные костры, стоят сейчас вражеские танки.

Я не мог даже просигнализировать ракетами, что мы видим дугласы. Но... «Как близка и как далека ты, родная, любимая Москва!..» — думалось мне, глядя на проносившиеся над лесом самолеты.

Летчикам, конечно, видны были пожарища в Станиславчике, артиллерийская стрельба по лесу, трассы пуль на опушках и проселках. Казалось, что они понимают наше положение, наши мысли и долго кружат над лесом и бросают за борт свои опознавательные ракеты.

Снизившись, они раскидали над лесом грузы и удалились.

Единственный десантный мешок, который упал в расположение нашего бивуака в лесу, не вызвал подъема духа. Более того, даже кипа писем, оказавшаяся в нем, не могла вызвать радости.

Мешок упал, окутав парашютом чью-то повозку. И вот добровольные почтальоны ищут адресатов. Вручили несколько писем и мне.

Первые весточки из дому за всю войну!..

Как их мы ждали!.. Какой это мог быть праздник. Но увы!.. Его не могло быть сейчас — многих адресатов, десятков и десятков боевых товарищей не было в живых...

«Счастливики», кому пришли письма, тоже не высказывали радости...

Я долго разглядываю конверты. Почерки на них и штемпеля говорят многое. Беру письмо жены, а сердце стучит: жива!.. Штемпель отправления: Нижний Ломов, Пензенский... Поволжье... Два или три с Урала, из родной Сосновы — почерк отца. Значит, и от матери. Но нет ни одного письма от братьев... Что с ними? Где-то они, родные...

Кто во время войны давно не получал известий из дому, тот поймет мою тревогу и волнение. Избегая посторонних, я то кутался в складках парашюта, то закрывался шарфом и все не решался читать.

Не раз мысленно представлял я, что должна была перенести моя верная подруга, без средств, без вещей, с малышом на руках...

«...Я не умею реветь. Я только слабо вскрикнула и разбудила Галочку...— читал я, как после долгих мучительных ожиданий она получила официальное извещение о моей гибели.— Вдова. Какое горькое слово! Меня называли так, мне выдали пенсионную книжку, детей назы-

вали сиротами, но я не хотела верить, что ты погиб, я искала тебя, нет, наверное, ни одного партизанского отряда, куда бы не отправляла письма».

«Я дождалась! Я победила! — ликовала она в одном из последних писем. — Если бы ты знал, с какой радостью сдала я пенсионную книжку!»

Земля вздрагивала, качался и трещал лес от участившегося артобстрела, но я ничего не замечал.

«...За мать я страшно боялся, — писал отец, — она часто вскакивала среди ночи и твердила: «Стучат! Сыны вернулись! — И босая бежала во двор, на снег, и звала каждого по имени: — Коля, Шурка, Ванюшка, Михаил!» И не верила, что стучит доска в заборе... Так металась она всю зиму...»

Туман застлал мне глаза, брызнули слезы. Может быть, первые слезы за все годы, сколько помню себя взрослым. И не только за себя, за безвременно оборванную жизнь моих братьев, за мать, бьющуюся в тоске, за отца, поседевшего от горя...

К концу ночи, когда задремали вражеские наблюдатели, Забияка и Петрикей с разведчиками нащупали ту спасительную тропу, на которой не было вражеского заслона.

Мы тихо вышли в открытое поле, а там двинулись рысью. В нескольких километрах от леса прошли краем какого-то большого селения, в центре которого стояла танковая часть эсэсовцев.

В яру, по соседству с гитлеровцами, мы переформировались. И тут, где сгрудились кони и люди, я столкнулся с положением, при котором не знаешь, кому отдать приказание, кто за что в ответе. Назначаю:

— В главразведку — сорок человек! Формировать и командовать Забияке!

— Есть, формировать и командовать!

— Конотопский отряд принять и переформировать Будашу! Начальником штаба конотопцев будет Лопатников, начштаба хинельцев — Ступич, недригайловцев — Горобец!

Все это приходилось выкрикивать с порога хаты во тьму и в ответ получать приглушенное: «Есть!», «Есть!»

Павловский, Лобач, Туров, Кузьмин, Чуркин и другие — все они теперь при свете карманных фонарей торопливо составляли списки рот, взводов, формировали и производили боевой расчет в стрелковых отделениях. Я вы-

жидал отпущенные на это полчаса, чтобы получить списки и знать, что у нас есть сержанты с отделениями, лейтенанты с укомплектованными взводами, разведка, отряды с заставами и дозорами.

По следу нашей колонны продолжали прибывать все новые группы рассеявшихся по лесу партизан. Явилось нераздельное трио лучших наших разведчиков: Астахов, Лях и Пузанов, умчавшихся из Шляховой во главе эсманского обоза.

— Беглецы! Мальчишки! — вскипел я. — Где легко — там вы первые, а в беде прячетесь! Где пропадали? Где эсманский обоз? Куда дели раненых?

— Так разве ж мы?..

— Приказание ж такое было...

— А мне Дорошенко записку прислал! — Пузанов достал из внутреннего кармана франтоватой эсэсовской шинели клочок бумаги, где правильным твердым почерком были написаны несколько слов. И подпись: «Дорошенко». Но по почерку мне показалось, что написана она рукой Кусачева.

— Амнистирую! — объявил я. — Марш в главразведку! И глядеть, чтоб ни одна засада колонну не обстреляла!..

— Товарищи, не вешать носа — объявил я, когда все было закончено. — В наших рядах остались стойкие патриоты. Их будет все больше и больше. Нас поддерживает народ, а с кем народ — с тем и победа!

Вскочив на коня, я дал ему повод.

— Марш! Марш! — прозвучала команда, когда начал алеть восток и открылась багрово-фиолетовая степь, простирающаяся к Южному Бугу.

— Очнулся я, — докладывал мне Самодов, — от толчков в плечо: «Вставайте!.. Слышите — мы остались одни...» Кругом тихо и темно, где-то справа татакает пулемет, а в сторону леса — трасса пуль, грохочут разрывы. Но не то обеспокоило меня. Я испугался одиночества. Как же это случилось? Не знаю. Где эсманцы?

После дневных мытарств я уснул. Меня разбудил паренек, который управлял лошадьми. В повозке лежал комиссар Иван Евграфович. Я спросил, в чем дело. Мне показалось странным, почему я на повозке, а не в седле.

Все тело прошивала ужасная боль. Правая рука не сгибается, нельзя открыть рот, болит челюсть и десна. Трудно говорить. Помнится — после нескольких попыток

вырваться из лесу эсманцы все же проскочили опасный участок.

Все шло хорошо, пока не наткнулись на пенек.

Мы пробовали на руках занести передок телеги, но это было мне не под силу. Стали сдавать лошадей назад, но телега уперлась в дуб. Так мы мучились минут сорок. Тем временем эсманцы ушли, а другие отряды почему-то не подходили. Комиссар бредил во сне. Я укрыл его своей шинелью, взял палку и решил идти впереди, высматривая дорогу. А Роман — ординарец комиссара — правил лошадьми.

Автомата не было. Пистолет был разряжен. В кармане шинели нашел одну гранату, на поясе висел нож. У Романа к винтовке имелось четыре патрона.

Вскоре дорога свернула. Остановились. Решали, совещались, как быть дальше? В каком направлении двигаться? Разбудили комиссара.

Из вашего дневного совещания мне запомнилось какое-то село, как будто Сенцы, но где оно? В какой стороне? Комиссар был в тяжелом состоянии, но ответил. И мы поехали дальше.

Я ковыляю впереди. Тихо выбрались из лесу. Где-то в небе гудел мотор, и мне показалось тогда — шум родного, своего самолета. Шаповал говорил, что пролетали наши, но я в то время спал и ничего не слышал.

Очутившись в поле, мы немного повеселели. Я примостился на повозке рядом с Романом. Немного морозило.

Мое намерение было такое: добраться до какого-либо села, а тогда уже действовать по обстоятельствам. Ехали часа два. Вдруг где-то впереди послышался лай собаки. Я сказал Роману, чтобы он шел впереди. Минут через пятнадцать мы подъехали к селу. Лошадей привязали к дереву и тихо подошли к ближайшей хате. Осторожно постучали в дверь и попросили открыть. Сонный мужской голос ответил, что ночью нельзя, но мы настояли. Хозяйка отперла дверь.

Вид наш был так ужасен, что хозяйка, ахнув, заплакала. Потом дала молока, но я не мог пить, и она стала поить меня из чайника. Затем я попросил, чтобы показали нам дорогу. Все делалось осторожно, так как в центре села были гитлеровцы.

Она показала нам дорогу к Бугу, где можно было спрятаться. Часа через полтора мы очутились у леса — на бывшей колхозной ферме. Разбудили сторожа конюшни,

забрали пару старостинных лошадей с шарабаном — и опять вперед. И побыстрее, насколько возможно это с раненым комиссаром.

На рассвете впереди нас опять показалось село. Мы свернули с дороги в лощину, там я оставил Романа с повозкой. Я осторожно подошел к хате. В это время вышла оттуда женщина с ведрами. Она сказала мне, что всю ночь проезжают какие-то конники, кто в седле, кто в повозке. Я облегченно вздохнул. Значит, партизанское чутье меня не подвело и на этот раз!..

Глава XV

НАД ЮЖНЫМ БУГОМ

Курились пожарища, ночной ветер раздувал искры, и они вместе с кизячным дымом носились над погруженными в тяжелый сон селами.

В лесах грохотало. Дрожала земля, со стоном валились деревья, там, в ночном мраке, бушевали артиллерийские снаряды. Гаубичные и минометные полки обступили со всех сторон Голованевский лес еще с вечера, части 15-й пехотной дивизии, бронетанковые батальоны, резервные и вспомогательные войска, приданные генералу Бушенхагену, обложили укрывшуюся в лесу «казакен дивизию».

Всюду горели фары и прожекторы, взлетали в темное небо ракеты. В хуторах и в балках затаились в засадах эсэсовцы из дивизии «Великая Германия», чуткие и злобные, как бульдоги...

Не спал и старый солдат Фриц — постовой автомобильной роты. Он зяб на ветру. Легкое обмундирование и женский платок, намотанный на голую грудь, плохо согревали солдата. Фриц притопывал коваными подошвами и, дуя себе в кулаки, хрипло покашливал.

Его влекло к теплу, к обугленному и еще не остывшему пожарищу.

Оглядываясь на лес, где поминутно ухали взрывы, Фриц подбрасывал в костер солому. Вспыхивая, она освещала ближнюю хату и охраняемые Фрицем фургоны.

— Не гут война! — услышал он сочувственный женский голос.

Фриц оглянулся и увидел вблизи молодую женщину, хозяйку хаты Нину Якубович, знавшую немного немецкий.

— Никс гут, никс гут, матка! — отозвался Фриц, вытирая единственный глаз, слезящийся от чада и холода. — Было цвай окуляр, — поясняет он хозяйке, — остался айн... — Фриц указал на свой глаз и... рассмеялся...

Фриц говорит, что для него лично война окончена, он инвалид, потеряв глаз, он дешево отделался, и что в охранные войска прислали его от Сталинграда...

— Пан, а как же Волга и Сталинград?.. Уже взяли? — заинтересовалась женщина.

— Шнель, шнель! Окружен Сталинград. Много, очень много зольдатен в Сталинграде съехалось!

— Значит, — допытывалась хозяйка, — Сталинград готов, пан? Осталось Урал взять?

Фриц косится на женщину: не поймет, не насмехается ли она над ним? Казалось, что искренна.

— Офицер, инженер — никс? — с опаской огляделся он.

— Все спят давно, — заверила женщина.

Тогда Фриц приближается к одному из фургонов, открывает ящик и восклицает торжествующе:

— О! Матка... — Он показал костыль для крепления рельс к шпалам.

Фриц примеряет его к сапогу и поясняет женщине, что вот такие надо шипы, чтоб дойти до Урала! И смеется. Еще задорнее засмеялась женщина. Фриц делает комбинацию из трех пальцев и тычет себе под нос:

— О, Ураль! О, Сталинград! О, Вольга... — и снова долго смеется.

В небе загудел самолет.

— Десант, десант! — испуганно вскрикнул Фриц. Ему показалось, что опустилось несколько парашютистов. У него не было ни мужества, ни желания обнаруживать себя выстрелами.

Самолеты долго гудели над селом и лесом. Хозяйка снова спросила:

— Пан, сколько минут до капут? Пан не видит, что никс руссиш зольдат? Не было их, мешки сбросили самолеты.

Фриц принялся собирать парашюты и привязанные к ним мешки, чтоб немедленно доставить эти трофеи офицерам.

Офицеры вытряхнули из мешка содержимое и увидели газеты.

— Хо, большевик цайтунг!..

— «П р а в д а», — прочел старший из офицеров.

— «Правда», цайтунг Москау, руссиш цайтунг, — гоготали гитлеровцы.

Они обступили уткнувшегося в газету гауптмана, все чувствовали, что в газете могли быть важные новости. Гауптман с трудом разбирал.

— «Ми-но-мет-оф... Тан-коф... О-ру-дий...» — донеслись отдельные слова на кухню.

Якубович решила во что бы то ни стало прочесть газету. Увидя в углу кипы газет, она не устояла перед искушением войти в комнату и взять хотя бы одну.

— Матка, ком-ком! — позвал ее гауптман. — Говори, что есть слово «трофей» и слово «группоф»? Шпрехен, матка!

Гитлеровцы перевели глаза на женщину.

Радуясь возможности прочитать газету, Якубович быстро подошла к гауптману.

— Ты шпрехен руссиш, говори, что есть слово «группоф» по-вашему?..

— Смотря о чем речь, пан офицер, дайте, пан офицер, я прочту...

— Найн, найн! — Гауптман положил мясистые ладони на газету. Он не мог допустить, чтобы большевистскую газету прочитала эта женщина.

— Панове офицеры, я прочту хотя бы десять строчек, — показала она на пальцах. — Цейн ворт!

— Драй ворт! — разрешил гауптман.

— Драй, драй! — согласились все остальные.

Гауптман раздвинул пальцы, и хозяйка прочла абзац, но не подала виду, что поняла, и тогда он открыл еще несколько строчек. Взоры гитлеровцев были прикованы к лицу хозяйки, они боялись, чтобы она ничего не утаила. Хозяйка, глубоко вздохнув, обвела настороженным взглядом гитлеровцев.

— Пан офицер! Тут напечатано: «Триста тысяч...» Понимаете, не «группоф», а ваших трупов... — Она подняла указательный палец. — Миллион зольдатен. Айн, цвайн, драй, треть миллиона капут у Сталинграда, а две трети — в плену и ранены. Офицеры, генералы капут под Сталинградом!..

Гауптману не пришлось переводить.

— Аллес капут! Аллес капут! Драйгундерт таузенд! Драйгундерт таузенд! — заговорили потрясенные гитлеровцы.

Офицеры вспарывали остальные мешки и спешно — «вэк, вэк!» — сжигали советские газеты и журналы в печке.

Только топографические карты сохранили гитлеровцы. Их гауптман отвез на квартиру к генералу Бушенхагену.

О том, что в Голованевском лесу сосредоточено до 15 тысяч казаков, Бушенхагена информировали еще в Виннице. Для их уничтожения были присланы 15-я пехотная дивизия, два румынских артполка, бронетанковые батальоны, минометные, саперные части и резервные формирования. После того Бушенхаген узнал, что полк СС «Бранденбург», преследующий казаков от Днепра, не может приостановить продвижение и несет тяжелые потери, что истинная цель появления партизан на юге все еще не установлена...

Этим интересовались и в главной квартире фюрера.

Во вчерашнем бою, когда эсэсовцы пытались захватить партизанский штаб, случилось непоправимое: погиб от партизанской гранаты генерал, представитель главной квартиры, имени которого Бушенхаген не хотел называть. Бушенхаген отлично понимал, что легче умолчать и не донести в главную квартиру о потере половины дивизии, нежели скрыть от фюрера гибель хотя бы одного генерала из его охранного корпуса.

Бушенхаген ждал утра, но сегодня положение осложнилось. Он пришел к выводу, что казачья дивизия не только продолжает занимать леса, но подкреплена ночью парашютистами.

Сообщения же агента «У-70» о том, что в лесу не казаки, а партизаны, и преуменьшение числа их вдесятеро казалось подозрительным Бушенхагену. Он не мог расценить сведения эсэсовского агента иначе, как простую выдумку.

Дальнейшее уяснение и оценка создавшегося положения привели к единственно логичному выводу: их цель — налет на Винницу, то есть на главную квартиру фюрера! Другой достойной цели для «конного корпуса» генерал не видел...

Никогда в жизни не чувствовал Бушенхаген такой ответственности. Немедля, он вошел в связь с комендантом Винницы генералом фон Прином. Выпросил у него бомбардировщики, настаивал на усилении 15-й дивизии еще несколькими артиллерийскими и минометными частями.

Советовал привести в боевую готовность все резервные части и полицейские формирования. Они, по замыслу Бушенхагена, должны были перекрыть все мосты и переправы на реках, все основные пути на Винницу и Киев...

Фон Прин не замедлил с помощью, и уже с полудня усилия минометов и артиллерии были дополнены бомбардировщиками.

Артиллерийское наступление нарастало. Лес бомбили уже вторые сутки. Передавали друг другу слова генерала: «Окруженные держатся с отчаянием обреченных, они дерутся за всякий пенек, за каждое дерево в лесу, но им не устоять, как не удержаться подсеченному снарядом дереву...»

Еще через день эти слова оказались вещими. Окруженные не сопротивлялись. Если в первый день дивизия несла потери убитыми и ранеными, то за последующие три дня со стороны «казаков» не раздался ни один выстрел!..

Генерал испугался. Он приказал не жалеть снарядов, артобстрел продолжался еще половину дня, и только тогда объявили штурм. Войска двинулись к лесным опушкам и закрепились. Затем решено было прочесать Голованевский лес, предполагалось вытеснить противника в поле, чтоб раздавить танками.

И хотя давно уже не было партизан в лесу, бронетранспортеры вывозили убитых и раненых солдат, подстреленных во взаимной перестрелке между своими.

— Буг перейдем с ходу,— заверял Козеха.— Там перекиды, берег каменистый. Курица с камня на камень перескочит на ту сторону...

С Козехой и Забиякой мы продвигаемся по каменистому оврагу, оставив отряды в прибрежной роще.

Начинает темнеть, но еще можно осмотреть место предстоящей переправы. Нас манит к себе Савранье, Савранские леса, что находятся вблизи Гайворона, за Южным Бугом.

Но больше всего хочется встретить легендарного героя южных мест капитана Калашникова. О нем приходилось слышать еще на Полтавщине. Утверждали, что Калашников действует за Днепром, но когда мы оказались в Кировоградской области, пошли слухи, что Калашников, должно быть, за Южным Бугом.

Мы полагали, что он обязательно имеет связь с центром и, конечно, предоставит нам возможность связаться с УШПД и запросить из Москвы новую радиостанцию. И рейд будет спасен: за Бугом и за Днестром мы поднимем на борьбу многие новые отряды и отомстим за кровь товарищей.

Сопровождаемые удаляющимся отголоском канонады, мы уходили от Голованевских лесов на рысях.

По пути мы обзавелись хорошими лошадьми и седлами. Это помогло сократить санитарный обоз: седло и конь заменили большинству раненых повозки.

Мы стоим на скалистом высоком берегу, высота — метров семьдесят. Внизу — Южный Буг — полноводная, стремительная река. С глухим грохотом несутся серые льдины, на скалистом перекате бурное кипенье, шум, льдины дробятся, ныряют одна под другую, сверкнув розоватыми краями.

— «Перескочит курица»? — гляжу я на озадаченного Козеху, и тот скребет за ухом, поясняя, что Буг «взбесился», что летом «другой коленкор».

Долго лежим над обрывом, всматриваясь в забужские дали, погружающиеся в темно-багровые сумерки, слушаем яростный лай собак в селе на этом берегу. Мы надеялись на двухчасовой привал в этом селе, на отдых коням, на горячий ужин, но по всему видно, что вряд ли это удастся...

От села взлетают над рекой красные трассирующие пули и гаснут на той стороне, доносятся редкие хлопки выстрелов. Козеха затягивает потуже ремень, Забияка, любивший вкусно поесть, тяжело вздыхает:

— Хоть закурить бы...

Идем по откосу каменистого яра, вдруг слышим — в селе непонятная суматоха, выстрелы...

Мы решаем выслать разведку в село. Идем к отряду, к роще, осторожно ступая в темноте. Козеха спотыкается и шарахается.

— Человек!..

Приглядываемся — конечно, человек.

— Ты кто? Что делаешь? — спрашивает Забияка и прячет оружие. Прячем и мы с Козехой.

— А что бы я делал? Сижу, воробьев пугаю! — гремит голос незнакомца.

— Не болтай, дядько! Рассказывай, чего шум в селе, свадьба или... — спрашивает Забияка.

— А то вы не знаете!.. — гмыкает тот.

Минуту спустя выясняем: в село залетели гитлеровцы, забирают птицу, стреляют свиней.

— Все берут, чтоб их громом поубивало! — ругается дядько.

— А деньги платят? — подзадоривает Козеха.

— Как же, без счету, пачками! — в тон отвечает незнакомец. — Вот, вот! Смотрите, купами! — сердито бормочет он, выбрасывая фашистские листовки из карманов.

Сперва он принимал нас за полицаев, а потом поверил, что мы «вольные», как он выразился.

Оказалось, что он не один, а с бабкой.

— Ну, куры да свиньи, — говорил Козеха, — это одно дело. Но ты же не петух и не свинья, чего ж в кущи тикаешь?

— То вона, дурна, затянула мене. Я, брат, такой: как увижу... то ухвачу косу и голову сниму. Ставь тогда меня к стенке!.. А вы сами откудава?

— То очень долгий разговор, — ответил Забияка.

— Ну, а все ж таки?

Козеха пытается растолковать, что мы ищем партизанский отряд Калашникова.

— Раз прямо не говоришь — значит, выдумываешь. Скажи лучше: «Сам не знаю, куда идем».

— Ну, — говорит Козеха, — если б не знали, то не были б тут.

— Так скажи куда? Куда? — требовал тот.

— На Савранье, вот куда!

— Недавно тоже люди шли, сказали: на Савранье. Савранье за все отдувается, — бурчит дед, и я не пойму, балагурит он или знает что-то, да скрывает. А может, посажен под кустом, чтобы вовремя предупредить полицию о появлении партизан.

— А про партизан, папаша, что у вас слышно? — перехожу я к более серьезным вопросам.

— Если бы слышно было, то вряд ли б эта банда хозяйничала в селе.

— Эх! — упавшим голосом говорю я, — а мы-то их как ищем!

— Чего ж их в Савранье искать?

— Да то я так, про Савранье, мы не туда идем.

— Тогда понятно куда...

— Ну так скажи нам, — просит Забияка, — куда?

Дед сдвинул смушковую шалку, отчего он сразу при-

обрел воинственный вид, и решительно указал рукой на север.

— В свет!

Мы переглянулись. Слово «в свет» в устах старика прозвучало символически. Нам казалось, что старик знает больше, чем говорит.

— Так как же насчет партизан, папаша?

Дед в свою очередь задает несколько вопросов, и каждый раз мы повторяем, что идем из Винницы в надежде найти партизан.

— Жаль, что вы раньше сюда не пришли,— сочувственно говорит дед,— раз вы все военные, то вам надо прямо до Калашникова.

Мы не знаем, знаком ли дед с Калашниковым, или рассказывает понаслышке.

— Да, тут, брат, карусель и у нас была: гоняли немца, как кота, не до свиней было фрицам, а теперь — поразошлись куда-то калашниковцы, защиты никакой не стало. Правда, пооставались кое-где на той стороне Буга.

— Куда же пошел Калашников? — спрашивает Забияка.

— Если б я знал, куда он ушел, так я вот тут сидел бы, смотрел бы, как мою хату грабят? Да я бы с дубиной пошел в партизаны. Я б косою резал фашистов, сукиных сынов!

— А может, это как раз Калашникова побили, где стреляют? — спросил я у деда, указав в сторону Голованевского леса.

— Вранье! Всех не перебить. За Калашником стоит весь наш народ. С ним сейчас армия — сто тысяч бойцов! Вот вам! Сто тысяч, а может, и больше. Понятно ли?

Стотысячная армия! Вот в какую силу обратились мы! И чем дальше на юг, чем ожесточеннее бои наши и больше потерь у нас, тем мощнее выглядят наши силы в молве народной!

— Спасибо, старина, за хорошие слова,— говорю я и подаю руку, прощаясь.

Старик протягивает сухую, узловатую руку, жесткую, как кора, и невзначай бросает:

— Куда ж теперь, хлопцы?

— Да куда? Ты ж сам сказал — «в свет»,— отвечаю.— Пойдем вот так прямо,— показал я на Буг, и мы сделали вид, что пошли к реке.

Старик смотрел нам вслед. А когда мы отошли шагов на пятьдесят, догнал нас. Отдуваясь, он сказал:

— Стой, стой, ребята, остановись!

— Что такое, в чем дело?

— Теперь я знаю: не здешние вы, пришли издалека. Знаете, всяко бывает, так я и думаю: «А ну, куда же они дальше пойдут?» А вы прямо и полезли на скалу, к обрыву...

— Ох, старик! — Забияка похлопал старика по плечу. — Говори, папаша, начистоту: есть тут такой человек поблизости, что переправит в савранскую сторону? Не бойся — говори прямо. Вот тебе партизанский наш пароль: звездочка красноармейская на шапке. — Фонарик Забияки освещает наши головные уборы и его грудь, украшенную орденом Красной Звезды. Он показывает на эфес клинка с рельефной звездой на бронзовой рукоятке.

Я тоже распахнул полы пальто, и острые глаза старика впились в четыре буквы под силуэтами советских самолетов и танка. Он вслух и с расстановкой читает: «СССР», бережно притрагивается дрожащей рукой к серебряному диску медали, еще раз восхищенно выговаривает:

— «За отвагу». А я же так и говорил: «Вольные!» — выпрямился дед.

— А коль так — укажи перевоз через реку...

— Хлопцы! Перевезет вас лишь один человек. Один рыбак во всей округе, а больше никто не сладит в эту пору с Бугом. Никто. Больше никому...

— Кто же этот человек? Мы найдем его, если послать в село?

— Не посылайте — то я сам! — Старик показал большие заскорузлые ладони: — Вот, только этим двум Буг покорится...

Я подумал о хорошей переправе, но в ответ слышу:

— Ха! Только и можно, дети мои, душегубкой. И с одним пассажиром!

— На душегубке!.. Слово-то какое! Это полчаса на каждого человека?

— На часы не знаю, только за сутки душ с тридцать уверенно... если бы только не помешали, проклятые...

Рябоволик, — так звали нашего собеседника, — выразительно показал большим пальцем через плечо.

— Как муравьи потревоженные, зашевелились. Кавалерия, артиллерия — все двинулись на Гайворон; в каж-

дом районе — полк пехоты, на всех дорогах патрули, пограничная охрана вдоль всего левого берега.

«Тридцать в сутки, если не помешают, проклятые, — таковы возможности переправы через бушующий Буг!.. Скорей половодье пройдет, нежели переправлю всех партизан».

Я сижу на краю обрыва и продолжаю расспрашивать Рябоволика о савранских партизанах. Мучит меня одна мысль: «Как быть, как поступить?»

Рябоволик еще долго рассказывает о партизанах в Савранских лесах, о борьбе в одесских катакомбах и называет еще какие-то места, где не склоняли головы хлопцы перед захватчиками.

Глава XVI НА РАСПУТЬЕ

Хмурый мартовский день. Грязь, слякоть. Ветер кружит белые хлопья, и они тают на черной пашне, на голых ветках придорожной рощицы, которая почти не маскирует нашего бивуака, и только снегопад укрывает нас от автоколонны, идущей из Гайворона в Умань. Колесные и гусеничные машины идут уже восьмой час подряд. Надсадно гудя, они медленно ползут по грязной дороге, а мы, притаившись, выжидаем. Наша застава занимает все пять дворов, расположенных вдоль дорожной обочины. Партизаны из окон хат видят понурые ряды гитлеровских солдат, теснящихся в крытых брезентом машинах.

Мы страшно рискуем, но выхода нет. Попав в эти хаты, переполненные детьми, женщинами, большей частью беженцами из Киева, мы уже не можем незаметно покинуть жилья: нас видели, мы открыты, а врагу ничего не стоит использовать наивность и доверчивость детей или болтливость какой-либо простодушной женщины, чтобы открыть наше местопребывание. Сверни лишь одна из этих сотен вражеских машин в рощицу или же в любой двор — нас неизбежно окружат. И тогда бой... Чувовищно неравная схватка с отлично вооруженным противником, неизбежное окружение в голой степи...

Намереваясь провести хотя бы день в безопасности, мы после ночного перехода решили здесь остановиться.

Когда же рассвело, оказалось, что мы находимся на задворках Удычского сахарного завода и едва ли не в большом селе Погорелое. Вдали белеют каменные строения совхозов — обычное пристанище гитлеровцев, а перед носом — шоссе.

— Что ж тут скажешь? Удыч, Погорелое! — вздохнул Инчин и еще более нахмурился. — Это, черт дерн, символично: удача погорелая!..

Мы лежим на краю роши и мрачно глядим на проходящие машины. Кто-то, коротая время, громко подсчитывает:

— Пятьсот девяносто восьмая... девятая... шестьсот!

А Инчин кутается в прорезиненный плащ и тоже прикидывает вслух:

— Шестьсот машин — это около десятка тысяч солдат. — И пытается язвить: — Мы принимаем парад войск Бушенхагена!.. — Глядя на Мельника усталыми глазами, он говорит: — Влипши! Куриной слепотой захворал, Жора! Куда привел? Где разведка твоего штаба? — Желтые пятна проступают на исхудалых щеках. Инчин хорошо знает и сам, что командирские карты кончились еще на Левобережье Днепра. С тех пор все чаще повторялись подобные ошибки, и каждый командир чувствовал себя так, будто шел с завязанными глазами. Мельник виновато косит светлыми глазами на Инчина и нерешительно говорит:

— А впереди — реки в разливах. Город Тульчин с Вапняркой, Христиновка. И села, и хутора один к одному, — вся южная Украина густонаселенная.

Он достает из-за борта зеленого бушлата школьную карту и пытается убедить Инчина, что отряд шел наиболее выгоднейшим маршрутом.

— Ах, виноваты села! Вали на них... — сердится Инчин. — Хутора виноваты... — И не понять: на Мельника ли злится он за эту оплошность с неудачной дневкой или же в нем клокочет ненависть против предателей, которые могут оказаться в селе. Ведь сидим мы в таких рошицах только потому, что остерегаемся доносчиков.

Я сижу лицом к автоколонне. Оцениваю силы врага. Бесспорно: это возвращаются карательные войска из Голованевска в Винницу. Только не взять в толк: почему они бросили нас преследовать? Или же я ошибаюсь — эта колонна и есть та петля, которую вновь затягивает на нас Бушенхаген?

Час или два напряженно гляжу на войска, на автоколонну, уходящую к Умани. Я боюсь поверить, что эту страшную грозу пронесет мимо, что мы выскользнем и сегодня, что обойдется, быть может, на этот раз без крови. И думаю уже о том, куда поведу партизан с наступлением ночи... Куда?..

Разве что в массивы Винницких лесов! Туда берутся провести местные проводники. В эти леса направляет нас каждый, и все утверждают, что полоса черных лесов, начинающаяся от Умани, проходит близ Винницы и тянется вплоть до Днестра. По новым данным, там оперирует Калашников — этот вездесущий, легендарный герой партизан южной Украины. Туда и только туда! Мы переждем в Винницких лесах половодье и перейдем Днестр вместе с Калашниковым, минуя южнобугскую преграду.

Я направился в балку, где сгрудились понурые, голодные кони и теснились повозки с ранеными. Вижу — Петя Насонов, единственный, кто остался из Червоного отряда. Сидит на повозке вместе с Володей Туровым. Оба окровавлены, но крепятся. Мол, ничего такого не случилось, война! На то и солдат, чтобы все перебороть, победу добыть...

У Насонова раздроблена ключица, он все еще не перевязан. Нечем и, по сути, некому. У нас нет хирурга, инструментов и медикаментов. Насонов говорит, что когда рысит на лошади — кости бряцают, задевают одна другую. А на боль не жалуется...

На ближней арбе — молчаливая, озябшая группа девушек. Совсем маленькая, присмирившая Тася с перевязанной головой и пулевой ссадиной на щеке; Валя Галушко — тоненькая, миловидная девочка, ее сестра пышноволосяя Маруся, раненная осколком в бедро, фельдшер Дроздова и Костырева. Коренные конотопчане, они полулежат в окружении нескольких других девушек, укрывшись одной дерюжиной.

— Трудно вам, девушки? — спрашиваю.

— Трудно, товарищ капитан, — признается Валя, будто очнувшись от сна и подняв на меня грустные глаза. — Папа погиб, наверное... И все мы вряд ли прорвемся... — Она с тревогой глядит на гудящую вереницу автомобилей.

Маруся с Тасей устремили взор в степь, где за снежной сеткой урчала колонна.

— Папа такой... Такой хороший... — всхлипывает Валя. — Что скажем маме, брату, если не найдем папу?

— Может быть, хоть вы что-нибудь знаете о нем? — спросила Маруся.

— И Кочемазова у нас любили. И всех хлопцев нашего отряда. Где они? Куда делся Грищенко с автоматчиками? — спрашивали наперебой девушки.

— Нет никаких следов... Не знаю, где Червонный отряд. И рота Цыбулева с комиссаром Алферовым. Никого до сих пор обнаружить не удалось. Пропали без вести... Но ничего. Нужно мужаться, девочки. Найдется ваш отец, отправим всех раненых в Москву, — едва находил я скудные слова утешения. — А ваши хлопцы боевой славой отзовутся! Вы сами их еще услышите! — Я сел на облучке арбы. — Пусть разбили нас, но правда нашего дела жива. И эта правда, обогреченная кровью, найдет отклик в душе народа. Дети и внуки гордиться будут вашей доблестью.

— Мы связаны с Москвой? Радиосвязь налажена? — спрашивали девушки, позабыв об автоколонне.

Не в силах открыть трагическую истину, умалчиваю об утраченной радиосвязи, ссылаясь на отсутствие анодных батарей к радиостанции, которой давно у нас нет, обещаю, что при случае отобьем у немцев анодное питание, найдем подходящее ровное поле и вызовем самолет...

— А если не будет сухого места? — спрашивает Маруся. Она обвела перепаханную бурую степь тоскливым взором; снег таял на земле, увлажняя и без того вязкое поле...

— Что ж это мы все одни, товарищ командир? — промолвила тихо Тася. — Почему мы одни? И никаких партизанских отрядов на пути? И всюду, куда ни поедем, — враги, враги, враги?

— Разве мы одни, Тася? Ты ошибаешься. Партизаны есть на всей оккупированной территории. На севере и юге. Партизаны есть и в Европе. И они приковали к себе стотысячные вражеские армии... Я снова, как много раз прежде, заговорил о роли нашего Степного рейда. Пояснил, для чего было нам выходить в степи. Да еще когда на полях ни куста, ни травинки.

— Трудно, конечно, понять это, если исходить из позиций сторонников партизанской войны только на Полесье, вдали от населения южных и центральных областей Украины, где нет лесов. Борьба с оккупантами должна быть везде, чтоб всюду земля горела под ногами фаши-

стов. И невозможно быть нам в степи певидимками. Ибо весь наш Степной рейд — это развевающееся знамя партизанской войны.

Возле нашей арбы уже собралась группа партизан. Это были главным образом недавние пленники, освобожденные в Ворожбе, под Кременчугом и у Зпаменки. Раненые, заросшие, безмерно усталые, с воспаленными глазами и потрескавшимися губами, весь их облик прямо звал к мести, к борьбе, к справедливому возмездию за все содеянное фашистами на нашей земле.

Я продолжаю говорить о народной войне прошлого, о нашей неминуемой победе над врагом.

Достаю из сумки листовку, которую дал мне в свое время Николай Баранников и которая приобрела подлинный смысл, на мой взгляд, теперь, после встречи с дедом Рябоволиком на берегу Южного Буга и Голованевской трагедии. Называлась она «Думой о Калашникове». Читаю вслух.

— «...Страшней всего для фашистов стало, что не прятался Калашников по лесам, не нападал, крадучись, ночью. Появлялся он среди бела дня, словно не немцы, а он, Калашников, был хозяином на Украине. Появлялся он везде на немецком «Оппель-капитане», какой-нибудь захудалый комиссар даже подумать не мог, что прибыл партизан. Выходил из блестящей машины красивый, гордый, в полной форме какого-нибудь там оберста. И комиссар вытягивался перед ним, словно проглотил кочергу, забывал все слова, кроме «слушаюсь», как мальчишка, бежал выполнять приказ.

Только позже узнавал комиссар через солдат или оставленную записку на столе, что был у него Калашников. Дурел от злости, звонил в соседний город, предупреждал. Оттуда ругались по телефону, потому что сами уже успели остаться в дураках...

А не все равно,— говорилось далее в думе,— есть Калашников или нет. Может, есть. Может, нет. Может, один. Может, их, Калашниковых, не перечесть. Народ складывает про него легенды. Разве мы знаем, что было раньше: казак или песня про казака? Накипело у людей на сердце, да не у всякого сила и смелость есть. Один легенду сочинит, другой подхватит, свое добавит. А дойдет до смелого да сильного — легенда делом станет. Думаешь, легенды случайно появляются? Если нет Калашникова — значит, будет. Люди знают, что поведают...»

— Знают. Есть. Будет! — оборвал я чтение. И все заво-
роженно молчали, словно каждый чувствовал себя Ка-
лашниковым или был его другом. Только Маруся, угне-
тенная своим недугом, безразлично вздохнула:

— Так это же сказка о герое, а мы неудачники, обре-
ченные...

— Герой тот, — назидательно перебил ее Инчин, — кто
не сторонится неудач!..

Худой, с заострившимся строгим профилем, в черном
трофейном плаще, он, казалось, лишь напоминал недав-
него Инчина. Он постарел, а от его благодушия не оста-
лось и следа.

Стрекотание мотоцикла обрывает нашу беседу. Неве-
домый мотоциклист катит вдоль рощи, ища, как видно,
полевую дорожку в обход колонны. Наткнувшись на ра-
неных, он резко застопорил. Не сходя с машины,
мгновение постоял, затем круто повернул назад и
умчался.

— Немец! Держи немца! Уходит, стерва!

— Уйдет!..

Возле меня клацнул затвор. Раздался выстрел. Все
замерли. Казалось, что прозвучал не одинокий выстрел
из винтовки, а артиллерийский залп, и что движение
автомашин сразу прекратилось. По настороженным, по-
серевшим лицам вижу, что то же самое почувствовал
каждый партизан.

Но автомобили ровно гудели, и партизаны не заме-
тили под голубыми брезентами никаких признаков тре-
воги.

Все облегченно вздохнули... К сбитому мотоциклисту
побежали партизаны.

— Ах, вон что: обер! Офицер немецкий! — провозгла-
сил стрелявший — наш снайпер Фетисов.

С убитого сняли оружие, новенькую планшетку, клеен-
чатый черный плащ и френч.

— Карта в планшетке. Двухсоттысячная!..

— Ко мне карту офицера! — говорю я. Планшетка с но-
венькой картой, аккуратно сложенной под зеленой мас-
штабной сеткой целлофана, сразу раскрыла мне глаза.
Растянутая гармонь листа захватила на юге Голованевск,
Первомайск, Гайворон, Умань, а к северу указывала путь
на Белую Церковь.

Все мы привали к карте. Местность, куда ни кинь, —
открытая, плоская, степная.

— И это леса? — кисло протянул Лях. — Да эти кусочки мизинцем закроешь!

На карте, действительно, значились только рощицы размером от половины до полутора квадратных километров, — лесочки-ловушки, как метко прозвали их партизаны, — и только в сторону Винницы едва ль не сплошной полосой тянулась от середины карты манящая зелень перелесков.

— Где же леса настоящие? Неужели нет конца этой голой степи? Не стало на Украине леса?

— Ничего, Андрей, придет пора — будут тебе леса, и не только пальцем, а и седлом не закроешь!..

— Ох, в лесок бы на недельку... Поспать... поспать... — мечтательно говорит Лобач.

Я тороплюсь прочесть карту. Зеленые пятна, сгущающиеся к Виннице, тянут меня туда будто магнитом. А может (чем черт не шутит!), действительно там базируется Калашников... И меня захватывает пагубное для командира колебание: куда же все-таки двигаться дальше? К северу или в чернолесье Винницы?..

Подбегает Инчин и ошеломляет меня:

— Убитый — связной Гитлера!.. Вот!.. — Он хлопает по пакету со взломанными печатями. — Это директива Бушенхагену свернуть Голованевскую операцию! Смотрите сюда.

Путая немецкий и русский, Инчин при помощи Лобача и Павловского торопливо передает содержание перехваченного письма.

— Утверждаю: наши долбают фюрера в его же собственном логове! Ясно: там автоматчики Грищенко! Или же эсманцы с Алферовым! Только так! Или оба вместе!

— Подожди, Анатолий, — вмешался Мельник и начал читать наспех переведенный текст: — «Мой друг! Пишу вам дважды...»

— «Повторно», — уточнил Павловский.

— «Пишу вам повторно. Я думал, лейтенант фон Берганс, возможно, перехвачен партизанами, и я вынужден...»

— Генерал боится, что связному Беру не удалось проехать к Бушенхагену, — снова уточнили Лобач с Павловским.

— Вот как! — протянул изумленный Щебетун. — Имперская охрана близко! И вся сволочь на ноги постав-

лена! Однако что же такое «Дубовый дом»? И «Вервольф»¹, хлопцы?..

— «Вервольф», «Вервольф», — заторопился Павловский, перелистывая карманный русско-немецкий словарь. — Вервольф — значит оборотень... Оборотень. Чертовщина какая-то, бессмыслица.

— Бессмыслица, оберегаемая имперской охраной и самолетами самого рейхсмаршала? Это, черт вас дери, кубло, ставка Гитлера! — радостно восклицает Инчин.

— Ура, даешь Винницу! — забыв об опасной близости автоколонны, кричат партизаны.

Я напомнил про автомашины, и снова взоры всех обратились на дорогу. Но смотрели мы на нее уже без страха; каждый знал, что даже обстрел этой колонны вряд ли мог бы остановить ее.

Мучило раздумье: несомненно кто-то из наших отрядов, а возможно, что и все отклонившиеся, отбившиеся группы прорвались к ставке Гитлера. Но где она? Какова судьба партизан и как найти их? Однако штамп главной квартиры фюрера на перехваченном письме, подпись генерала фон Прина — все это убеждало, что развернувшиеся вокруг Винницы события неожиданны для гитлеровского штаба.

Смущало только одно, и об этом, словно угадывая мои мысли, сказал Петрикей:

— Чтоб с одним мотоциклистом пакет? Да еще о таком?.. Что-то не того... — Он задумчиво поглядел на Мельника. — Да и вашему переводу не совсем того... веришь...

— Совсем или не совсем, а только офицеры связи тоже бывают! — отпарировал Мельник. — Чем выше штаб, тем больше связных офицеров у него, хотя, конечно, нужно было бы на самолете офицера послать. Так ведь пурга — погода нелетная... Странно, конечно, что без солдат, без прикрытия ехал...

— У Бушенхагена — штаб, шифры, радио, — вставил Лобач.

Но Инчин упрямо возразил:

— Расстояние-то по асфальту час-полтора езды мотоциклисту. Шутка ли: партизаны — на пороге главной

¹ «Вервольф» — засекреченная ставка Гитлера в районе Винницы, которая была очень укреплена и охранялась имперским охраным корпусом.

квартиры! Ставлю об заклад: там наши! И нечего нам гадать. Обрушимся всей силой!.. И — баста!

Еще смелее высказалась молодежь — Лях и Пузанов: — Наши конотопцы весь их имперский штаб и всю связь фюреру к черту взорвали! А мы тут сидим да гадаем!

— Взорвали связь? — возразил Жора. — Но войска спешат туда, и это означает, что радиосвязь у них есть.

Обрушиться на Гитлера. Долбануть по ставке. Взорвать, хоть земля тресни!.. А чем? Куда? Как сообщить в Москву, как вызвать авиацию на голову Гитлера? Да и знаем ли мы точно, где он укрывается?.. Где ставка? Это надо еще разведать. А что это даст практически? Без радиосвязи не вызвать ни бомбардировщиков, ни организовать приема десантов. Разве что через радиостанцию Калашникова? Но где же он? Держит ли радиосвязь с Москвой? Как найти его и почему он сам нас не ищет?

Калашников — на Полтавщине, Калашников — за Днестром, его будто бы видели за Синюхою, о нем ходят легенды в Одесской области. Всюду его знают, но только за пределами своего края: «Где-то там, но не здесь...» Нет, довольно! Все выяснено: Калашников — легенда. И пользуются ею не только исстрадавшиеся наши люди, но и гестаповская агентура.

С нашим приходом в степи Калашниковых появилось десятки, от их имени действуют теперь тысячи. И мне уже не раз казалось, что идти за Калашниковым — следовать за самим собой, как за собственной тенью...

Это давно ясно и комиссару Анисименко. Он лежит на возу, закутанный в одеяла, заросший, исхудавший. Не способный ни говорить, ни двигаться. Только глаза светятся вопросом: «Куда сегодня идем: на юг или на север?»

— Один у нас путь, Иван Евграфович: на Киевщину, — говорю вполголоса, и он согласно опускает ресницы, затем снова пылливо смотрит мне в глаза, и я ловлю в его взгляде грусть о несбывшихся наших планах — выйти в молдавские Кодры и на Буковину.

— А там свяжемся с Москвой, — продолжаю полунемой разговор, — нам выбросят радистов, помогут вывезти раненых. Затем снова сюда — вторым заходом.

Я показываю комиссару школьную карту.

— Вот сюда и пойдём. От Гайсина на Казатин, ориентировочно. Быть может, по дороге и — в Винницкие леса, если войдём в контакт с отрядом Калашникова. А нет, то на Белую Церковь, Фастов, но строго в северном направлении...

Анисименко внимательно слушает. Его интересуют, конечно, и расстояния, и сроки — эти два слагаемые, трезвый учёт которых решает спасение или гибель рейдирующего в степи соединения. Расстояние, сроки, характер местности — это почти всегда известные величины. Четвёртая неизвестна — противник.

— Необходимо избегать столкновений с ним, а значит, обходить города и крупные станции, где неизбежны вражеские гарнизоны, — прикидываю вслух, — нужно выбирать дневки вдали от гарнизонов и автомобильных дорог. С учётом всего этого длина пути до Полесья составит примерно километров пятьсот-семьсот...

Анисименко шурит глаза — мысленно прикидывает, соображая, что означает это во времени, и я подсказываю, что в условиях половодья, распутицы мы суток через двадцать сможем войти в леса Житомирщины.

«Все вытерплю, на все согласен», — говорили потеплевшие глаза комиссара. Он пристально и долго смотрит на меня печальными глазами. Я знаю, сейчас он думает о своём: не забыли ли его семью, детей, если... Я знаю, он печалится и о незавершённом походе, хотя, как он сам не раз говорил, многое уже сделано.

Я долго сижу на повозке Анисименко, припоминаю вслух прошедшую осень, неуютный шалаш Фомича в Брянском лесу, нашу подготовку к походу в Заднепровье, свои соображения при изучении карты; говорю комиссару о маршруте Ковпака и Сабурова по северной границе Украины. Туда же собирались и мы с Фомичем. Я хорошо запомнил тот северо-западный край Украины, пути следования туда лесными дорогами. Удобные абсолютной скрытностью, сравнительно короткие дороги вели из одних лесов в другие, из блокированного врагом Брянского леса в глушь Правобережного Полесья.

Тот край изучен был тогда мною настолько, что даже теперь, в этой безбрежной степи, я предельно ясно видел местность в районе Овруча и Чернобыля. И вот теперь, спустя полгода, я, видимо, пройду по тем лесистым дорогам. Туда надо пробиться чего бы это не стоило!

«1 марта 1943 года.

Сидим в лесочке, похаживаем на сад. Лошадей в канаве поставили, дали им просяной соломы, а сами сгрудились в разрушенной хате. Но холод не дает спать, и я взялся за карандаш», — записывал в своем дневнике Иван Коренский.

Он, как и прежде, находился в Червонном отряде, который оторвался от соединения и уже третий день метался по Прибужью, уходя все дальше и дальше в направлении Полесья.

Все те же думы: «Где наши?..» Неужели все так, как сообщил Тхориков в Москву, — соединение погибло? Или же правда то, что отряд сближается с другими отрядами?..

Мечемся по степи, будто корабль, который потерял управление. Выскочили на крутояры к Бугу, но потом помчались обратно. Ни одной повозки. Можно представить, каково пришлось радистке верхом с радиостанцией: измоталась, просто жалко смотреть... Карты у нас нету, компас только у командира отряда. Благо, густой туман висел, и мы незамеченные подъехали к одному хутору... Стали было на отдых.

Это был второй наш привал за двое суток. Только заснули, а дозорные уже тормозят: гудят моторы, приближаются немцы!

Отряд — на лошадей! И снова скачка!.. По бездорожью.

В суматохе я обронил где-то нагай, едва не попался сам в лапы немцев. Дело в том, что, когда садился на лошадь, лопнула подпруга и седло скользнуло коню под живот... А немцы уже возле самого хутора...

Стадник и Федя Гусаков застрочили по ним из немецких «универсалов», сдерживают, а я подпругу связываю брючным ремнем, потом мы втроем поскакали вдогонку отряду. Гитлеровцы палили вслед из пулеметов, но нам удалось проскочить опасное место, а там уж и хвост отряда показался. Только это был не хвост... Ординарец Тхорикова Афанасьев и радистка Валерия бежали из последних сил, потеряв надежду угнаться за всадниками.

Поравнявшись, я спросил, где их лошади?

— Подо мной убило...

— А моя ногу сломала, когда прыгала через канаву.

Я соскочил с лошади и усадил на нее радистку. Гусакова с пулеметом направил прикрывать нас, если понадобится, со стороны села, за которым скрылся отряд.

Стадник же взял к себе на коня Афанасьева. Они быстро поехали, а я побежал рядом со своей лошадыю, держась за стремя.

Я бежал изо всех сил, пока не увидел группу стариков, толпившихся у конюшен.

— Лошади есть? — спрашиваю с хода.

— Нема, товарищ, всех хлопцы забрали. Один только жеребец остался, хотели и его взять, да он злой, как черт!

— А ну, покажите вашего «черта».

Деда привели к жеребцу, который гремел цепями да сверкал горящими глазами.

Поборов страх, я направился к стойлу.

Жеребец задрожал и оскалил зубы. Мне удалось всунуть трензеля в разверзнутую пасть и вывести его на двор. Изловчившись, я вцепился в гриву, вскочил жеребцу на спину. Он вздыбился. Однако, почувствовав острые шпоры, бросился вдоль села...

Отряд безостановочно мчался куда-то вперед, мелькали села. Вечером сменили коней, скакали снова, как вчера и позавчера, пока не ворвались в гущину Гайсинских лесов, о которых мы ничего толком не знали.

Уже рассвет брезжил, когда командир отряда позвал меня к себе на перекресток дороги.

— Устали кони, и нужен новый проводник. Необходима дневка, — сказал он и дал мне пятерых разведчиков. — На все полчаса времени, — добавил Козлов, сверив свои часы с моими.

По одной дороге я послал Федю Гусакова с двумя автоматчиками, по другой — Федю Ляха, а сам со Стадником пустился прямо. Конь Стадника был изнурен больше моего, и я не заметил, как опередил товарища. Впереди замигал огонек. Значит, близко находится хутор. Я подготовил немецкую гранату с длинной деревянной рукояткой. Уже виднелись постройки хутора, ряды придорожных деревьев. Огонек исчез за сараем, но за плетнем я увидел оранжевую точку, она то разгоралась, то угасала. Должно быть, подумал я, кто-то раскуривает цыгарку.

— Хозяин, а хозяин!.. Выйди-ка на дорогу! — позвал я через плетень.

Но на меня в тот же миг вскинулись четыре винтовки:

— Хальт! Хенде хох!

Мороз по шкуре... Мысль одна: «Влетел...»

Но прежде чем впился в меня луч прожектора, я успел повернуть свою кубанку звездочкой назад.

— Вер нет дорт?

— Кто такой?

— Куда едешь? — ругнулся кто-то за плетнем, и у меня сорвалось с языка первое, что взбрело в голову:

— Полицейский! С пакетом из города.

А в сознании мелькает: «Так глупо попался... Один... Оторвался от товарищей... Капут тебе, Иван Коренский, конец!»

— Посмотрим, что за пакет! — не отводя винтовок, проговорил тот же голос, и на дорогу выпрыгнули два немца, они ловко схватили за повод Черта.

«Эх, Иван, Иван! — клял я себя. — Почему не повернул автомат из-за спины под мышку?.. А может, заехать во двор и там изловчиться? Ну, а что, если автомат откажет? Нет! Уж погибель, так с музыкой!..»

Я взмахнул изо всей мочи гранатой-палкой. Огрел одного солдата по голове, другого мой конь столкнул...

— Ге! Гей!.. — Шпоры впились в бока лошади, Черт рванул со всех ног, и мы были уже в десятке метров от плетня, когда гроыхнула моя граната.

Подгоняемый стрельбой, конь мой летел вихрем. Я прирос к его гриве и, держа автомат в руке, искал глазами, куда б свернуть от смерти. Где-то в темноте слышалось: «Хальт!», «Хальт!» Надрывались собаки, не прекращалась стрельба.

Сориентировавшись, я направил коня в обход, к перекрестку, где остался отряд. Но каково было мое изумление, когда вместо отряда я увидел Стадника, тяжело шагавшего с седлом на плече!.. Он был один.

— Уехали! — ругнулся он и бросил седло на дорогу. Я посмотрел на часы. С тех пор, как мы расстались с отрядом, прошло сорок пять минут. Опоздал я на пятнадцать минут... Не оставили даже маяка...

Что же делать? Где искать отряд? Напрасными были поиски следов на мерзлой земле.

Уже светлело. Стадник взобрался на моего Черта и, стоя на седле, увидел в бинокль пятерых конников, которые находились километрах в шести — по ту сторону широкого яра. Мы не сомневались — это были свои, оставшие, как и мы, от отряда.

Усевшись оба на Черта, мы вскоре догнали Федю Гусакова и его разведчиков. Гусаков доложил, что отряд

укрылся близ того же села, где я едва не попал в руки фашистам...

Хлопцы радуются нам и ругают командование. Оказывается, услышав стрельбу в селе, Тхориков не захотел рисковать. Мол, семеро одного не ждут!

— Но ведь один Стадник семерых стоит! — пытался возражать Коновалов, но где там!..

А отряд тает: вчера отстал в степи Дегтярев с двумя бойцами, не возвратился из разведки Федя Лях, тоже с двумя бойцами...

20 марта.

Раннее утро. Вся степь оранжево-красная. Или это в глазах у меня кровавая паутина.

Хочется снять сапоги. Я даже пробовал идти босиком. Поднялся, а ноги — ох, ноженьки кавалериста! Нет сил, хоть пропадай!

Думаю: посиди, Иван, отдохни немножечко, а там поднажмешь, нагонишь своих эсманцев.

Вот и сижу, а чего сижу? Никто не спросит, никому дела нет до тебя в степи... Сидишь, ну и сиди с богом!..

Вот так потеряли многих. Кто отстал. Кто заспал — тоже отстал, кто немного забрел в сторону — потерялся, как монета на дне озера. Нет, нет! Надо заставить ноги двигаться! Не хуже ведь я тех, которые ушли, вон уже только точками обозначены фигуры людские на горизонте, хотя у каждого наверняка на ступнях мозоли кровавые...

Надо идти. Топай, Иван, коль отдал своего Черта за кусок сала. Но ведь Стадник тоже удружил свою лошадь солдатке.

Все это случилось в ночь на восемнадцатое неподалеку от Гайсина.

Подошли мы к реке Сиб, конной переправы нет. Еще днем попытались влявть форсировать реку, но не вышло: утонул один наш товарищ вместе с конем. Пришлось ждать ночи. Мы укрыли коней в кустах, а сами отошли подальше, чтоб пересидеть до вечера.

Вечером снова попытка перейти Сиб по мостику. Жиденький, полуразобраный, он не годился для коней. Еще раз — вброд. Не вышло! Столкнули одних коней, но они не смогли выбраться на противоположный крутой берег и поворачивали назад, тут уж хлопцы помогали им вылезть на берег...

Снова отъехали от реки, сутки простояли в лесу. Холодно, голодно. Весь день настороженно ожидали прочески лесов, но обошлось благополучно, а вечером Козлов объявил решение Тхорикова: бросить коней...

Никто не поверил, что есть такой приказ, но когда убедились — запротестовали, зашумели:

— Как это бросить?

— Мы кто: нищие, калеки перехожие чи партизаны-конники?

— Без коней — значит, без крыльев.

— Крылья! — прикрикнул Тхориков. — Они демаскируют нас. Лошадей не спрячешь на чердаке или в скирде соломы...

И вот в сумерках расседлали лошадок, бросили седла. Хмурые, побрели на переправу к тому же Сибу.

В полночь перешли по кладкам, долго ожидали из разведки Щеколдкина. Больше часа простояли, но не дождались. Тхориков сказал:

— Больше нельзя!

Начался ропот:

— Зачем было посылать в разведку близорукого человека? Может, разбил очки или совсем потерял их! Ротозейство!

— Не велика беда, все равно следовало отдохнуть, — заявил равнодушно Тхориков.

Но как же «все равно», когда лучше было б отдохнуть на краю села, в хатах, — там бы и поспали, перекусили малость.

Потеряли мы Кочеткова, замечательного товарища, потеряли с ним двух бойцов. В отряде сейчас не более сотни товарищей.

После полуночи снова двигались в северном направлении и утром набрели на село, но здесь не пришлось задержаться: появились немцы на автомобилях. Не заходя в хаты, они развернулись в цепь и начали прочесывать перелесок. Мы же прятались в это время на огородах. Как зайцы, пробегали мы весь день по балкам да кустарникам...

Вечером, когда отряд отдыхал уже в лесу, метрах в двухстах от нас показались две автомашины с солдатами. Мы спрятались за дровами в мокром снегу. Немцы проехали и даже не посмотрели в нашу сторону.

Это показалось обидным.

— Надо было задать им!.. — со вздохом заявил Боров.

Его поддержал Коновалов:

— Конечно, можно было ударить...

— Вы теперь все бедовые, когда опасность прошла, а до этого речь отобрало!..

— С хорошим петухом, товарищ командир, и куры кудкудахнут по-другому!..

— Не до кудахтанья. Теперь наша тактика такая: тише воды, ниже травы,— высказался Тхориков.

Мы видим что и самому нашему командиру Козлову не по душе эта заячья стратегия. Видно, раскаивается и он, что бросил коней...

— «Тише воды, ниже травы». Мыши мы, что ли?..

Голодные, озлобленные, мы так и шагали всю ночь, а перед утром постучались в оконце крайней хаты.

— Кто там? Пускать не велено. Не открою!

— Свои, выйди, хозяин. На минутку!..

Секунды тянулись часами. Но вот кто-то на пороге.

— Немцы в селе есть?

— С вечера были, теперь не знаю. Только что приходили молоко пить. Говорили: партизанский десант идет, и они, немцы, прячутся днем в скирдах. Там караулят их... И на дорогах...

— Где ж тот десант?

— Возили дядьки зерно в Ильинцы, так слышали: проехала кавалерия Красной Армии. Может, не одна тысяча... И у всех карабины, как у вас — со сковородками...

— Как у нас?! Ладно, папаша, мы ушли, а ты чтоб ни гугу, понял? Что к тебе партизаны заходили. Ясно?

Козлов, выслушав нас, сказал:

— Сомневаюсь, чтоб наши это, однако возможно... Разберемся. А вот что немцы в скирдах ночуют — это пахнет керосином...

Остаток ночи мы со Стадником использовали, чтоб разведать еще несколько сел по пути движения отряда, но везде слышали одно и то же: «Стоят немцы, а лесов нет поблизости».

Уже светало, люди едва волочили ноги, сутки никто не ел, и мы со Стадником стучимся в окно хаты.

— Мамаша, немцы в селе есть?

— Полно, люди добрые. Целый день стояли, и ночуют!.. Да по эту сторону ровчака хат с десятков не заняты, а в селе ж они — повсюду. Днем тут и к нам приходят, яйца собирают, молоко.

— А лес вблизи есть?

— Может, есть, не знаю. Настоящего леса никогда не было.

— Стадник, найдешь отряд? Без меня, сам?

— Найду, Петрович.

— Иди расскажи Козлову, что слышал. Негде больше дневать, как только на этом кутке.

Он ушел, растворившись в сером рассвете. Я переступил порог хаты, подбавил свету в коптилке, напился воды и устало присел на скамейку.

Жалостливо глядела на меня хозяйка. Измученный вид, разорванные сапоги, полугражданское одеяние не могли не вызвать вопроса.

— Откуда ж вы?

— С фронта, мамаша!

— Боже мой, боже! Где-то и мой муж так страдает...

И она уголком платка утерла слезы.

Отряд быстро подошел к селу. Приказ Козлова был краток: «По очереди спать, никому не курить, в случае боя — держаться за куток до вечера, а там — по обстоятельствам!..»

Все молча разошлись по хатам, каждый понимал, что другого выхода нет, что нужно еще сильнее взнуздать нервы, раз уж не взнуздываем больше своих коней...

Поев борща, я поблагодарил хозяйку и спросил, боится ли она таких вот незваных гостей, как мы?

— Мне-то не страшно, а вот этих двух дармоедиков жалко, — указала она на детей. — А вообще, товарищ начальник, не бойтесь. Что бог даст, то и будет!.. Все ж таки люди мы свои... советские.

Спали как мертвые, хотя за яром квартировали немцы. В нашем распоряжении было одиннадцать дворов. А день выдался, как назло, яркий, солнечный!

После обеда, когда подошла моя очередь дежурить, Стадник сказал, что в селе активизировалось движение... Через дыру в крыше я увидел, что лошади уже впряжены в фурманки. Немцы собирались куда-то уезжать.

Проходивший мимо немец загляделся на девушку, которая полоскала у ручья белье. Подойдя к ней, он обхватил ее... Девушка закричала, начала вырываться. Немец пригрозил пистолетом.

Все мое нутро перевернулось от негодования и злобы. Казалось, я подлец, жалкий трус, раз смотрю и ничем

не помогаю беззащитной. Но в эту минуту офицер позвал солдата и послал его к нашей хате.

Через некоторое время я услышал в сенях разговор. Немцы требовали молоко, яичек.

— Нет яйки, пан! Камрады ваши забрали, ни одного не оставили. И корову забрали...

— Матка, млеко, яйки! — настаивали солдаты.

Я взял в руки десантный нож. Если полезут — зарежу одного, а с другим — как выйдет...

Но, поговорив, солдаты стукнули дверью и ушли, а с заходом солнца их отряд покинул село. По-видимому, пошли они расставлять засады против «десанта», патрулировать шляхи и переправы.

Мы слезли с чердака. Я выпарил в горячей воде ноги, измозоленная кожа на ступнях отставала слоистыми желто-зелеными пластинами.

Когда сели ужинать, хозяйка, подав галушек, поставила большую сковороду с яичницей.

— Вы ж сказали немцам, что нет яичек?..

— Не хотела супостатам отдавать! Для вас берегла.

— Эх, мать, мать! Да ведь могла беды накликать, если б не поверили вам фрицы да на чердак пожаловали!

— Эх, сынки, сыночки! Беду, коль идет, не отворишь! Знать, судьба вам жить, дорогие!

И снова в пути ночь. Сегодня уже 22 марта. Дневать выпало в чахленьком лесочке. Всюду снег, негде прилечь, мы сильно проголодались, а в село не зайдешь: немцы.

Вчера охотились за нами в Дашевских лесах, но мы не приняли боя, скрылись. Но по дороге отстал мой дружок — политрук Сашка Шеколдкин, и с ним еще два парня. Жаль ребят, их могут изловить, хотя Саша находчивый, умный.

Было уже за полночь, когда мы поднялись на бугор и увидели зарево от множества электрических огней, сиявших совсем близко. Мы остановились как вкопанные. Не Винница ли?.. Козлов сказал, что едва ли это Винница, хотя тут же оговорился: могли отклониться влево. Вынув из планшета изрядно потрепанную школьную карту, он начал, подсвечивая фонариком, ориентироваться на местности.

— Что бы там ни было, — проговорил он, — а держаться нам нужно правее. Ты, Коренский, давай в разведку со Стадником!

И мы отправились. Пошли к селу, которое угадывалось по деревьям на фоне зарева. В селе было тихо, и это особенно настораживало. Через огороды пробрались к хате. Только хотел я постучать в окно, как из-за плетня, со стороны переулка, послышался кашель...

Мы прислушались. Кто-то приближался к хате размеренной, твердой походкой. «Наверно, немец!» — подумал я, оглядываясь по сторонам. У хаты укрыться нам негде, уползти назад не успеем... Решаем лежать. Вот уже слышим немецкий говор... Патрульные, как назло, остановились у калитки и начали о чем-то совещаться.

Что делать? Могут пропасть даром бесценные ночные минуты, нас ждет отряд. Но и стрелять глупо: поднимется шумиха, начнутся поиски, преследования, и кто знает, чем кончится все это для отряда.

И посоветоваться нельзя: услышат... Молча поглядываем то на двух немцев, которые шагах в тридцати от нас, то — друг на друга. А ночь лунная. Но вот патруль отошел к соседнему двору, к нашим немцам присоединились еще двое. «Ну, — думаю, — попали в переплет».

По-пластунски переползли редкий вишняк и — в огород, а там — в поле...

Занимался рассвет. Отряд шел нам навстречу. Козлов, не дождавшись нас, решил укрыться в селе. Но теперь пришлось резко менять направление, чтоб не затевать боя с гарнизоном, да еще перед утром, что было бы только на руку карателям.

Вскоре увидели мы скирду и побежали к ней. Командир сказал:

— Вырыть норы, сидеть, не высовываться!

Батеха первым начал смыкать руками солому, его ругань, казалось, облегчала работу.

— Э-эх, на конях бы теперь рвануть, так нет, в соломе гребемся, разве это партизаны?

— Точно!

Я посмотрел, как зарывается Тхориков, и меня обуял дикий смех. И не потому, что неловко он это делал. Вспомнилось, как на берегу Буга он Чапаевым ходил...

Вскоре мы все уснули. Только пулеметный расчет Панченко и Гриши-матроса, взобравшись на скирду, бодрствовал.

Уже после обеда нас разбудили выстрелы.

— В чем дело? Что за стрельба?

Панченко доложил, что стреляют по роще, находящейся в лощине. Цепь солдат, человек до ста, продвигалась к ней.

Я взобрался на скирду, сменил Панченко. Гриша-матрос уже был ранен в голову.

Оглядевшись, я увидел бесконечный обоз, который тянулся из города по проселку. Он продвигался как бы в обход нам и параллельно балке. Еще полчаса — и наша скирда окажется окруженной.

Была еще возможность прорваться к роще. Я доложил Козлову обстановку, сказал, что выход у нас один: пробиться в лесок через лощину. Все засуетились и заспешили.

— Коновалов! Боров! — вскрикнул командир отряда. — Давай цепью на лес!..

— Давай, давай, ребята! — начал звать по имени своих бойцов Боров.

Коновалов тоже стал сзывать свою роту.

Исхудалое лицо Тхорикова было бледным. Он бегал за Козловым, поглядывая то на рощу, верхушки которой просматривались и от скирды, то на дорогу, по которой приближался обоз с солдатами.

Козлов кричал:

— Коренский, Стадник, Щеколдкин... Бегом к лесу!..

И это казалось несерьезным, ибо командир не помнил, что нет в отряде Щеколдкина.

— «Коренский, Стадник!..» — раздраженно передразнил Стадник, показывая пустые автоматные магазины. — Да с чем я побегу, если в диске семнадцать патронов?

— На, возьми!.. — предложил Тхориков запасной магазин.

Все бросились наперерез врагу. Пробежав метров сто, я оглянулся. За мной бежали Павка Кандыбин и Панченко. Они что-то кричали, ведя огонь. Вслед за ними бежал весь отряд. Немцы залегли и быстро работали своими лопатками — окапывались.

Я упал на опушке леса, обессиленный.

Вскоре послышался голос Козлова. Он указывал позиции пулеметчикам Кандыбину и Панченко.

— Ну, братцы, раз выкарабкались, долго жить будем! — плюхнулся рядом со мною Батеха.

Отряд залег на опушке. Немцы наступали. Мы сдерживали их некоторое время, а затем отошли в глубину леса.

Мы кружили до конца дня, а в сумерках вышли к лесничеству. Где-то внизу шумела вода. За рекой — большое село.

— Там полно немцев,— сказал лесник.— Станция тоже забита воинскими эшелонами.

— А мост через речку есть?

— Есть, около мельницы, но его охраняет полиция. И в самой мельнице тоже они торчат. Теперь все взбудораженные: «Десант, десант!» Может, и вправду где-то десантная армия... Мельница метрах в пятидесяти. Можно незаметно пробраться, а там уже ваше дело...

Стемнело. Стадник пошел впереди, я следовал за ним. Взошли на мост.

— Стой! Кто идет?

Стадник ответил спокойно:

— Свои, не кричи так громко!

— Куда ночью прешь?

— На мельницу. Несу хлопцам горилку!

— Кольке?

— Эге.

— А ну, неси ж! И я попробую.— И часовой пошел навстречу.

Поравнявшись с ним, Стадник огрел его по голове шкворнем, снятым с лесниковой повозки.

— И-на!.. Пробуй!

Не успев охнуть, тот рухнул кулем на мост. Мы свалили его в шумевшую реку. Отряд преодолел переправу, начал обходить город слева. Это был Казатин, а мы думали поначалу — Винница».

Глава XVII

У СТЕН «ВЕРВОЛЬФА»

— Конец езде! — с досадой заключил Василек и придержал коня на перекрестке дорог, где одна стрела указывала на Винницу, другая — в противоположную сторону — на Казатин.

Василек нехотя сошел с коня. «Да это подкова!» Блестящий полумесяц ее сломался на месте, где была дыра от выпавшего переднего шипа, и болтался, роняя ноги коня, уже окрашенные сгустками крови.

— Да стой же! — прикрикнул юный конник.

Не выпуская поводя, Василек положил ногу коня на

свое колено как делают это кузнецы, и приступил к делу. Паренек вскоре покраснелся, упарился: снять голой рукой подкову — не такая простая штука! Вот она, наконец, звякнула, блеснув, будто рыбка, и Василек сдвинул на затылок немецкую пилотку. Обтер рукавом шинели подкову, провел пальцем по гладкой отполированной стороне ее, ухмыльнулся. «Недурна фрицевская работа!»

Он занес было ногу к стремяни, как вдруг... «Нет, это черт-те что! Немцы...»

Из-за придорожного куста выросло несколько касок, и Василек, делая вид, что ничего не замечает, взлетел в седло, картинно зачиркал зажигалкой, прикуривая сигарету.

— Ком, ком! — позвали из кустов.

Василек лихо соскочил с коня и, приложив руку к правому виску, звонко клацнул шпорами, показав, что молодой казак любит дисциплину.

Черные глазки автоматных дул опустились, шлемы зашевелились, раздвинулись, уступив место щегольскому, с высокой тулней, киверу, который косо сидел на голове молодого фрица.

— Вер-гер-гер... Га-га-га! — загоготал кивер, но Василек не увидел в этом ничего угрожающего. Съедая веселыми глазами эсэсовцев, он громко произнес:

— Нихс ферштейн, пан офицер!

Тот, полуобернувшись, позвал:

— Недельски!

Беззвучно-плавно, словно водяной жук, выскользнул из куста жердеобразный тип в шляпе, в кожаном пальто и с нарукавной повязкой переводчика. Узкое лицо будто клюнуло в Василька:

— Папир... Документ!

Жук долго и тщательно рассматривал удостоверение ординарца жандармского есаула, а Василек в это время разглядывал длинные пальцы его рук, татуировку креста с трезубцем вдоль запястья, унизанного пепельно-серой щеткой, острое, топоробразное лицо.

— Какие знаешь молитвы? На кого стрелял с пистолета?

— Молитвы?.. От пули, от живота и от гули; от сухоты и глухоты; от хворобы и зазнобы,— вспомнил Василек «Сон пресвятой богородицы», который со смехом и прочими дополнениями воспроизводил он под дружный

хохот хлопцев, кочуя еще на Полтавщине в начале Степного похода. Этому искусству научил его балагур Инчин, и оно сейчас стало в пригоде.

— А прежде всего — от контузии и от раны кровотокащей, от огня и воды, от болота гнилого и глаза лихого. Только все по-нашему, по сектантски, — продолжал изворачиваться Василек. — А что касается пистолета, то, конечно, стреляю по всяким врагам отечества!

— Короче отвечай, хлопче. Скажи, как зовут персональную собаку пана есаула? Чи знаешь кого у киевском гестапо?

Только глазами усмехнулся Василек переводчику.

— Как же не знать, пан Недельский, но... вы спрашиваете, извините, о таком, о людях, среди которых служит и другой мой дядя, и еще трое или четверо родственников, но, право же, нам не следовало здесь... — Василек заговорщицки улыбнулся. Прошлась и по тонким губам переводчика едва уловимая усмешка.

— Кроме того, пан переводчик, последние полгода опергруппа есаула Бунчука непрерывно была в командировке по обслуживанию Харькова... Само собой, были за то время перемены и в составе киевского гестапо, — округлил Василек второй свой ответ, взглянув с располагающей улыбкой на переводчика и офицера. — Да, — спохватился он, — я не назвал собаку по имени, но мой дядя не терпит собак, даже шюхачек немецких, он такого убеждения, что самая чистоплотная собака все равно смердит псиной...

Переводчик словно не замечал увертливых ответов и, не меняя тона, расставлял свои ловушки:

— Як зветься киевський комендант?

— Генерал-лейтенант, бригаденфюрер СС, командующий полицией безопасности и СД территории Украины доктор Макс фон Томас! Для меня, казака, он наипервейший комендант не только в Киеве, но и по всей Украине и Белоруссии!..

Василек не мог не заметить, как при упоминании этого имени будто пружинами приподняло офицера, а с ним — и переводчика. Оба они невольно даже подтянулись, и это побудило Василька еще разок перечислить титулы генерала Макса Томаса, заученные им еще в начале рейда. В комендантском звезде тогда немало удивлялись, зачем это столько титулов одному генералу! А Василек смеха ради дополнял предлинную цепочку титулов

словами: «Фон-вон, коробку маку тебе в... бригаденфюрер и доктор Томас... если не нашу, то красноармейскую, и у себя дома — с...»

Сияя светло-кариими глазами, Василек мысленно внушал себе: «Не теряй самообладания! Не упускай инициативы!» Это его всегдашнее правило: наглости бандеровца-переводчика Василек противопоставлял смелость.

— Кто у Києви замиснык командуючого жандармерии?

— С вновь назначенным не встречался, а старый генерал фон Чаммер убит днями в сражении с партизанами под Уманью! — бросил Василек, вспомнив, что про Чаммера он где-то читал в листовках. «За что купил — за то продал».

Между тем группа солдат в пятнистых плащпалатках, накинутых поверх шинелей, тихо переговаривалась, неприязненно поглядывая на Василька, на его неочищенные сапоги, на измятую шинель и парабеллум, висевший по-немецки — у пряжки пояса, косились на шашку «дончиху» в изрядно поцарапанных ножнах и нагайку с пучком красной шерсти у рукоятки. Из всех слов Василек разобрал только несколько: «Казак, Украине, Киев, жандармерия».

За кустами зуммерил телефон, повизгивала овчарка, привязанная к пехотной пушке, а переводчик все сыпал провокационными вопросами. Время от времени желтый взгляд бандеровца приковывался к быстро бегающей по бумаге авторучке эсэсовца. Теперь Василька выспрашивали: где он был? Куда ездил? Почему один? Почему не опасается бандитов?.. Но были они, конечно, смешны: кто боится ходить по родной земле? И какой это казак трусит перед опасностями? А относительно того, куда Василек ездил, так то проще простого: ординарец есаула находился в домашнем отпуске на две недели за хорошую службу, и нельзя же было не погостить проездом у тетки и двоюродного брата — тоже начальника жандармерии в Богодухове!

— Гут! — буркнул, наконец, офицер и приказал проверить содержимое переметных сумок. Несколько эсэсовцев быстро ощупали добротное новое седло, извлекли оттуда три пары белья, из которых одна была Василька — недомерок.

— Почему такая разница в размере? — спросил переводчик. — Не воровано ли?

— Конечно, большеразмерное белье не мое — есаулово! — вспыхнул Василек. — Говорю же: для начальника, для есаула Бунчука везу.

И это было почти правда: не мог же Василек сказать, что реквизировал белье у коменданта, и седло с конем, и парабеллум, отправив служителя рейха к прадедам. Что эта дерзкая операция стоила ему чуть ли не головы и что, нелепо вывалившись из саней во время сражения под Шляховой, он потерялся в степи. Волочился он по грязному косогору на вожжах, увлекаемый обезумевшими от бомбежки серыми, которых так и не смог удержать. Обжег ладони рук, содрал кожу с пальцев. Ко всему, он готов был сгореть от стыда за то, что упустил командирских лошадей: умчались они из села в поле, заполненное гитлеровцами, умчались, унесли в санях рюкзак с бельем командира соединения — единственным его личным имуществом...

Подавленный, Василек не мог показаться в отряде. И вот еще эта встреча...

Офицер ушел с переводчиком за кусты, а Василька обступили эсэсовцы.

— Партизан капут? Партизан пух, пух! — заговорили солдаты, и Василек сообразил, что они не считают его чужим, что готовится нападение на партизан, которые, должно быть, находятся где-то близко. У Василька захватило дух. Чтобы скрыть волнение, он начал угощать солдат комендантскими сигаретами, стараясь пояснить, какой хороший жандарм есаул Бунчук и как он ценит его, Василька, своего родного племянника.

Но вот на перекрестке дорог высадился из фургона регулировщик с бело-красным жезлом. Вскоре на Винницкую дорогу вырулили большущие автомобили с солдатами. Опережая их, пронесся стрекочущий поток мотоциклистов с пулеметами на колясках, прокатили пушки на прицепах, прожекторы, автобусы с большими репродукторами на крышах.

— Карделевка! Карделевка! — затрубило с автобусов, и фельджандарм быстро замахал жезлом. Брызгая грязью, машины неслись в западном направлении. Перед глазами Василька замелькали красные кресты на бортах, черные трубы автокухонь, антенны автомобильных радиостанций.

— Карделевка, Кардылевка!.. Ка-кар-кар!..

Последними проползли, сверкая траками, четыре тан-

ка. Из открытых люков башен выглядывали танкисты в тугих черных куртках, в черных пилотках с красными кантами; облепивши танки, пьяные автоматчики с раскрасневшимися лицами горланили:

— Гайла-риа, гайла-ра!

Моноплан-долгоножка, кружа над скопищем войск, выпустил две зеленых ракеты. Немцы замахали ему руками, крича:

— Партизан капут! Капут!..

Появились автомобили с полицаями, на которых уродливо топорщились шинели неведомого покроя и шапки-мазепинки. Белели повязки раненых. Полицай выглядели осунувшимися, растерянность не сходила с их лиц. Шлепая по обочине дороги, конь-о-конь, потянулись власовцы — «казачки». На подводах и пеши следовала разношерстная толпа понурых прихлебателей, «сочувствующих», тайных и явных агентов. Этим сбором командовал офицер полиции с белым галуном на мазепинке. Василек слышал, как полицейские подобострастно называли его «пан сотник Кобчик». Сотник крутится на коне, трясет нагайкой.

— Как на кладбище, тянетесь!

Полицай, виновато улыбаясь, гудят:

— Тяжело оружие нести, пан сотник!

Василек едет в группе конных, под присмотром самого пана сотника, который почему-то решил вдруг объявить его своим вторым адъютантом — джурою.

Васильку весело. «Ей-богу! С этим, кажется, можно! Бывает же вот так,— думалось Васильку,— навалится на тебя горе, попадешь в беду. И вот — спасение». Но более всего радовало его сознание, что удалось втереться в доверие, «прошел номер». Конечно, он найдет способ выскользнуть из этого гадючника, попасть к своим, что было бы высшим счастьем для ординарца командира хинельской гвардии!

Похоже, будто действительно поверили ему и его документу, раздобытому еще под Кременчугом и толково оформленному лейтенантом Инчиным!

К черту теперь гестаповского холуя — переводчика, говорившего, что будет звонить из Кардылевки есаулу Бунчуку! Прыщ гнойный, он и понятия не имеет о том, что было на шляху между Кременчугом и Кировоградом и куда делся есаул со своим штабом!

К черту сотника Кобчика, лгавшего, что есаул Бунчук

лучший его друг, что вскоре он увидится с ним, вручит с рук на руки молодого джуру!

Провокация!

Звонким, ломающимся голосом Василек запел на мотив одной раздольной кубанской песни свою, партизанскую, сложенную Инчиным:

Как мы шли во поход, так смеялась зима —
Мол, в походе и ночь укоротится!..
Кто из вас, казаков, молодых удальцов,
Никогда в дом родной не воротится?

Как мы шли в тот поход, лютовала зима,
Будто нас ей хотелось обидеть,
Будто вьюгой своей всем сказала она:
«Мать родную никто не увидит!..»

Один за другим, сдерживая коней, поджимались к Васильку серошинельные хмурые власовцы. Мать-Кубань, отец-Дон, брат-Терек чудились им в этом напеве юного разбитного казака, судьбу свою, приговор свой чуяли они в словах этой песни. И не только слушали сердцем, а подхватывали сами, гремя загрубелыми от самогонного перегара глотками.

— Эх, Василек, Василек! — вскрикнул вдруг седой вислоусый власовец. — Да где ты, молодец, раздобыл песню-судьбу, что душу нашу козачью, бесу запроданную, разворушила? Ну, дай же затвердить в памяти слова ее, душа-Василек: «Кто из нас, удальцов, кто из нас, мертвецов, мать родную ни в жисть не увидит?..»

Песня все тесней сколачивала колонну серошинельных и черношинельных конников. Уже в два ряда продвигались мотовойска, все плотней забивалась ими шоссейная дорога.

Только нас, подлецов,
Только нас, мертвецов,
Мать родна никогда не увидит...

плача пьяными слезами, выводил слова песни вислоусый, заражая настроением обреченности это сборище людей. Где их совесть и честь? Все загублено, пропито, продано. Опозорены матери, жены, дети. Это жалкое охвостье белогвардейщины, кулаков брело сейчас, не зная само куда. Это каратели и вешатели, которым ненавистно все: и фюрер, которому приказано служить, и авантюрист номер один — Власов, и война на обширных землях...

Глядя на них, Васильку хотелось крикнуть во весь голос: «Эй вы, вешатели! Я, партизан-конник, плюю в ваши

медные морды! Плюю с ненавистью и презрением! Я еду на вашем коне,— видите? С захваченными у вас документами. Я прикончу любого из вас вашей же пулей! Не чувствуете!»

У голендровского шлагбаума движение колонн внезапно остановилось: станция была забита поездами и эшелонами до отказа. Войска спешно выгружались из вагонов. Царил шум и лязг. Железная дорога пересекалась тут с шоссе, и только конников не могли удержать ни шлагбаум, ни поезд. Обойдя разъезд, они выбрались на Киево-Винницкое шоссе, к Кардылевскому сахарному заводу. А там, по другую сторону водоема, за сизым полем камышей, уже грохотал бой.

Над огромным прудом, не свободным еще от ноздреватого непрочного льда, над всей Черепашинецкой рощей, что стояла вокруг сплошной стеной, сгустился пороховой дым. В емких корпусах завода был наскоро развернут госпиталь. Сюда одна за другой подкатывали санитарные машины. Только убитых офицеров и солдат уже перевалило за сотню. Никто не подсчитывал потерь среди воинских частей, снятых с поездов, с автоколонн и брошенных в Черепашинецкую рощу...

Черношинельники заволновались, скрыто подмигивая один другому, и Василек недоуменно слушал то сожалеющие, то злорадствующие реплики:

— Гляди, никак из самой имперской!

— Из самой имперской охраны?

— Да чего там! Из дивизии «Великая Германия», молодцы были!

— Кто же это их, симпатяг, поразделал так?

— Не иначе, братцы, сам фюрер вблизи, коль его охрану Иваны колошматят...

— Тс-с-с... Закрой поддувало!..

— До ста убитых...

— Хе, цветики! Ягодки будут: уже до аэродрома докатилась...

— Тише, говорю! — снова зашипел сотник Кобчик.

Некоторые, однако, не могли скрыть своих чувств. Так приятно было видеть имперских вояк, уложенных партизанами.

— Ох, о-ох! Потерьки, «подай бох»!

— И я говорю: дай бог, чтоб и он подох!

— Говорю вам — тише! — уже ревел пан сотник, свер-

кая глазищами.— Кто много знает о фюрере, тому виселицы не миновать. Враз сцапают эсэсовцы!

— Ерунда, их самих сцапают партизаны у той рощи!..

— Да только укаюканных выпускают! Глянь, снова три санитарных автобуса. Ха-ха! Знать, и впрямь дело того, раз арийцев в лес посунули! А ведь до сих пор нас гоняли на партизан.

У Василька захватило дух: «Вот дали прикурить! И, конечно, наши! Степняки-кавалеристы!» Он уже не сомневался в этом ни на минуту. Радовался, что все-таки попал на след, догнал хинельцев. Число их, по словам людей, все время фантастически колебалось от полусотни до тысячи, даже до армии. Но Василек знал, что главные силы партизан могли проходить поза селами, потому и численность людям казалась несметною.

«Наши, наши бьют! Но где?» И ему нестерпимо захотелось узнать обо всем достовернее, захотелось проскочить к тому лесу, проскакать близ аэродрома, который называли власовцы фюреровым, куда все более стягивались войска. Но сотник Кобчик помнил о нем и не спускал глаз с юного джурсы. Он даже ссадил Василька с коня и послал его на территорию завода позвать какого-нибудь врача...

То, что увидел Василек возле одного из санитарных автомобилей, так потрясло его, что чувство оцепенения не покидало потом до вечера.

Санитары выносили из машины юного партизана, земляка, Василькова друга — Николая Мосейкина... Во френче, с ефрейторскими нашивками, с немецкими медалями, он казалось, спал, и только смертельная бледность красивого лица говорила о конце его жизни.

Василек едва удержался, чтоб не вскрикнуть, не назвать друга по имени...

За Николаем вынесли еще несколько убитых, и Василек понял, что гитлеровские санитары приняли Мосейкина за своего, подобрали его на поле боя вместе с немцами. Такая, значит, была здесь схватка, что смешались все... И не надо было теперь гадать, кто дрался там, в лесу, за кордылевским прудом. Ведь от Хинели до Шляховой не было дня, чтоб Василек не встречался со своим другом детства — Мосейкиным, автоматчиком роты Цыбулева.

Стало также ясно, что, ища хинельских конников, он полмесяца скакал вслед за Цыбулевым, который, быть

может, водил свою группу партизан, отыскивая соединение. Искал — и не мог повстречаться.

Встревоженный за судьбу своих боевых друзей — эсманцев, ошеломленный встречей с убитым земляком, Василек уже не замечал ни суеты полицаев и власовцев, ни дальнейшего передвижения войск.

Он попытался представить картину боя, жесточайшую схватку, в которой партизаны и эсесовцы, сойдясь врукопашную, дрались насмерть. Люди, лошади... Все смешалось...

Здесь погиб Николай... Погиб смертью героя...

И у Василька еще сильнее заняло сердце.

Он слушал и не слышал все нараставший грохот стрельбы в Черепашинецкой роще; не заметил, как прошел длинный, страшно тяжелый день.

К концу дня гитлеровские войска потеряли наступательный порыв и окопались вокруг леска.

Умолкла стрельба.

Именно тогда с КП, со второго этажа каменного строения завода, один из генералов заметил толпившихся на улице конников. Снова перед глазами Василька появился переводчик Недельский. Польщенный поручением генерала и еще более высокомерный, он был среди власовцев.

— Кто хорошо знает по-российськи? — выламывался он. — Кто хочет сделать приятное пану генералу — проскачет до бандитов з ультиматумом?..

— Я! — вырвалось у Василька. — Мне хочется сделать приятное генералу и пану есаулу жандармерии!

По совету сотника Кобчика Василек поехал сначала к другому КП аэродрома. Следуя к месту назначения, он не подавал вида, всматривался, запоминал, где и какие войска сосредоточены здесь на сравнительно небольшом участке — мешке для партизан. Получилась такая картина: на шоссе с запада находилась автоколонна; засада танков — с южной стороны; барьер из воинских эшелонов — к востоку от Черепашинецкой рощи, на севере — Василек об этом узнал еще днем — была широчайшая кардылевская запруда, которую по трухлявому льду ни переехать, ни перейти. Все заперто намертво, — все четыре стороны перекрыты...

И в целом это означало тот «капут партизан», о котором хвастливо вещала гитлеровская пропаганда. Фашисты хотели теперь добыть не просто «языка-партизана», ради чего уложили немало своих вояк, а требовали

полной и безоговорочной капитуляции «казакендивизиона».

Помахивая белым флажком парламентаря, Василек миновал цепи окопавшихся немецких солдат, не спеша приблизился к изрытой, искромсанной, обстриженной осколками и пулями опушке.

В ультиматуме, даном Васильку генералами, говорилось: «Сдача в плен — гарантия жизни и работы. Дальнейшее упорство — бомбардировка до полного уничтожения партизан вместе с лесом!» Срок для капитуляции всех партизанских сил — до рассвета.

«Партизанских сил!» — повторил Василек слова генерала, дававшего указания через переводчика. — «Всех сил...» Значит, враги не знают партизанских сил, не знают где находятся главные партизанские силы, с какой стороны и когда ударят они по их кодлу, откуда нападут или где подстерегут. Может быть, даже с воздуха — ничего не знают, падлюки, и никогда не узнают. А раз не знают, так пусть же дрожат, думая, что на Винницу двинулась вся партизанская армия!»

Что мог ожидать в том лесу Василек? Кого мог застать? Только убитых и раненых. Бойцам некуда было уйти. Они не знали жалости к врагам и сами не искали пощады. У них был только один страх — попасть тяжело ранеными в лапы врага. И еще — у них могла быть надежда продержаться в этой роще до спасительной ночи, которая уже близилась.

Отупевший от всего пережитого за день, Василек уже потерял остроту восприятия, его парламентарство было последним нервным потрясением. После этой реакции ничто уже не казалось ему неожиданным, поразительным...

Вот лежит добродушный, рослый, чуть ли не в два Васильковых роста, хинельский ветеран Коля Дзюба. С кучей гильз и в обнимку с разбитым пулеметом, он застыл, окруженный трупам немцев...

В окопчике под лирообразной сосенкой лежит лицом вниз комиссар эсманцев, хрупкий, щупленький с виду Иван Алферов...

Несколько ближе к песчаному бугорку Василек резко осаживает коня: перед ним навзничь, с автоматом в откинутой руке — сосед и родич по Эсмани, командир разведвзвода Петро Филонов... С партизанской медалью и орденом на груди, в меховой жилетке поверх гим-

настерки, черноволосый, со смелым лицом, он как-будто богатырски спит после трудной работы.

Вокруг люди и люди — его боевые друзья, его земляки, товарищи. Окровавленные, изуродованные, они больше не поднимутся. Сколько смертей... за один бой...

Василек чувствует на себе десятки биноклей, следящих за каждым его движением. Из-за бугорков-брустверов сотни солдат не сводят с него глаз. Каждый шаг его фиксируется, возможно, уши врага ловят в этом чутком безмолвии каждый звук... Поэтому проехал он мимо, не закрыв серых расширенных глаз боевого товарища, не сказав прощального слова Филонову.

На всем извилистом пути Василька лежали то лицом к небу, то уткнувшись в землю трупы немецких солдат, лежали и на бугорке, и в ямах, в ложбинках, чужие и свои... Неподвижная бледная рука высунута из песка на бруствере окопа, торчит русый волос, лежат кубанка с крестообразным галуном, автомат с багровыми бликами от заходящего солнца.

Восемь одинаковых кубанок, одинаковых возрастом бойцов... Восемь?.. Восемь!.. Немного левее лежит девятый. Василек посылает коня туда, и в памяти как молния: Холодный яр под Черкассами, тщательные поиски кого-то по заданию Москвы, счастливая находка и его, Василька, восхищение девятью героями из землянки! Нашли-таки!..

Майор и восемь его кадровиков, зачисленных тогда же в Холодном яру в состав Эсманского отряда, в его, Василька, родной отряд, в группу Цыбулева... И вот сейчас перед ним тот же коренастый пожилой майор, которого звали дядя Ваня...

Василек укрылся за сосной от взоров немецких наблюдателей, снял пилотку и поклонился девяти родным для него эсманцам...

Василек пустился в глубь роши. Ему было ясно, что хлопцы держались в этой рошице до последнего человека, до последнего патрона, что все погибли, но не сдались. Теперь не допустить, чтобы кто-нибудь достался фашистам, будучи тяжело раненным. Дал повод коню и быстро выехал через лес к пруду. И вдруг вечернюю тишину оборвал гулкий взрыв. Яркая вспышка справа, слева — взрыв за взрывом. Столбы пламени, трескотня автоматов... Быстрый взгляд Василька зафиксировал мелькнувшую коренастую фигуру с мощной знакомой шеей. Не ожидая разрывов летящих гранат, она метнулась туда,

в дым и копоть... Вот она уже мелькнула по ту сторону полянки, Василек видит в руках прорвавшегося Цыбулева два автомата. Короткая очередь вправо, влево, и командир скрылся в сосновой густой посадке. За ним бросилась группа немецких солдат. И снова слышались глухие взрывы гранат, дым, пыль, летели в воздух клочья одежды, ветви молодых сосенок.

Взмахнув белым флажком, Василек тоже бросился вслед уходившему. В один миг он сравнялся с бежавшими солдатами. Еще несколько рывков — и конь вынес его за боевые цепи гитлеровцев. Кружа меж деревьями, Василек едва сдерживал себя, чтоб не вскрикнуть: «Стой, подожди, Иван Касьянович!.. Я свой! Партизан Вертюченко!..»

Но в это время конь Василька как бы угодил в яму, и Василек уловил яркую вспышку выстрела. Это стрелял Цыбулев, которому не о чем было говорить с вражеским парламентаром. На встречу с кем-либо из своих у него тоже не было надежды. Никого не оставалось в живых, да и ни у кого из его людей уже не было и коня...

Василек успел выдернуть ноги из стремян и соскочить, а сильная фигура с густой шевелюрой бросилась в ярлок и дальше, в камыши кордылевского пруда, еще затянутого трухлявым льдом...

Василек не помнил: сдержался он или крикнул вдогонку командиру, земляку, соседу, потому что это, бесспорно, был он. Иван Цыбулев, добрый сердцем, твердый духом, красивый всем, что есть у настоящего человека.

С камнем на сердце Василек поплелся навстречу фрицам, которые боялись нарваться на партизанскую пулю. Не мог и Василек приблизиться к Цыбулеву: форма жандарма делала его, Василька, врагом, и Цыбулев, не задумываясь, свалит его одним выстрелом, как свалил коня. Погибнуть от руки собрата, друга, да еще по ошибке. Есть ли более горькая участь?

Стемнело, когда Василек, сопровождаемый офицером, подходил к аэродрому. Там гудели самолеты: большие транспортные машины одна за другой взмывали в воздух и брали курс на запад. Суетились комфортабельные лимузины. К пассажирским самолетам спешили генералы, гражданские чины с портфелями и чемоданами.

— Почуяли — пахнет жареным! Отбывают в безопасные места! — сплюнул вислоусый власовец, который успел

сегодня потерять коня и сидел рядом с Васильком в автофургоне.

— Так в лесу, значит, никого? — спросил он Василька.

— Никого. Ушли.

— И твоя, значит, парламентерская миссия — к печной дверце?

Василек не ответил.

— Кто это смазывает пятки? — устало поднял Василек голову. Его не занимало больше ничего. Теперь врагам он казался своим, его «признали», и ему ничто уже не грозило. Однако он их не признавал. Его никогда не покидала мысль: найти своих, и это — казалось ему — легче сделать, оставаясь в волчьей шкуре. — Кто, вы сказали, мажет пятки?

— Фюрер! — злобно отрубил вислоусый и выругался.

— Гитлер? Разве он был тут?

— Да. И вся его свора.

— Уже двадцатая транспортная машина вошла в воздух. Истребители посменно патрулируют...

Василек долго смотрит карими глазами на вислоусого, хитро подмигивает ему и отвечает:

— Так вот почему не громили они партизан из пушек и с самолетов, а хотели живьем всех взять! Боялись, потревожить начальство, поднять панику близ ставки фюрера! Втихую работали...

Глава XVIII

ДАЕШЬ ПСИХИЧЕСКУЮ!

— Хлопцы, Умань прошли! Выходим на Подолию! — с неподдельным пафосом объявил конотопцам Забияка, который все еще не терял надежды найти земляков у легендарного Калашникова.

Разведка пришпорила коней и помчалась через Ивангород, Терлицу и Слободище. Над прудами, что раскинулись почти сплошным двадцативерстовым морем, — густой туман. За речкою Сибом, еще покрытой льдом, подмигивал огоньками Китайгород.

Проехать можно было по длинной дамбе. Но и она вдруг отозвалась из туманной мглы навстречу разведчикам пулеметным огнем... И колонна повернула назад и влево — к монастырищенской станции, к тем же прудам с затопленным камышом, с разбухшим льдом.

С рассветом прячемся в нараевском леске и наблюдаем. Потом выводим лошадей за саустяновскую мельницу и ждем, чтобы ударить по Михайловке внезапно и навалюно.

— Даешь психическую!

Дружный залп изо всех видов оружия — и мы мчимся через поле к Гайсинскому черному лесу. Немецкая комендатура и военный штаб в Михайловке — добыча наших разведчиков. Одинокие выстрелы комендантского караула не могли остановить партизан. Штаб-квартира захвачена. Уже перебиты часовые, комендант, его помощники, радисты. Разведчики наполняют свои седельные сумки боеприпасами, сигаретами, шоколадом, прихватывают белье.

Но комендантские радисты все же успели сообщить в свой штаб, и вскоре на дороге из Гайсина загудели машины. Михайловка уже под дождем разрывных пуль. На улицах рвутся мины.

Холмистая местность, дубовые заросли с глубоким мокрым снегом прячут нас от погони гитлеровцев. Мы прижаты к Гайсину. Ждем вечера.

В Гайсине слышен рокот танков. Со стороны Михайловки — минометный огонь, вокруг глухо грохочут взрывы.

Кони жадно жуют красный дубовый лист и пшеницу, добытую нами на базах немцев. На коней больно смотреть. На многих из них вместо седел подушки и ременные вожжи вместо стремян. Гноятся натертые спины... Верные четвероногие друзья! В прошлую ночь они проделали километров шестьдесят, а днем — не меньше сорока...

Высылаем разведку. Результаты неутешительные: переправа через речку Сиб только в Гайсине, но и та забита войсками. Бродов — ни одного, даже при самом низком уровне воды, о паромах нечего и мечтать. На воде качаются льдины. Пузанов, пытаюсь перебраться через реку, провалился и едва не пошел под лед, коня его затянуло течением под воду...

Общее положение таково: впереди полноводный Сиб с набухшим льдом, позади развернулись вражеские войска, справа — пруды и Китайгород, слева — пруды и речка Кублич, а дальше — все тот же Южный Буг, грохочущий наводнением...

Ночной заморозок гонит нас, промерзших до костей, в гайсинский хутор. Крайняя хата оказалась свободной от гитлеровцев, зато в остальных — битком, все занято ими. Но и один двор — для нас спасение!

Берем проводника — хозяина хаты, и тихо занимаем сенопункт. Обворачиваем копыта коням тряпками, завязываем им морды, чтоб не ржали, обходим села Кисляк, Карбовку и Гунчу — все они расположены вверх по течению Сиба, — и вот, наконец, кладки через реку, шумящую на перекате.

— Тайная переправа, — объясняет проводник. — Бондуровские мужики сделали — по соль ходят.

С его слов я узнаю, что с недавнего времени все села на берегу Сиба заполнены гитлеровцами. Переходить речку жителям запрещено. Дуга этой реки огибала подступы к Виннице — резиденции Гитлера.

Держа коней на поводу, пробираемся за проводником в густом лозняке.

— Вот тут брод, коням по брюхо, а дальше земля, — сказал проводник и первым пошел через речку.

Метров тридцать бредем ледяной водой. Потом наталкиваемся на заросли ивняка.

— Вот здесь немного берегом, а дальше — кладки.

Снова ведем коней за повод. Немцы этой переправы не знают, а на островке не бывают...

Миновав островок и кладки из трех брусьев на козлах, снова бредем через затопленные заросли, цепкие, полузамерзшие. С утренней зарей собираемся в старом яблоневои саду.

— Бондури — село такое, — поясняет проводник. — Почему-то немцы тут никогда не стояли...

Подсушились, обогрелись. Наелись яблок. Ярко-бордовые, сладкие, ароматные. Их все несут и несут из хранилищ. Коням без ограничения — овес и пахучее сено. А в конце дня тревога: в Шуре Бондурянской, в лесу и со стороны Карбовки появились пешие немецкие колонны.

— По коням!

Остаток дня и ночь идем перелесками, ярами и долинами вдоль Сиба. Все чаще и чаще встречаются вражеские гарнизоны. Они расположены не только в городах и селах, но даже в лесничествах. Их поисковые группы прощупывают штыками копны, простреливают и жгут в поле скирды соломы. Брошены на поиски партизан

военные, жандармские и полицейские формирования, мобилизовано и поднято на ноги все, что можно было бросить на борьбу с нами и, конечно же, на охрану гитлеровского логова...

Еще день-два в лесистых балках, в снегах. Накрапывает дождь. Как и все, греюсь телом своего коня, заставив лечь его в снег на бок. Снег тает, и я вместе с конем медленно сползаю по склону вниз, туда, где желтеют проталины и шумит поток. Хорошо, что нелетная погода: редкий дубняк — ненадежное прикрытие для нас. Вместе с нами мерзнут на заставах задержанные местные жители из ближайшего местечка Ильинцы. У них пропуска — кому по дрова, а кто возвращается домой. Под вечер собираю совет командиров. Решение единодушное: возвращаться за Сиб. Яснее ясного: мы в зоне имперской охраны! Уже никто не сомневается, что Винницкие леса — пристанище охраны Гитлера.

В балке уже сумрачно. Отряды выстраиваются на краю перелеска фронтом к прибрежному селению. Там, это известно нам от задержанных, — дамба, каменный мост и, как во всяком райцентре, полно немцев. Но кони и бойцы голодные, мы все промерзли до костей. А главное — нужно вырваться из ловушки, в которую перейдя мост, сами же мы вскочили!

— Все на лошадях! Даешь психическую! — предложил Инчин.

Психическую — ради куска хлеба и ведра овса!.. И чтоб прорваться за реку, выйти из зоны, где каждое село, входящее в зону ставки, тоже переполнено немцами.

Мчимся к местечку. Широко направо и налево развернулись отряды, рассыпались всадники. Слышно: «Даеешь! Даешь!» Рядами, цепь за цепью несутся всадники, размахивают над головами саблями, ножами, а у кого их нет — платками, бинтами, всем, что могло белеть или быть заметным на темном фоне черного весеннего поля. Ряды замыкают те, кто вместо седла пользовался подушками. Пух и перья кружатся, как в метель... Воинственное «даешь» вновь и вновь раздается над степью, которую уже окутывают сумерки.

Видим каменные строения, малиновый отблеск солнца на пруду за покатым голым бугром. Где-то стреляют, рвутся гранаты. Над местечком проносятся трассы пуль, что-то вспыхнуло, запылало. Из-под конских кованых копыт на каменной дамбе брызжут искры. И уже за

рекой неудержимый поток всадников растекается по переулкам.

— Вперед, вперед! Еще нажимим!..

Немцы рядом. Сколько их: рота, батальон, полк? Нам как бы и дела нет. Отбили часть селения — и это корм лошадям, отдых и тепло людям. Для всего этого нужно час или два. А потом — снова в путь, наперекор судьбе, на страх оккупантам.

Выставляю заставы. Плотина, что делит село пополам, — линия фронта. Немцы неустанно обстреливают ее из пулеметов. Огненные трассы скрещиваются в почерневшем небе.

Мне достается дом с верандой, с просторной светлицей. Зажгли лампу, умываемся вместе с Самодовым. Пьем молоко и сырые яйца. Хозяйка затапливает печь, хозяйин присматривает за лошадьми.

А за окном, на улицах и по ту сторону плотины, слышно в темноте выстрелы. Они учащаются. Гитлеровцы укрепились в каменной мельнице. Там они чувствуют себя в безопасности.

Наши заставы молчат — экономят патроны. Каждый партизан знает, что за эти час-два гитлеровцам не уничтожить нас, в крайнем случае, они способны только разведать.

Вызываю командиров.

Вместе с командирами подсчитываем боеприпасы. Впрочем, считать нечего: наши советские автоматы не используются. Стреляем только из трофейного оружия. Бронебойки могут еще произвести не более десяти выстрелов. Плохо и с картами. Трофейная наша карта обрывается на границе Киевщины. Это больше всего беспокоит командиров. Нам предстояло в условиях растревоженной и наводненной войсками Винниччины и Киевщины пройти к Полесью меж большими транспортными узлами: Умань — Казатин, Бердичев — Белая Церковь — Фастов. Получилось, что маршрут наш должен проходить окрестностями Киева.

— Карту любой ценой! Во что бы то ни стало надо достать. Это — дело наших разведчиков.

Я поглядел на Забияку, а тот, в свою очередь, на Романа, который позавчера организовал налет на комендатуру в районе Китайгорода.

— Шмутки всякие, сигареты... — смущенно поежился Роман. — А карты не попадались...

— Искать надо карты прежде всего! Слышите? — предупреждаю разведчиков и прокладываю на ближайшие сто километров маршрут движения.

— Отсюда пойдём на северо-восток — до Володарки. Избегать дорог, будем обходить пруды, реки. Двигаемся только перпендикулярно дорогам и, таким образом, избежим параллельного преследования. Начштаба надо планировать переходы так, чтоб на сто наших километров противнику надо было делать не менее двухсот. Этим уравнием машину с конем. А конь при грязных дорогах надёжней. Предупреждаю: никаких операций отрядам! Только марши, только форсированный поход к Полесью. Слабых коней менять постоянно, реквизируя хороших лошадей у комендантов, полицейских. Оратов, Тетиев, Володарка — эти места изобилуют водоемами, они должны остаться влево от оси движения. Отклонения допустимы только как запасной выход, и то лишь правей — на Уманские и Таращанские лесные массивы. Достигнуть района Володарки — это приказ на ближайшие двое суток.

Коменданты и их прихвостни, узлы и линии связи, зазевавшиеся полицейские, зерносклады, заготовительные пункты продовольствия были добычей внезапно налетавших и мгновенно исчезающих наших разъездов, которые двигались широкой полосой — от Сиба до Роси. Будто в окне вагона, проплыли оратовские, тетиевские, жашковские, володарские села. На коротких остановках партизанская конница пополнялась свежими людьми и комендантскими скакунами.

Со стороны очень хорошо видно стремительное движение колонны. Впереди — стремя к стремени — всадники. За ними в сотне метров мчатся тройки, в полкилометре — прямоугольник три на шесть — конная главразведка во главе с приземистым Забиякой Саввой; еще через интервал идет по трое в ряд, как подобает кавалеристам, головной отряд, затем — штаб, далее — санобоз, замыкаемый двумя конными отрядами, всегда готовыми развернуться вправо, влево для того, чтобы третий мог ударить в центре.

Пусть мы были разбиты, пусть истекали кровью, пусть не те у нас кони и вместо седел у многих всадников дерюги да подушки — мы все равно едем с песнями, под гармони, и молва о действиях партизан опережает нас, катится по степи, как волна прилива.

Глухо гудит земля, мерно качаются силуэты всадни-

ков, оставивших позади ставищанский Сухой Яр и Острую Могилу.

Зацокало, загремело булыжное шоссе под колонной.

— Шоссе?

— Да, белоцерковская прямая дорога и сам город не дальше как в пятнадцати километрах,— поясняет проводник.

Я убеждаюсь, что допустил просчет. Снова, в который раз, подвела нас неточная школьная карта!..

Пламенеет рассвет. Занимаем Ольшанку, Сорокотяги, облепившие своими дворами дубовую рощу. Слева за рощей — река Рось, впереди — Белая Церковь, вправо — все та же Рось. До Белой Церкви только двенадцать километров. Мы прошли в эту ночь восемьдесят!.. Необходима остановка.

...Наступило солнечное теплое утро. Из Белой Церкви прикатила автоколонна. Зеленые и черные шинели заняли позиции, образовали боевые порядки. Вот уже они наступают. Мы отошли к лесу, чтобы стрелять в упор. Автоматная стрельба запрещена. Лежим. Перепуганные стада косуль то тут, то там проскакивают через партизанские цепи. Они исчезают на берегу Роси, где мы укрыли своих коней.

У нас нет патронов. И нам некуда отступить.

Пузанов, пытаясь перебраться через реку, снова утопил коня. Скалистые берега Роси неприступны и соединены лишь дамбой, откуда с гулом низвергается водопад.

Спасение только одно — пробиться через плотину. Но мы уже знаем, что на том берегу — в Городище — вооруженная охрана. И действующий завод, который возвышается над плотиной темной громадой строений, будто средневековый замок.

Прорыв во что бы то ни стало! Дерзкий бросок разведки по плотине и уничтожение караульных в заводе — вот задача главразведки.

И снова Роман, Лях, Пузанов, Николай Божко — все, кто одет в немецкую форму,— мчатся во весь опор вдоль берега Роси, вылетают на залитую талой водой плотину, пробиваются на каменные плиты. Еще один стремительный рывок — и разведчики у стен завода...

Хинельцы сдерживают натиск врагов, на помощь которым прибывают части из Киева. Конотопцы и недригайловцы борются со стихией воды на плотине, занимают Городище.

Отдаю приказ хинельцам отходить, но Ступича нет. Он охотится за убегающим полковником. Еще десяток метров, и полковник укрылся за деревом. Блеснула пристегнутая к поясу планшетка. «Там карта!»

Пренебрегая опасностью, Ступич бросается к нему. Тот пятится и стреляет...

— Планшетку с картой... сумку полковника — капитану... — хрипло говорит смертельно раненый Ступич подоспевшему Инчину.

Вскоре воцаряется тишина — гитлеровцы отхлынули, покинули лес для обработки его самолетами.

Ступич лежит в повозке, схватившись за грудь. Из-под руки струится кровь которую нельзя остановить. Инчин поправляет ему волосы спадающие на восково-бледный лоб. Печать смерти лежит на лице нашего друга.

— Прощай, командир! — еле слышным голосом говорит он Инчину. — Славно повоевали, да видишь — не судьба мне... Умираю... Не надо плакать, командир, вытри слезы... Нагнись, поцелую тебя... Возьми мой пистолет на память... и часы возьми... Будешь жив, заезжай в сумские Гребенки, поклонись родителям от всех троих братьев... Где Лях? Приветствуй его, командир, и Астахова...

Ступич умер на руках Инчина. Глотая слезы, партизаны стояли в изголовьи погибшего.

Ступич... Последний из трех смертников-братьев, извлеченных нами из подвала Мезеневского сахарного завода — резиденции коменданта Барановского... Прощай, храбрый воин, коммунист краснопольского подполья! Мир праху твоему...

Мы насыпали холмик над лесной дорогой из Ольшанки в правобережную Яблоневку. Под разрывы авиабомб прозвучал наш прощальный салют...

Я развернул продырявленный в четырех местах пулей Ступича житомирский лист карты, взятый у оберста. Точная двухкилометровка открыла множество рек и ручейков, дорог и тропинок, проходимых и непроходимых мест, указывала путь к Фастову, Брусилову и через Киево-Житомирское шоссе — в Тетеревские лесные массивы...

Еще день перестрелки, еще психическая из Пустоваровского леса на Шамраевку, затем переправа вброд через Раставицу и Каменку, и мы выходим к реке Ирпень близ Корнина.

И опять вперед! Промелькнет село, другое. Ночь, день,

снова ночь, а мы скачем, скачем. Небольшие стоянки, чтоб подкормить и напоить коней. И снова вперед, только вперед, ибо у нас нет тыла, нет боеприпасов, чтобы отбивать нападающих со всех сторон врагов, нет связи с Большой землей.

Солнечный день.

Конечно, нас ищут пешие, машинами и с воздуха. Но кони и люди укрыты в селе Турбовка. Приказано никому не болтаться на улицах, заставам не обнаруживать себя, пропускать в село даже одиночные автомобили противника.

И вот едут десятка три жандармов, в киверах с огромными металлическими орлами, вооружение — пулеметы, автоматы. Грузовик с опущенным тентом тормозит на площади возле моей квартиры, стук в окно хаты и голоса:

— Куда уехали партизаны?..

Хозяин-старик, высунувшись в окно, не знает, что сказать. Дружный залп комендантского взвода, замаскировавшегося около забора, вносит ясность... Жандармское оружие, боеприпасы, машина, еще лист карты становятся нашими трофеями.

Но из Корнинна, из Попельни, со стороны Фастова уже прибывает целая автоколонна гитлеровцев. Завязывается тяжелый бой, не смолкающий до самого вечера. Ночью просачиваемся в Коростышевские леса, ищем связей с партизанами. А утром осторожно приближаемся к Брест-Литовскому шоссе и весь день зорко присматриваем за дорогой. Выставляем хорошо укрытых наблюдателей. По асфальтированной магистрали скользят автомобили.

Стоим весь день в нескольких километрах от трассы. Всем разъяснено значение автодороги, связывающей напрямую Берлин с Киевом.

Чувствую западню. От населения мы знаем уже, что переход шоссе запрещен, что по городам и селам распространяется немецкая печать, не умолкает радио.

«В районе Брусилова окружены и уничтожены партизаны. Только восемнадцать человек во главе с командиром спасаются бегством. Но это им не удастся!.. Ловите, доносите, сообщайте властям!..» — настаивали гитлеровцы. Назначена и крупная денежная награда. Однако нас удивляет не столько эта кампания, сколько подозрительное отсутствие поисков, преследования нас в лесах, которые почему-то никто не блокирует.

«Западня и западня!..»

— А что там, по ту сторону дороги, на петляющей в лесу реке Тетерев?

Нетерпеливо жду вечера. Все в сборе и готовы «форсировать» асфальтированную магистраль.

В ранних сумерках снимаются один наблюдательный пост, другой, третий. Кроме движения автомобилей, ничего подозрительного не замечено.

Жду лейтенанта Астахова. Бывалый офицер точно выдерживает время. Хотя бы скорей стемнело. Вот прибыл с наблюдательного пункта и Роман.

Доклад его краток:

— Когда темнело, с той стороны из лесу вышло несколько немцев. Совещались, курили на шоссе... Лес вырублен с обеих сторон метров на двести-триста...

«Западня! Но где перейти дорогу?..»

Влево — Коростышев, Житомир и скалистый Тетерев. Без шума не проскользнуть. Неизбежно перережут дорогу из Коростышева или Житомира.

Направо — Киев. Решаю идти на Киев. Прокладываю прямую азимута километров на сорок. Местность, как никогда, согласуется с замыслом: на избранном пути ни села, ни хутора, где бы мог дежурить вражеский сигнальщик или наблюдатель. Расчет на то, что никому не взбрдет на мысль, что партизаны осмелятся приблизиться к Киеву.

Сверяем компасы, записи угловатых показаний стрелки. Объявляю строжайший приказ: «Ни под каким видом не отклоняться от линии маршрута, не заезжать в селенья. Громко не разговаривать, не курить, не отстаивать и не дремать».

— Вперед! — Колонна трогается, сам слежу за показаниями компаса.

Широким аллюром идем всю ночь. Мы километрах в пяти от шоссе, параллельно магистрали. Абсолютная готовность, чтобы ринуться в психическую.

Но вот туман стал немного погуще, и движение колонны замедлилось. Видимо подходим к реке. Заря, близкое утро напоминают, что пора повернуть наперерез дороге.

Натыкаемся на край села. Это Рожев на Здвиже. Река пересекает шоссе, а мост, конечно, под охраной. Теперь мы оказались между рекой и асфальтированной дорогой. До нее не более трех километров.

Только тут — и нигде больше... Крепнет решение повернуть наперерез магистрали. Это наш роковой рубеж, если не преодолеть его. Приказываю снимать двери в сараях и ворота. Это мостики через кюветы, чтобы не потерять в них раненых.

Несколько минут — и подводы, нагруженные этими мостиками, мчатся к шоссе. Там главразведка уже образовала заслон. Тишина, плотнеют ряды колонны, повернутой головой к дороге.

— Вперед, за мной! С места гало-о-опом!

Нет уже смысла в конспирации. Тяжелый топот, грохот и бряцанье повозок, свист плетей, храп коней, как бы понимающих наш замысел, наполняет туманную тишь открытого поля.

Пронеслись по наведенным мостикам партизаны. И вот уже показалась лесная посадка, за которой угадывается синева лесов, обступивших Тетерев.

Радостно на сердце: мы уже в сосняке. Вокруг спокойно. Только вдали что-то сверкнуло, грохнуло, послышались выстрелы... Но все это для нас теперь не опасно: ракеты, фары машин, прожекторы не могут пробить туман. К тому же, светят они почему-то в другую сторону — намного западнее.

Узнаю позже — отстали еще в Коростышевском лесу Роман, Лях и Пузанов. Проспали. Решили там же перемахнуть шоссе. И западня открылась...

Прострелена Романова пилотка и легкое ранение коня — терпимая дань противнику. Передневав где-то в поле, они только в следующую ночь взяли Житомирскую дорогу и добрались к нам.

Полдня отдыхаем в занятых подлесных селах — Раевке, Строевке и Комаровке.

Удивлению стариков и женщин нет пределов:

— Как же вы? От Ставища до Житомира вас две недели на асфальте ждали...

— Какой-то киевский генерал из Коростышева не вылазит...

— Ну, папаня, ихний генерал против нашего командира соли мало ел! — шутит повеселевший Мельник и ласкает рукою белого, как лебедь, жеребца Буяна.

— Да разве ж в немецком генерале дело? — возражают деды. — Там на сто верст вкопаны танки да пулеметы, а макаровский комендант хвалился: не то человека — собаку не пропустят сюда живую!

— А Буяна, деды, возьмем. Ей-ей, славного конька вырастили! — любовался Мельник сахарно-белым трехлетком. — Как это его немцы не забрали?

— Куда!.. На нем никто не сидел и не сядет, вот и стоит...

Буяна держали за два поводка Грызлов с Кузьминым. Упаренный вид их свидетельствовал о напрасных попытках обуздать жеребца. И седловка стояла им немало усилий.

Но все же минут через сорок совладали с конем. Это было делом чести партизанской кавалерии.

Глава XIX

НА КИЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

К вечеру на лесной просеке догорали пять семитонных автомашин, а ихние пассажиры в серо-голубых мундирах, из тех, кто остался в живых, были загнаны в трясину возле реки Белки.

Каратели возвращались из лесного села Хомовки. Ощетинившись пулеметами и винтовками, гитлеровцы ехали лесом в полной боевой готовности.

Но удар нашей засады был точным, внезапным.

После залпа из винтовок и ПТР мгновенно вспыхнул огонь, машины охватило пламя...

С десятков пулеметов «МГ» со снаряженными стальными лентами в коробках и приблизительно столько же ящичков с патронами, выхваченные партизанами из огня, карабины, подобранные на поле боя, пополнили наши боеприпасы, нехватку которых мы чувствовали постоянно едва ли не от самого Южного Буга.

Поисковый отряд карателей совершал свой ежедневный рейс по Тетеревскому лесу и наткнулся на нашу засаду. Нас навели на него местные женщины.

— Куда же вы, хлопцы? В Хомовцах немцы, они обязательно встретят вас. Они ежедневно проезжают через Белку, когда возвращаются под вечер в Киев.

Все патроны, что нашлись в карманах и под сумках бойцов, решено было истратить для захвата боеприпасов.

Ждать пришлось недолго. Гудение буксирующих на песке машин предупредило нас о близкой схватке. Из противотанкового ружья Иван Чуркин продырявил вмиг пятую и первую машины.

Вспыхнул бензин в канистрах. Взрывы горючего были основной причиной паники гитлеровцев. Меткие выстрелы партизан быстро доконали и тех, что пытались спастись бегством.

Собрав трофеи, мы отошли в глубь леса.

Стеклозавод, торфоразработка, лесозавод, сосредоточенные в Кодре, были тем местом, где мы надеялись разыскать киевских партизан и организовать радиосвязь с Москвой, ради которой пробивались сюда вот уже пятнадцать суток.

Еще в Раевке и в Белке указали нам двух-трех человек, знавших, по мнению населения, кое-что о партизанах.

На прямой вопрос:

— Появлялись ли тут ковпаковцы? — лесники осторожно и неуверенно сообщали:

— Да, проходили с месяц назад. Близ Кодры был большой бой. Говорили, что это ковпаковцы...

— Кто ж он, командир их? Из себя какой?

— Геройский дед! Борода у него такая широкая.

— И белая, будто из мела... — добавляли другие.

— У Ковпака бородка черным клинышком...

— Да что вы! Собственными глазами видел — широкая и белая! Спросите кого хотите...

— Выходит, не Ковпак вовсе. Но кто же? Радио у них было?

— Говорят, было, но сам я не видел...

Другие уверяли, что Ковпак геркулесоподобного роста, молод, мощная борода его — что вороново крыло. Да только подлиннее и почернее!

— Где ж теперь они?

— А кто их знает... Пошли за Иванковские леса. На север...

Оставалась еще надежда на киевский подпольный центр, но нити связей, казалось мне, должны были находиться в Кодре.

Мы отправляли лесников одного за другим для установления связи с партизанами. Теперь, после разгрома карательного отряда, лесники стали доверчивей и уже не сомневались, кто мы, хотя повсюду смущал людей наш необычный партизанский вид: мы были хорошо вооружены, одеты в мадьярское и немецкое обмундирование, передвигались верхом на конях.

Наступил темный тихий вечер. Заняв на каком-то поселковом кутке квартиру, я жду партизанских связных и слушаю проворную хозяйку дома:

— Квартировал у меня немец. Ахвицер ихний. Есть же и среди них добрые хрицы. И по-русски понимал. Его также Хрицем звали... Говорит: «Матка, хочешь руса послушать?» Я говорю: «Хочу». Он включает радио, а сам танцует и напевает: «Нема хлиба, нема яйка — до свидання, хозяйка!..» План рисовал на карте и мне показывал, где наша армия на фронте. Стукнет кто в дверь — он выключит радио и указывает для отвода глаз: тут убирай, хозяйка, в том углу и еще — в этом. Уйдут другие хрицы — он снова Москву мне включает. Как-то вышел погулять, я ему и сказала: «Далеко не отходи от дому». Прибегает мой Хриц и говорит: «Матка, недоброе твое село — партизаны в лесу». Я ему говорю: «Хриц, идем в лес, как найдем партизана — ты мне голову отрежешь, а не найдем — я тебе!» А он аж попятился от меня, собрал свое радио, показал карту, как их фронт будет удирать, да и перешел в другую хату, подальше от леса.

— Значит, навещают вас и партизаны и немцы?

— А как же! Царапнет кто-нибудь окно — я уж и знаю, что наши пришли. Позавчера идут мимо и песню советскую поют. Я и думаю себе: «Кому б то быть?» Как вдруг царапнул кто-то, я вышла — боже мой! Офицер немецкий! Стоит с винтовкой в руках. И босый. Я прямо вся затряслась... Но думаю: «Отчего это немецкий офицер босый?..» А то Яша Коваль. У него нога сорок пятый номер — где такие сапоги взять? Пошли мы с дочкой Галей в Дубраву Ленина — сапоги заказывать. А мерку ж не знаем, так мы сказали, чтобы пошили сапоги мужу моему — Ильку Матвеевичу. Подарок на именины преподнести ему. Сюрпризом будто-бы...

Хозяйка вдруг спохватилась:

— А может, и вам нужны сапоги, так они у меня в ямке. Вот сейчас и принесу, только подъемы не для ваших ног — слишком низкие. Впрочем, можно проверить.

Спустя пару минут Митрофановна возвратилась в комнату.

— Берите, прятала их до поры. И вот эту большую книжку. Не знаю, пужна она теперь или нет, но она же наша, советская, значит, надо ее было сохранить. Учи-

тельница перед войной жила — ее книжка. Тут в ней и красная повязка... Говорила учительница — повязка ленинградская. Такая умная, хорошая была учительница. Сама из России. Петь была очень голосиста и на коней говорила не «но!», а «гей!», будто на вола. Такая была девчонка...

Я бережно разворачиваю алый сатин — нарукавную повязку. Крупным типографским шрифтом набрано: «Красная гвардия. Петроград. Октябрь 1917 года».

Это был первый том «Истории гражданской войны», сохраненный в заветной ямке, без плесени, без пылинки, без пятнышка на светло-красном дерматине и на глянцевитой бумаге.

— Митрофановна! — восхищаюсь я хозяйкой и книгой. — Да вы же наша партизанская база!..

Роман ввел в комнату человека — среднего роста, прочно сбитого, лет сорока.

Черный широкий кожух, немецкий карабин, растоптанные, насквозь промокшие валенки, ушанка. Острые глаза на сухом землистом лице испытывающе глянули на меня, на хозяйку, в то время как надтреснутый голос повелительно проговорил сквозь мундштук трубки:

— Настойки побыстрее, настойки давай, Митрофановна!

— Так она же опять на чесноке настояна, — протянула та, но человек в кожухе лишь пыхнул трубкой.

— Хоть на чем — пить буду, ведь я из болота!

Болотный человек шагнул ко мне, и мы знакомимся.

— Коваль, — сказал он и сразу же дал почувствовать, откуда произошла его железная фамилия.

— Ого рука! — спешу высвободить больно стиснутые пальцы.

— Четырнадцать лет было, а уж вся Горенка косить звала, — обнажил прокуренные зубы Коваль.

— Что такое Горенка?

— Не хутор, не село, а скорей рабочий поселок Киева. Стоит в сосновом бору, весною в яблоневом цвету купается...

Узнаю — отряд его еще не отряд, люди проживают конспиративными группами в Жуковом хуторе, в Козинцах и в Дубраве Ленина. Только начинают группироваться в боевую единицу, живут где-то возле Клавдиева в болотах, среди минных полей, в месте, недоступном для немцев и полиции.

— Люди есть... Стягиваем вооружение на базу, когда потеплеет, начнем операции. Можно бы и теперь начать, да проклятая везде сырость, куда ни ткнишь в лесу — вода.

— Ваши связи с Москвой? С Киевом? С подпольем?

— Нет. Не имел. Не знаю,— отрывисто говорит Коваль.— По всем данным все это раскрыто гестаповцами. И уничтожено...

Коваль действует в силу патриотической инициативы, как коммунист, оказавшийся в окружении. Единственный подпольщик, с которым установлена связь, это Панас Новик, его комиссар.

— И это все?

— Про юг Киевщины и Левобережье не знаю. Может, в Бородянке и у белокриницких стеклодувов есть что-либо, но радиосвязи с Москвой нет, и это наверняка.

В комнату вошла немолодая, по-городскому одетая женщина.

— Вы кто? — обращаюсь я.

— Партизанка. Я — киевская учительница.

— Какого отряда? Откуда? — вливается в нее глазами Коваль.

— Я не состою еще ни в каком отряде, но давно ищу партизан. Я участница киевского ополчения. После оккупации Северного Кавказа немцами возвратилась на Украину, в свои родные места, для партизанской борьбы.

— Вы из подполья? Знаете, как найти радиосвязь с Москвой? С Киевом?

— Такой связи у меня нет...

— Какие же связи имеете с Киевом?

— Родственные... Но при помощи знакомых товарищей из Коростышева попытаюсь сделать что-нибудь. Для этого необходимо мне дней пять или шесть.

— Благодарю! За это время мы будем в Белоруссии и там-то уж наверняка найдем нужные связи.

— Но прежде надо разгромить вражескую связь в Ставищах.— И учительница экспромтом изложила свой план действий, от которого Коваль покатился со смеху.

— Где ты взялась такая азартная! — хохотал он, но та, несколько не смущаясь, настаивала на своем, заверяя, что знает все подступы к так называемым «царским комнатам», где укрепились охрана телефонно-кабельного узла.

— Что же до сих пор не громила этот подземный

узел? — не унимался Коваль, помня о силах гитлеровцев, сосредоточенных как раз в Ставищах и вдоль Киево-Житомирской дороги.

— Я не могла сделать этого одна или с местными партизанами, — невозмутимо отвечала учительница, — нужен крепкий кулак, а местных партизан я называю не иначе, как лозовиками...

Коваль еще громче расхохотался.

— Может, в мой отряд пойдешь?

— А вы — местный?

— Ага, «лозовик». Хочешь? Мне нужны люди со связями в Киеве.

— Проходило ли тут соединение Ковпака? — поставил я новый вопрос учительнице.

— Да, здесь вел бои большой партизанский отряд, и по слухам, партизаны ушли через Иванков в Хабное. Там самое большое партизанское движение. Среди населения ходят слухи, что за Хабным создан специальный Партизанский край, куда не проникает немецкая нога, там нет и прихвостней-полицаев. Туда-то я и думала идти.

— Но как форсировать реку Тетерев? Знаете ли вы брод?

— Знаю, — решительно заявила незнакомка, — перед войной я сама переходила реку вброд, а эти два года засухи еще более пересушили ее.

Коваль опять покатился со смеху.

— Засуха? А как ты в лес-то попала?

Оказалось, что учительница поселилась у родственников в лесном селе, выжидая, пока леса станут полностью партизанскими.

Учительница не захотела расставаться с партизанами и была зачислена в Конотопский отряд; в списках появилась первая киевлянка среди сумчан — Раиса Городинская.

Коваль хорошо знал Тетерев. Еще в 1929 году, будучи молодым инженером-мелиоратором, вел он топографические и гидротехнические изыскания, направленные к осушению болот и энергетическому использованию Тетерева, Ирши и Здвижа.

О работе Ковалья в Наркомземе Украины, где руководил он мелиоративным управлением, об орошении плодороднейших земель солнечного юга, о проблемах обводнения нижнего течения Днепра мы говорили за ужином.

Бывший мелиоратор рисовал перспективы грандиозного строительства: искусственные моря, поливные каналы, дождевание при помощи гидротехнических сооружений и сказочно богатую жизнь в Херсонских и Николаевских степях и по всему южному краю.

В моих думах этот южный край представлялся все таким же, каким я видел его в ходе Степного рейда, о котором так и не успел рассказать Ковалю.

На рассвете из Киева прибыло несколько отрядов карателей, они с ходу двинулись в наступление, но за попытку окружить нас близ поселка Кодра поплатились жизнью десятков фрицев во главе со слишком торопливым полковником.

В партизанских руках трофейные пулеметы работали безукоризненно. Столетний лес, торфяные трясины и паводок помогли оторваться нам от карательных войск, съехавшихся в район поселка Кодры в великом множестве.

Когда следующим утром мы уходили через Белую Криницу и за Малин, нас провожали в Тетеревских лесах три пожарища: горели села Раски и Белка вместе с Кодрою. Беснующимся карателям нужны были хоть какие-то «подвиги» за скандальнейший провал грандиозной засады на Киево-Житомирском шоссе, за потерю целого отряда в лесу под Белкой и за вчерашний партизанский контрудар в Кодре и в Соболевке, где дважды, на собственную беду, нас окружал не в меру усердствовавший немецкий оберст.

Понятною была их лютая ярость в Киеве. Такие, как Коваль и Новак, в лесах были неуловимы. А тут еще и прозевали степняков, встреча с которыми готовилась полмесяца.

Огонь пожирал селения, жег он и наши сердца.

Но виделись не только роковые дымы. Из глаз моих не исчезал человек в широком кожухе и драных валенках. Я все еще как бы чувствовал железную хватку его руки, видел острые, беспощадные глаза на решительном, строгом лице. Слышал, казалось, хохот, напоминавший мне сечевого атамана, который даже на костре был сильнее своих палачей и продолжал звать хлопцев на священную месть за кровь и слезы народные.

...Малин... Здесь снова повторились блуждания в поисках проездов между болотами и речушками. Жито-

мирский лист двухверстки, оплаченный жизнью Козьмы Ступича, кончился в Белой Кринице, на берегу широко разлившегося Тетерева.

Началась лесостепь. Мелькают селения: Слободки, Буды, Рудня, песчаные в кустарниках бугры, перелески. Появляются, наконец, бревенчатые, толстостенные бани. В Рудне паримся в бане, приказываю банить даже раненых. Пар действует магически — затягивает раны, лечит кровавые мозоли. Анисименко, почти исцеленный паром, усажен за стол, радостный, обновленный. Всю ночь идет стирка, утюжка, штопка белья. У бойцов повышенное настроение. Главная причина: близость Толстого леса, который находится по ту сторону речки Уж, за железной дорогой.

Едва светает, а мы уже движемся вперед. Проходим Великие Крещи, Хриллю. На лесной дороге первоапрельский гомон птиц, теплые лучи растворяются в затуманенном лесу.

И вдруг сталкиваемся с головным отрядом колонны мадьяр. Ведет их женщина. Едва поспевая за ней, солдаты бегут наперерез нам слева, но, опережая их, сходу бьем по колонне из пулеметов. Еще удар из всех видов оружия вдоль просеки, уже усыпанной табачными шинелями, наполненной грохотом, криками, стоном... Но справа — тоже стрельба. Оттуда скачут наши разведчики и кричат:

— Навстречу — вражеская колонна!

Приказываю развернуться назад. С окраины села Хрипли, которую мы только что проезжали, открыли огонь броневых автомобилей...

Припав к шее Сокола, посылаю его круто вправо в обход Хрипли. Под копытами коней на лугу кипит вода, мой гнедой Сокол скачет оленем, не отстает и белый Буян, но уже без всадника... Развернувшись к психической, за мной мчится вся колонна. Броневые автомашины бросают свои позиции и с воем уносятся назад, за Хриллю...

В жиденьком перелеске, среди уродливых болотных березок и сосенок устраиваем круговую оборону. «Считаем раны»: хороним лейтенанта Дьякова и двух бойцов. Разослав разведчиков, долго ищу Мельника и повозку с Анисименко. Непроезжие, непроходимые леса охватывают нас с трех сторон. Тянутся томительные часы... По дороге Коростень — Хабное идут в два ряда

автоколонны с войсками. Такое же движение противника на Игнатопольском шоссе. По всему противоположному берегу реки Уж разворачиваются войска. Кружат в воздухе «костыли», встревожена вся блокирующая армия.

Уясняю из собранных сведений, что северный берег реки Уж от Коростеня и до устья Припяти — фронт, изолирующий партизанскую Белоруссию от богатой хлебом и многонаселенной Украины.

Та же, знакомая по хинельским походам, стратегия выжженной земли, обрекающей людей на постепенное вымирание от голода и эпидемий. Вспоминаю широкие курские и сумские дороги, заполненные толпами недобитой венгерской армии. Вот куда брошены остатки салашинских войск! Переформированные и наново вооруженные, они теперь кишат в лесах Киевщины...

Мадыяры, немцы, полицейские и власовские казачьи отряды накапливались весь день и все туже затягивали вокруг нас петлю. Мы продолжали искать комиссара. Лишь вечером разведчики нашли его мертвым. Он лежал в повозке, которая, как и несколько пар коней, изрешечена была разрывными пулями. Погиб от обстрела Шаповал Роман — земляк, верный ординарец комиссара Анисименко. Погибли еще несколько бойцов из комендантской охраны. Пропала бесследно Мотя Шило — неусыпная медсестра Анисименко. Следы указывали, что, не поняв маневра, ездовой загнал коней в болото. За ним помчались еще несколько повозок хозчасти, которые, естественно, привлекли на себя весь огонь бронемашин.

Горький и тягостный был наступивший вечер. Казавшееся столь близким спасение комиссара кончилось нелепым финалом.

Мельника нашли в том же болоте с группой бойцов. Увидев броневики, они спешили и укрылись в камышах.

Все были голодны, кони разгребали песок копытами, бойцы подбирались к реке и в фуражках носили им воду.

Враг был близок — в километре-двух, за болотом, отсюда долетал солдатский говор. Мы были в плену непролазных болот, плотно обложенных войсками, и будущий день сулил нам верную гибель. Не было карты — вот мы и попали в эту западню. Выход из нее мог быть

только на восток, за Звиздаль, то есть мы должны были повторить маневр, примененный на Киево-Житомирском шоссе. Но теперь, чтоб вырваться из лесов, кишевших гитлеровцами, чтоб оторваться от осадной армии, необходим был стокилометровый бросок, а стало быть, и свободный маневр в широком поле за болотом и за рекой, где с Овруча на Хабное лежал шлях, забитый двухрядными колоннами противника.

Еще и еще раз со всей жесткой ясностью вырисовывалась вражеская угроза: «Попытаются прорваться на север, но это им не удастся! Пусть не надеются!..»

Единственное верное решение — прорвать кольцо ночью, прорвать любой ценой в направлении Звиздали. Если это не удастся, нас ждет бесславный конец среди болот.

Стемнело. Командиры, изнуренные, мрачные, обступили меня, ждут решения. Положение кажется столь безвыходным, что никто не решается давать советы.

Единственный язык, прихваченный разведчиками в лесу, отнекивается, и ничего толком нам не удалось узнать от него, хотя он и был местным жителем.

— Какое войско? Сколько их в селе? Цел ли мост через реку? Проходима ли гребля через болото?

На все мои вопросы следовало неизменное:

— Не знаю.

Мы бросили незнакомца и ушли на край леса.

Стемнело. В небе проклевывались редкие звездочки. Вокруг тихо, и только из-за реки доносится говор, а потом — незнакомая дружная песня. Поют многоголосно, красиво и, по-видимому, слажено. Грустная, берущая за душу, нездешняя мелодия, казалось, заполнила всю долину реки и лес, все болото. Пели сотни сильных мужских голосов, тоскливо вспоминающих что-то родное. Что-то близкое и вместе с тем незнакомое звучит в песне солдат, согнанных сюда.

— Это словаки, — проговорил Лобач, нарушив наступившее в нашем биваке молчание.

— Словаки? Откуда им быть здесь?

— Я знаю, вчера в селе мне говорили женщины о словацких войсках, которые дружны с населением. Вот прислушайтесь. Слышите? Славянские слова в песне.

Мы умолкаем.

— Я различаю словацкие фразы: мне приходилось переводить со словацкого на белорусский. Тихо, товарищи,

прошу полной тишины! — обратился к окружающим Лобач, но песня за рекой сразу вдруг умолкла.

— Словаки? — хватаюсь за эту мысль.

Во время пограничной службы в Карпатах на стыке трех государств мне не раз приходилось быть свидетелем безграничной любви словаков к советским людям.

— Идем, — попросил я Лобача, — подойдем поближе, а Забияка с разведчиками пусть идет за нами.

Ведя в поводу коней, мы вышли к звиздальскому болоту, к длинной гребле, кончавшейся мостом у того берега, откуда доносилась солдатская песня. Это было единственное место, пользуясь которым, можно было попытаться, очень рискуя, вырваться из ловушки.

В глухой темноте мы с Лобачем приближаемся к болоту, к вербам на гребле. Людской говор заполнял не видимое за камышами село. В тишине перекликались криквы. Где-то далеко, за Ужем, вспыхивали осветительные ракеты. Правей, в Клещах, гудели машины и взмывали в темноте яркие отблески фар.

— Чу! — проговорил Лобач. — Запевают... Поют!

— Словенски маточки, пекных сынов мате, — явственно донеслось из-за камышей...

— Выховалиста их — женить не будете!..

— Клянусь — словаки! — подскочил Лобач. — Я готов хоть сейчас к ним! Разрешите?..

«Выховалиста их — женить не будете!» — все громче звенело из-за реки, и Лобач экспромтом переводил значение некоторых непонятных мне слов. Мы продвинулись еще вдоль гребли, удерживая коней, тянувших в камыши, к воде, а за рекой гремело тысячеголосое:

Хотя взрастили их — женить не будете!..
Вскормили их, любя,
Как птенцов пташечка,
Но плачут, слезы льют
О них девчаточка.
В печали девушки ломают рученьки —
Тоска с бедой пришла, мой содруженьки!..

Они поют, а их друзья, не желающие проливать братскую кровь, были уже во многих лесах среди белорусских и украинских партизан. Эти же не бросили оружия, не повернули его против гитлеровцев потому, что боялись расправы фашистов над своими родными.

Словацкая песня гремела над Звиздалью, тоскливым эхом отзываясь в лесах и над гладью весенних вод,

неслась в темную, простреливаемую светящимися пулями даль. И хотелось верить, что уготованная нам ловушка откроется...

— На мосту нет охраны, он занят нашей разведкой! — доложил Забияка.

Я возвратился на бивак и спустя полчаса отдавал приказ партизанам.

— Медлить нельзя, — говорил я перед колонной. — Задержка может стоять нам гибели. Спасение — в маневре и решительности. Чтобы достигнуть Толстого леса, мы прорвемся через дамбу и пройдем степью километров с восемьдесят! Ряды не растягивать, в хуторах не останавливаться, в хаты не заходить. Хранить полное молчание, чтоб не было слышно русской речи. Не курить. Азимут восточный 90 градусов...

К головной заставе пошел взвод Лобача.

— Ручаюсь, — обратился он к бойцам, — словаки стрелять не станут. Пошли!..

Галопом ринулись по гребле, проскочили мост, обойдя стороной заречный лес, круто повернули за селом вправо и, вырвавшись в степь, зарысили в условленном направлении.

В селе, кроме окриков словацких патрулей, не произошло никаких изменений: солдаты пели о горе матерей и девушек, про парня, погибшего от ран «при лужке зеленом»...

Несколько разведчиков заскочили в лесу в расположение власовцев, не ожидавших партизан с тыла. Начался взаимный опрос: «Кто едет?» — «А кто стоит?» Короткий автоматный залп разведчиков завершил этот диалог, и наша невидимая колонна пронеслась мимо, затерялась в ночном бездорожье песчаной степи.

— Потрепать бы их! — предложил Роман, но был приказ:

«До утра — ни одного выстрела!..»

Километров сорок промчались без остановки, и голодные кони сдали. Пришлось кормить, заняв хутор Волчков и Войсковую. Отставших от колонны не было.

После короткого привала — еще марш. Шли вдоль перелесков и хуторов все утро и весь день.

План марша выполнялся точно. Но до села Толстый Лес и сплошных белорусских пуш было еще далеко. К тому же, нужно было перейти шоссе Овруч — Чернигов.

Уже взошло солнце, когда следующего дня мы входили в Толстый Лес, и нам казалось, что полесские избушки, уютившиеся под сенью темных деревьев, торжествовали вместе с нами!

Стройными рядами, с песнями въехали наши конники в село. Население бросилось наутек, приняв нас за карательный отряд. Убегали люди, угоняли в глубь леса скот, женщины уносили детей, и только старушки, оставшиеся присматривать за домашним скарбом, боязливо взглядывались в наши лица, пытались разглядеть, кто мы.

— Партизаны!

Бабка не верит.

— Бабушка, это партизаны! — радостно кричит десятилетний внук. — Вон партизанки на конях, это наши, бабушка! — указывает он на Охрименко Марусю и Раису Городинскую.

— Оксано-о-о! Степане! Возвращайтесь! — закричали старухи. — Это наши, партизаны! Идите домой!

Народ повалил из лесу, люди расходились по своим куткам. Вели коней, коров, гнали овец и свиней. Смущенно и радостно открывали запертые избы, приглашали партизан в горницы.

— А мы думали, полицаи или казаки. Заходите, пожалуйста.

Нас угощают желудевыми лепешками, и партизаны посылают проклятия фрицам, чтоб они до конца своей жизни питались вот таким хлебом!

— Пейте молоко, оно ваше. Не было бы вас, немцы позабирали бы коров, и мы бы его не пили. Спасибо партизанам! Немцы боятся к нам ходить. А как вас зовут?

— Сумчане. Конники...

— Тут три дня тому проехали ковпаковцы. Очень хорошие люди. Свои, по-нашему говорят. Слезы на глаза наворачиваются, когда услышишь своих, так радостно станет, будто сынов увидишь.

— Мы вступили в Партизанский край, — объявил я перед уходом в глубь леса, — и честь партизан для каждого из нас дорога, а любовь населения к партизанам — безгранична. Предупреждаю всех: обращаться с населением вежливо. Не самовольничать! За мародерство — расстрел на месте. Коней брать и обменивать только с позволения командиров отрядов. Каждый обязан беречь добрую славу соединения!

Я говорил и видел, как бойцы подтягивались, выравнивались в седлах, а на изнуренных лицах и в глазах светилось одобрение.

В глухом горелом лесу нас останавливает партизанская застава. Люди, вооруженные автоматами, одетые по-солдатски, предложили мне проехать на КП отряда.

Долго петляем по едва заметным стежкам среди зарослей и заболоченных полянок. Мы предупреждены — не сходить ни на шаг в сторону. Чем дальше в лес, тем мрачней пейзаж горелого леса, обуглены болотные кочки и кустарники. Бомбардируя старый сосновый лес, окутанный прогорклым дымом, надсадно воют самолеты.

Лес умирал, но не переставал служить надежным укрытием партизанам, которые встретились еще на заставе перед КП, и вот, наконец, я увидел командира отряда. Сразу же узнаю его, он — меня. Знакомый пограничник, капитан.

— Какими судьбами, Карась? — мгновенно припоминаю его фамилию.

— Здравствуйте, товарищ Герой Советского Союза! Ориентирован о вас по радио и пробовал вас разыскать...

— А радиостанция у вас есть?

— А как же!

— Вот так встреча! — восклицаю радостно. — Вот она, связь с Москвой, ради которой мы рвались сюда с Южного Буга!

Присаживаемся, прикуриваем от огонька из полупогасшего костра.

— Да, конечно... У нас есть рация. Я уже и в Москву доложил, что нашел вас у Толстого Леса.

— Нашел? У леса? — усмехаюсь я. — Как же провернул ты эту столь «сложную» операцию?

— Неважно как. Задание было искать, и я нашел. У меня связь надежная! Живу здесь с полгода.

Я оглядываю мрачный пейзаж. Сумрачные, настороженные лица исхудалых пожилых партизан.

— С полгода!.. Что же вы делаете здесь, в горелом лесу? Как дела в Белоруссии?

Карась мнется. Чувствуется, что отряд невелик, но полностью вооружен автоматами. По обмундированию, по оснащению вижу: снабжается он централизованно.

— С Киевом связан? Днепр разведываешь?

Все нет. Карась не интересовался ни Днепром, ни Киевом.

— Здорово! Красиво! Отважно! Восхищен вами! — восклицал Карась.

— Чего же о себе молчишь? — не понимал я Карася.— На гауляйтеров охотишься? Так слишком уж далеко Минск и Ровно.

Карась отделяется теми неопределенными словами, которые наводят на мысль, что его отряд действительно имеет особое назначение.

— Разведуправский?

— Выше...

— Ну раз выше, то передай, пожалуйста, мою радиogramму в партизанский штаб. Несколько слов передать можешь?

— Могу. Все могу.

— Ого!.. А раненых эвакуировать, самолет на посадку принять?

— Вызвать могу, а садить негде — к партизанскому аэродрому следует обратиться. Но туда вы сами скоро приедете. Ковпак, к примеру, за Припять переправлялся паромом. Сабурова тоже не столь трудно найти, хотя едва ли пройдете к нему конным порядком. Пешком только... Но еще верней — лодками...

Карась обладал презавиднейшей картой.

— Да! — решительно подтвердил он.— Без специальных плавсредств к Сабурову не доберетесь, проще догнать Ковпака. Ручаюсь, что информирую вас абсолютно достоверно. Берусь сопроводить взводом автоматчиков до шоссе Овруч — Речица, которое сильно охраняется гитлеровцами.

— Ах, и шоссе еще? Разве оно действует?

— Еще бы! Впрочем, это не столько дорога, сколько вражеский заслон в лесах от Коростеня до Речицы и даже до Гомеля. Очень плотная оборонительная линия.

— Спасибо, что много знаешь, Карась...

После Голованевского леса я пишу в Москву первое донесение. Оно кратко: «Нахожусь в Толстом Лесу, сто тридцать километров северо-западнее Киева».

Пообедав мясным бульоном с желудевым хлебом, прощаюсь с таинственными карасевцами. Их первый взвод автоматчиков помогает нам отыскивать следы ковпаковцев, находить тайные тропы лесных партизан. К ночи мы почти достигли шоссейной дороги на Речицу. Далее ведет доверенный от карасевцев.

Всю ночь блуждаем, а более всего стоим в таежных

дебрях, пока, наконец, наш проводник не заявляет: «Тут он всегда прохожих пугает, и каждый раз здесь путники сбиваются!.. Надо ждать утра...» «Он» — означает «хозяин», то есть болотный черт. Поэтому до полуночи речь о чертях да ведьмах: мне хочется уважить проводника, ему, конечно, меня тоже; узнаю нечто сугубо доверительное: что у Карася уже с недельку как пребывает человек до 18 партизан, прибывших из степей, и сказали они о себе, как приехали, что — ваши. Конники.

Дедок хитро-хитро вглядывается прямо в мои глаза, я же делаю вид, что несколько не удивлен, и говорю:

— Хорош Карась... Молодец! Приобрел добрый костяк для своего отряда на Украине.

Вблизи, правее, лежит село Денисовичи — укрепленный пункт вражеского гарнизона. Лесную тишину прерывает пулеметная стрельба, время от времени вспыхивают ракеты. Чтобы пройти незамеченными, надо хорошо знать слабые места гитлеровской обороны. Но нам везет: вражеские дзоты заговорили только после того, как мы перешли шоссе. Завязалась перестрелка.

Оторвавшись от противника, наспех пересчитываем партизан. Будаш докладывает, что нет бойца Ершова. Поиски не дали результатов, нашли только стреляные гильзы от пулемета да сапог.

Это несколько омрачает радость встречи с эсманцами в Мухоедах.

— Братцы, сколько лет!.. В каких берлогах живете! Едва добрались! — слышны дружеские голоса наших конников.

— А чего же вы сами сюда курс держите?

— Так в гости, по вас соскучились...

Начались взаимные расспросы. Встретились двоюродные братья — Сергей Пузанов с Михаилом Пузановым. Почти каждый из бойцов был нашим другом по хинельским походам. Не нахожу Талахадзе, не видно златокудрого баяниста Феди да умных глаз политрука Бродского. Нет и лейтенанта Сачко. Узнаю, что первые три погибли под Мозырем, Сачко же переведен в какой-то особый отряд.

— Талахадзе Героя присвоили! Посмертно, — с гордостью и болью говорят товарищи.

Пять месяцев не видались друзья. Пять месяцев, а будто полжизни. Все, о чем вспоминали, словно прошумело в молодости. Так состарились наши души... И сов-

сем иные взгляды, суждения, чувства у наших товарищей.

— Досталось же нам в степях, а чем вы заняты?

— Мы в лесах пристанище для вас бережем...

— Да-да... Не будь вас здесь, все бы считали борьбу в степях нормальным видом партизанской деятельности.

— А мы,— дружелюбно подмаргивает Юферов,— в какой глухомани были! Сказки про Князь-озеро слушали. И уху варили, и косачей жарили!

— Но не все же сказки да косачи,— возражает старший Пузанов,— в декабре Словечну брали, в январе — Городницу, в марте депутат Бегма вручил нам награды. Я орден Красной Звезды получил, Терешин — медаль «За отвагу», Иванов — Ленина и Красного Знамени.

— Нечего хвалиться! — шутливо обрывает Сергей брата.— Переходи к нам в конницу, бери, Михаил, моего коня и — за нами!

— Разве расстанешься с военной братвой? С друзьями! — возражает Михаил.— К тому же, команду бывшей хомутинской ротой эсманцев.

У каждого в памяти Брянский лес, блокада, тяжелые утраты, совместные ночные походы сквозь блокаду...

— Что же вы делаете, мухоеды? — подкалывают земляков хинельцы-конники.

— Заставу держим.

— Давно ли?

— Ох, не говори! Сесть бы, как вы, на коней — всю Украину за это время обскакали. Да ведь надо же кому-то и здесь врага удерживать.

— Это только кажется, что удерживаете, на самом же деле вас немцы обгородили в лесу да привязали у Мухоедов.

— Мы белоруссам помогаем... По-братски.

— Не ври! — возмущается Будащ, перебивая Буянова.— Прячешься ты за спиной белоруссов, а говоришь, что помогаешь!

Инчин хохочет прямо в глаза Буянову с Прощаковым и декламирует на всю улицу экспромт: «Хорошо ходить войной за широкою спиной!» Стихи вызывают еще больший взрыв хохота — и товарищей Буянова, и гостей-рейдовиков, которые снова как бы на биваке в Хинельском лесу, а лейтенант Инчин продолжает свои злободневные концерты, в которых особенно доставалось этому Васе Буянову, храбрейшему комвзвода, но и почти постоянному персонажу «Хинельского партизана» — газеты, ко-

тору и редактировал, и оформлял все тот же Инчин.

Вася белеет и багровеет, не зная еще, как отбить щемительный упрек Инчина, а тот, чтоб развеселить еще больше слушателей, готовит новый экспромт.

— Это как так — «за спину»? — трясется тучным молодым телом Буянов, наступая на Инчина. — Ты мне не зубоскаль, лейтенант, и вы тоже, товарищ Щебетун-десантник. Да разве бывало, чтоб 13-я армия пряталась за спину?..

Среди дня узнаем, что, захватив паром, соединяющий Речницкое шоссе с Овручским, ковпаковцы переправляются за Припять. Надо, надо спешить и нам.

— До новых встреч, земляки! Спасибо на добром слове!

— Подождите, постойте, вас зовут!

Посылаю узнать, в чем дело. Оказалось, привезли Ершова. Уснув в заслоне и не услышав приказания сниматься, он пробудился только в тот момент, когда немецкий конный разъезд человек в тридцать чуть не наскочил на партизанский пулемет. Тогда-то и началось единоборство бойца со взводом гитлеровцев. Ершов угостил их длинной очередью из «универсала», несколько лошадей и всадников упало. Ершова ранили в ногу, конь был убит. Стянув рану жгутом, он продолжал посылать меткие очереди в гитлеровцев, поминутно меняя позиции. Гитлеровцы бежали. Сам же Ершов скрылся в кустах, затем двинулся по следу соединения.

Местные партизаны подобрали его, отнесли в ближайшую деревню и там передали старику.

— Вот тебе партизан, дед. Нас ты знаешь. Запряги своего коня и отвези его к своим. Понял? К партизанам отвези.

— Понятно, — ответил дед.

Он запряг свою лошадку, навалил на повозку сена и помог раненому улечься. Подавая пулемет, сурово, по-отцовски напутствовал:

— Ты, колосок, приготовь его. Может, придется со сволотой встретиться, — будем воевать. Не даром же нам помирать...

Жена старика вынесла рядно. Укрыли пулемет и Ершова, сверху навалили еще сена...

До Припяти напрямую километров сорок, это пространство нам предстояло пройти до вечера. Опасались, как бы ковпаковцы не взорвали паром, пока мы в дороге. Вынужденная стоянка в болоте, где «он» людей сбивает и где

было много прошлогоднего травостоя, дала возможность хорошо накормить коней и затем двинуться крупной рысью.

«4 апреля

Позавчера разгромили лесокombинат в селе Крапивня, который обслуживал оккупантов,— пишет Коренский в своем дневнике.— Узнали, что проезжал большой конный отряд. Судя по всему, ехали наши. На дороге заметили свежий след от копыт множества лошадей. Видно, что прошла кавалерия: на песке лежат перья в крови.

— Точно,— говорю ребятам,— наше соединение прошло.

Подошел Козлов, я обратил его внимание на следы, высказал догадки.

— Наверное...— согласился Козлов и сильно помрачнел.

Мне любопытно было видеть, как извивался Тхориков возле радистки, которая заладила: «Сообщу в Москву: прошли наши. Ведь нам приказал штаб доносить о результатах поисков... Мы не имеем права не донести».

Как Тхориков ни юлил, все же подписал радиogramму такого содержания: «Прошел крупный неизвестный отряд на конях».

Теперь уже наверняка встретимся и все узнаем. Вчера форсировали Тетерев.

Через реку перевозил нас местный житель, Василий Иванович, хороший парень. Было всего две лодки. Плацдарм поехали занимать Батеха и Бабенко и едва не утонули. Их лодку унесло течением под тетеревский мост. Хорошо, что радиостанция была в другой лодке, а то могли б утопить. В темноте охрана приняла лодку за плавающую мину. Осветили ракетами и начали бить.

В ту ночь мы форсировали еще одну речушку — Иршу — и очутились в лесах за Малином. Лес что дом родной, аж на душе повеселело!

С каждым сутками приближаемся к Белоруссии. Не то в Хабновском, не то в Базарском районе лесник сказал, что в этих местах действует партизанский отряд. Сам он не знает, как найти отряд, а вот в белорусском селе Мухоеды есть связной, тот знает.

До Мухоедов всего километров с десять. Козлов послал меня и Стадника туда, а сам задержался с отрядом у лесника.

Мы нашли связного еще на ближнем хуторе. Это была румяная красивая девушка — Маруся. Тхориков долго ее расспрашивал, куда прошел и где остановился конный партизанский отряд, где стоят другие партизанские отряды.

После этого Маруся провела нас к другому связному. А тот пошел с нами через неведомые болота до реки Словечна.

Шли пятеро суток, ночевали в белорусских дубравах. Вчера решили войти в одно лесное село. Выяснилось, что поблизости в лесу стоит батальон Сабурова. Бойцы в основном на иждивении ближних деревень, поэтому мы не смогли осесть на постое, а пошли дальше в леса.

Как-то мы с Батехой и Стадником неожиданно столкнулись лицом к лицу с партизанами.

— Здравствуйтесь, товарищи! Какого отряда? — спрашиваем.

— Федоровцы. Черниговские.

Оказалось, что здесь находится не только соединение Федорова, но и наши сумчане — Шушпанов с Хинельскими отрядами. Вот это радость!

Большинство ребят — старые знакомые. Особенно обрадовались мы Оксане Кравченко. Остриженная после тифа, загорелая от весенних ветров, с выбившимся из-под кубанки смолистым чубиком, она похожа была на озорного парнишку.

— Ах, родненькие вы мои! Миленькие! Как там Анисименко, Инчин, капитан?

— Целы, да не все, — отвечает Стадник. — Многие нет в живых.

Возвратился от федоровцев Тхориков. Он был чрезвычайно веселым, разговорчивым.

— Вот это я понимаю — порядочек! Не то, что у нас... — потирал он руки от удовольствия.

Но в чем «порядочек», я так и не понял.

Вскоро федоровцы двинулись дальше — на запад, за ними пошли наши земляки — эсманцы с ямпольцами. Отряды остановились в лесу у Лельчиц, а мы — в Марковских хуторах, куда вдруг нежданно-негаданно явились Щиколдкин и Кочетков...

— Эсманцы в воде не утонут и в огне не сгорят! — светились оба радостью. — Мы, брат, живучие! Выкарабкались! Доблестно закончили поход, вдвоем рейд делали!

Все обнимали Щиколдкина и Кочеткова. Но в этой сча-

стливой встрече был, конечно, упрек Козлову и Тхорикову, который уже похвалился, что собирается улететь в Москву.

Он все же сводил меня на бивак Федорова, к майору, который почему-то взялся вызывать к себе многих наших эсманцев.

Что ж, пришел я, и между нами с ним произошел такой диалог:

— Коллега Коренский? Тогда поговорим по секрету, как там было.

— О чем? О рейде, что ли?.. Так об этом и в трех книгах не рассказать,— говорю.

— Но не о всем рейде, а кое о ком. И как в Голованевске было?

— Хотите туда пойти?

— Да нет. У нас задача — леса...

— Тогда незачем говорить: не поймете.

— Тхорикова же понял.

— Да... Тхорикова поймут тхориковы, а я Коренский, и у нас, эсманцев, свои раны. Зачем вы-то их бередите.

— Я офицер из Украинского штаба.

— Вот и пойдди туда, узнай Украину. Поймешь, как и кого бьют...

При входе в Лельчицы мы встретились с партизанами местного отряда. От них узнали, что невдалеке, в лесах, стоит еще один отряд — батальон сабуровцев.

Хорошо, конечно, что мы здесь не одни, как это было в степях Винницкой, Житомирской и особенно в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Интересно, какая у этих «лесовиков» боевая тактика? Где они встречаются с врагом, где бьют фрицев? Но вот приехали к нам комиссар, командир и начальник штаба сабуровского батальона и подробно рассказали про деятельность украинских партизан.

«Ну, думаем, после пережитого можно немного отдохнуть. А там — посмотрим...»

Глава XX

НА ПРИПЯТИ

Еще небольшой бросок рысью — и вот уже признаки большой реки: песчаные холмы в красноватом цветущем лозняке, просветы заливных луговин,

окаймленных все тем же верболозом, рыхлый песок на извилистой дороге.

Повеяло запахом рыбы. Мелькнул развешанный невод; вот лодка, повернутая кверху дырявым днищем, и перед нами — река, розовато-матовая ширь, окрашенная оранжевым закатом.

— Припять!

— Ура, выехали на Припять! — слышатся впереди голоса, и, чуя воду, разгоряченные кони ускоряют ход.

Вот она — земля Белоруссии! Истерзанная, родная, партизанская!..

На рысях проходим прибрежное село Довляды. Рубленые серые избы, ограды из жердей, черные бани, расстеленные у речки холсты, березовый сок в берестяных кубышках, ржаной душистый хлеб. И люди, как и на Украине или в Брянском крае, с ласковыми, верными сердцами.

Спешиваемся на берегу. И снова, как у Днепра или на Южном Буге, на Сибире или у берегов Роси, — только рыжеватая, прозрачная лоза да желтоватые песчаные бугорки на берегах. И нигде — ни тут, у северных границ Украины, ни там, у южных пределов ее, — на всем двухтысячестерстном нашем пути не сверкнула обласканная лучем солнца, не улыбнулась нам свежестью юности цветущая яблонька или зеленая лужайка. Все те же сдержанные, скупые на краски пейзажи: разливы рек да остатки снега; пейзажи ранней весны, начинавшейся по мере нашего продвижения к северу...

Кони пьют воду, еще не всюду очистившуюся ото льда.

Кончен Степной поход партизан. Мы в царстве лесов, уходящих в глубь Белоруссии, к Пскову и за древний Новгород, к Ленинграду и в Карелию.

— Пришли домой, хлопцы! — оценивая местность по школьной карте, объявил Лопатников. — Смотрите, какую дугу сделали! Какой путь отмахали через Украину, а от Хинельских лесов отделены теперь только Черниговщиной!

Тихо надвигаются сумерки. Нам повезло: мы успели к последнему рейсу партизанского парома. Ковпаковцы намеревались было взорвать его, но теперь передают переправу в наши руки.

Тихо течет река, беззвучно скользит паром к левому берегу.

Прямо с парома попадаю в объятия Ковпака. Без слов, по-отцовски дед трижды расцеловал меня. Его рыжие

лошади, впряженные в шарабан, привозят нас в село Аревичи. Оправившись, отдышавшись от волнения, Ковпак начал:

— Разве не говорил я, не писал Строкачу и всем: не слушайте брехни, что все хлопцы в степи погибли?

Кутаясь в длинный табачного цвета тулуп, Ковпак пояснил, что хорошо информирован о всех делах наших и что в Москве, в ЦК, в ставке, в главштабе наш рейд и наше трехнедельное молчание в эфире чрезвычайно волновали каждого, что дано указание «всем-всем» организовать активные поиски.

— Мы тоже направили две поисковые группы аж до речки Тетерев,— заключил Ковпак, еще не знавший, как далеко от Тетерева те места, где прекратилась моя связь с центром. Он не представлял еще по-настоящему и того, сколь глубоким оказался наш рейд в степные и центральные районы Украины.

В штаб-квартире нас ожидали с поздним ужином. За длинным столом, покрытым пестрой белорусской скатертью, сидели партизанские командиры, груди которых украшали ордена и медали. Тут были политрук батареи Корнев, не знакомый еще мне подполковник Вершигора, Руднев и Ленкин, Базима и Павловский. «На ужин» приехали и командиры ковпаковских отрядов: Кудрявцев, Кульбака, Матющенко — знакомая, крепко спаянная партизанская гвардия.

Закусывали рыбой. Небольшие серебристые лины, которых много в Припяти, нередко выручали партизанковпаковцев.

Ковпак не отпускал меня, предложил заночевать, побыть пару суток в его соединении. Приняв приглашение, я выехал к переправе.

Стояла холодная ночь, лунный свет заливал заиндевевшую землю и реку. Паром медленно пересекал Припять.

Тишина заполнила низкие берега и огороды сел, скопала сном и людей и коней, валившихся с ног прямо на землю. Спали на повозках, в седлах, на заиндевевших досках парома. Сбылась, наконец, мечта о беззаботном сне и даже крепкий заморозок не был помехой.

Спать, смертельно спать хотелось и мне: сознание, что находимся в безопасном месте, убаюкивало и расслабляло...

Пришлось объявить привал в первой же деревне. Все

тут же улеглись кто где: на пороге, во дворе на соломе. У бойцов, казалось, не хватало сил добраться до изб и дожидаться, пока хозяева откроют двери.

Утренний сон, однако, нарушен был отдаленной пулеметной стрельбой и редкими пушечными выстрелами.

Одевшись, я нашел Ковпака. Он стоял у плетня и что-то разглядывал в бинокль. К нему в это время подвезли полковую пушку. Плечистый, высокорослый грузин Бакрадзе послал два снаряда в плывущий по Припяти пароход.

Вглядевшись в серую мглу над рекой, я увидел в бинокль еще несколько небольших сильно дымивших пароходов. Вокруг них барахтались в воде люди.

— Стрелять разучился, что ли? Чего не бьешь по пароходу? — взглянул Ковпак на Бакрадзе, но тот степенно доложил, что указанная ему цель поражена двумя попаданиями.

— Так чего же она, твоя цель, не тонет?

— На мель села, — невозмутимо ответил Бакрадзе и уселся на лафете.

Пароход тем временем задымил, окутался паром и накренился бортом. С него в воду все время сыпались живые фигурки.

— Зачихал, пару пускает! — проговорил удовлетворенный Ковпак и приказал помначштаба Войцеховичу Васе убрать пушку и организовать вылавливание «утопленников».

— Смотри, чтобы ни вниз, ни вверх по Припяти, ни на ту сторону никто из фрицев не удрал. И чтобы снарядов зря из сорокапятков не выбрасывали!

Но там, где постреливали «сорокапятки», находился комиссар Руднев, а он умел управлять боем и соблюдать нужный порядок.

Мы ушли с Ковпаком.

— Вот черти, — только и сказал мне Ковпак, — сами в руки лезут.

С нами был еще заместитель Ковпака по разведке — Вершигора. Подполковник выпрашивал куда-то людей, а Ковпак отнекивался. Видно, что-то тревожило его.

— Не дам. Половину людей для твоего разведупра порастыкал.

И, по-видимому, из-за того, что «порастыкал», Ковпак стал просить меня «стать с хлопцами в Молочках» и

вообще прикрыть направление к Днепру, вести разведку и «посматривать» в сторону городка Комарин.

Мне по душе пришелся Вершигора, этот широколобый коротыш с чистым смугловатым лицом, спокойным кареглазым взглядом.

Оказалось, он часто бывает в Москве, недавно вернулся оттуда озабоченный, встревоженный. В высших штабах видел он карту и сводные данные о Днепре. Получалось, что тут, километрах в сорока-пятидесяти к востоку, а также в среднем и нижнем течении Днепра якобы воздвигнута долговременная линия обороны вроде «Зигфрида».

— Так надо было доложить и разуверить их,— заметил я.— Никакой линии нет! Легенда, сочиненная гитлеровской контрразведкой!

— Пробовал, но куда там! Не верят генералы. На меня, как на чудака, смотрели искоса: «Ну что вы нам рассказываете. Ведь это же по документам противника. Понимаете: до-ку-мен-там! Карта со сбитого самолета. И офицер инженерных войск на допросе сознался, что сам строит!..» Словом, «доказали» мне, что я чуть ли не плут, что я их чуть ли не дезинформирую...

Вершигора раздвоил руками темно-каштановую бороду.

— Удивительно,— не понимал я.— Неужели кто-то всерьез верит той версии? Ведь и я доносил, что нет никакого оборонительного вала. Странно, странно, хотя все это чрезвычайно важно и серьезно.

Мы крепко задумались: как же помочь фронту? Мы понимали, что люди, которые вели разведку в тылу врага, решали в сущности подготовку оперативных, а порой и стратегических данных. По этим данным верховное командование принимало ответственные решения: форсировать ли Днепр с хода или же, упершись в него, подтягивать тылы, переправочные средства, технику и тысячами тонн взрывчатки и металла прогрызаться через укрепления.

Вершигора пристально посмотрел мне в лицо:

— Я читал ваше донесение в Москве, но генералы того мнения, что данные нужно перепроверить, что запросили, мол, тебя продублировать, а ты помалкиваешь. И вообще там кое у кого сомнения... был ли ты в тех местах...

Я вспомнил аферу с фотоснимками. Хорошо изготовленные фотографии так званого Восточного вала, построенного будто бы немцами на Днепре, распространялись

среди партизан, когда мы проходили Полтавщину, приближались к Днепру. Многоэтажные доты с пушечными стволами, неприступные эскарпы, многорядная проволока и мордастые, безразлично-ленивые фигуры солдат в шлемах, которые неторопливо пили кофе, и тому подобная чертовщина!..

— Меня начальство просто высмеяло. Свои фото, конечно, мне тоже показывали. Начальство верило. Сейчас надо всю машину мнений и распоряжений останавливать, обратно раскручивать. В конце концов, говорят, будто не мое это дело. Документы, мол, есть — и точка. И вот теперь я надоедаю деду, покоя ему не даю. Уговорил Ковпака и Руднева организовать проверку Днепра. Рассылаю своих разведчиков от Речицы до Киева. Километров с триста решили тщательно обследовать, облазить...

— Пешими группами? Сколько же времени на это уйдет!

— Что делать, не любит дед кавалерии. «Сметанники», — говорит, и Руднев с ним согласен.

— А ведь и это не разведка, ибо Славутич могуч как раз к югу от Киева. Кто же там разведает?

Вершигора задумался, поскреб затылок и вдруг рассмеялся.

— Так я уже послал донесение, что по данным ваших хлопцев никакого там вала нет и не было! Ха-ха-ха! Правда, неплохо я разведываю манштейновские тылы?

— Но ведь то мои, а не твои наблюдения...

— Ха-ха-ха! А я расспросил ваших людей и все это оформил, как положено. Так что теперь это мои данные!..

«Умный, упорный человек. Все больше нравится мне бородатый этот разведчик, мне бы в рейде такого!..»

Я делюсь с ним впечатлениями о среднем Днепре: «Зигфрида» нет. Но могут быстро усилить преграду полевыми укреплениями, форсирование Днепра дело не шуточное...

Я заночевал у Вершигоры и спал как убитый до тех пор, пока мягкий, воркующий голос Мельника не прервал сладкого отдыха.

— Михаил Иванович, вставайте! Утро, — картавил он. — Проснитесь, товарищ командир. Вам персональное поздравление. Вы — генерал!..

— Что? — начал я протирать глаза, в полной уверенности, что вижу сон, ибо никогда и мысли у меня не было

о каком-то повышении. Да и в практике главштаба этого еще не бывало: повышать нашего брата в воинских званиях. Командиры же партизанские вовсе не заботились о таком: ведь руководить партизанами во всенародной войне это и было самым почетным званием.

— Насмехаешься? Хорошо же ты, видно, отдохнул, Жора!

Мельник подал мне радиogramму, сон улетучился, и я с удивлением читаю: «Поздравляем присвоением звания генерал-майора».

Перечитал снова это послание Секретаря Центрального Комитета партии. Встал, оделся, а в голове «генерал». Никогда не думалось о таком.

Избу заполнили партизаны. Все поздравляют. И все держатся необычно подтянуто. Мельник читает другую шифровку — генерала Строкача, поздравляющего с присвоением генеральского звания также Ковпаку, Рудневу, Сабурову Бегме, Федорову. Звание капитана присвоено Мельнику и Лобачу, старшего лейтенанта — Инчину.

— Вот как, друзья! — воскликнул я. — Теперь не достает нам двух вещей: генеральских погон да войска!

Все смеялись, тискали руки виновникам торжества.

— Но где взяты эти радиogramмы, капитан? — поинтересовался я, глядя на Мельника.

— Прибыли из Москвы, — пояснил начальник штаба. — В связь уже вошла наша новая радистка — Валя Харченко.

Да, мы снова с радиосвязью. Как просто стало это в лесном крае, а ведь ради связи с Москвой, только ради нее, прекращен рейд на юге, преодолено не менее тысячи километров боевого пути.

Я поспешно оделся. Меня ожидал генерал Руднев. Вместе с ним мы решили провести общую боевую операцию. Это была «стирка мокрого мешка», как образно назвал Руднев операцию в междуречье Днепра и Припяти. Предстояло разгромить гитлеровские гарнизоны, укрепившиеся в Крюках и Перках, на пути к городу Брагину.

— Мы уничтожим их, — говорил убежденно Руднев, — и тогда не устоять брагинскому гарнизону. В этом случае Партизанский край раздвинется еще километров на полтора к северу.

Ковпак также внушал мне необходимость участия в задуманной операции. Совместный одновременный удар сулил, кроме уничтожения трех районных комендатур,

богатые трофеи: продовольствие и вооружение. Но меня смущал недостаток в боеприпасах и особенно неопытность многих партизан-новичков, которые каждодневно десятками вливались в отряды.

Сельская молодежь Комаринского, Брагинского, Чернобыльского и Ново-Шепеличского районов буквально осаждала штабы отрядов; они представляли собою сборные пункты новобранцев, где шло формирование и вооружение новых подразделений. Как всегда в таких случаях, не хватало хороших командиров.

В Конотопском отряде приключилась большая неприятность. Получив из Москвы гранаты «Ф-1», молодые бойцы поторопились зарядить эти «лимонки» и подвесили их кольцами ударно-спусковых механизмов за пуговицы к одежде. В результате — взрыв и тяжелые ранения десятиерых, в том числе и шестерых участников нашего рейда. Были случаи произвольной стрельбы. Одним из таких выстрелов был ранен Инчин, которого, как и других раненых, пришлось отправить в Москву.

Необходима была серьезная боевая учеба и организационная парторбота; мы решили создать в отрядах партийные группы и комсомольские организации. В Конотопском отряде оказалось семь коммунистов, в Хинельском — три, в Недригайловском после рейда осталось два коммуниста.

Дел было по горло, мы дорожили каждым часом, и поэтому я неохотно шел на предложение Ковпака и Руднева.

— Не пойму, зачем Рудневу нужна эта комбинированная операция, тем более, что Крюки находятся от Перок за десятки километров? Какое же здесь может быть взаимодействие?

— Да, Перки за болотами, очень далеко, — уклонялся от прямого ответа Ковпак. — И вам разве трудно пойти в обход конницей? Вот из Радина в Жердное, из Пучина — на Проемычи. Да что там! День ходу, не больше, — «планировал» дед мой стокилометровый поход болотами, в то время как Рудневу оставалось сделать короткий рывок на Крюки и посуху возвратиться в Аревичи.

— Ну так громите по очереди: сначала Крюки, потом Перки, — предложил я.

— Последовательно — упустим. Уйдет живая сила врага, — парировал Руднев. — Кроме того, пройти пехотой сто верст в сутки и напасть внезапно — немыслимо.

В этом он был, конечно, прав. Но оба они чего-то не договаривали, умалчивали о чем-то, и я не стал допытываться. В предложенном был очевидный смысл: фураж и продовольствие необходимы всем. Обещанная нам корова, которую начхоз Ковпака все еще не выдал для моих людей, — вот все, что составляло нашу продбазу.

Я согласился.

— По рукам! Только если не удастся операция в Крюках, я могу оказаться отрезанным брагинским гарнизоном противника.

Руднев поклялся не подвести на случай беды.

...В день «святой пасхи» два черно-бурых дымных столба возвестили сотням белорусских деревень, что междуречье очищено от гитлеровцев — вражеские опорные пункты в Крюках и в Перках разбиты до основания.

Через день задымился и Брагин. Белорусскими лесами шли наши эсманцы под командой капитана Шушпанова из Хинели.

Словацкие солдаты, избегая кровопролития, нашли удобный случай отдать партизанам город, неповрежденные дальнобойные шкодовские пушки и снаряды к ним. Многие из словак-солдат присоединились к партизанам.

Было утро, когда в мою квартиру вошли гонцы с пакетом Руднева — прибыл секретарь ЦК, Руднев приглашал меня к себе.

Стояла теплая погода. Налегке, сопровождаемый гонцами и отделением главразведки, я быстро проехал те двадцать километров до леса, которые отделяли нас от бивака товарища Д. С. Коротченко.

Сойдя с коня у костра, вокруг которого полулежали гости из Москвы, я увидел среди них знакомых мне подполковника Мартынова и капитана Владимирова, а также Ковпака и Руднева, уже облаченных в генеральскую форму. Угадывая секретаря ЦК по внешности, представляюсь:

— Товарищ секретарь Центрального...

— Зовите меня просто: Демьян! — вставая, проговорил человек с правильными чертами бритого лица, одетый в темно-синий костюм. Он протянул мне большую теплую руку.

Окинув коротким взглядом мой выдавший виды пиджак с пропеллером на рукаве, кубанку и плетъ, висевшую на запястье руки, он проговорил полушутливо:

— Погоны молодому генералу! И костюм! Обмундировать его по-военному! Садитесь, будем чай пить.

Моему ординарцу Самодову вручили костюм и подарки для меня: куски душистого мыла, несколько десятков пачек «Казбека»...

— Как народ, самочувствие ваших партизан?— спросил Коротченко, усаживаясь у костра.— Вижу: орлы!

Ковпак был весело настроен, хотя провел бессонную ночь, дежуря на посадочной площадке. Он дружелюбно подмигнул мне, и я понял, в чем дело: у него было задание по радио обеспечить прием товарища Коротченко.

После завтрака Демьян Сергеевич уединился со мной. Мы выбрали песчаный бугорок на солнцепеке у сосновой посадки, закурили. В небе, видимо, разыскивая виновников уничтожения немцев в Крюках и Перках, кружил «костыль». Он сбрасывал на Аревичи бомбы и обстреливал село из пулемета. Мы прилегли под молоденькой сосенкой, и секретарь ЦК, как бы не замечая самолета и неторопливо затягиваясь дымом папиросы, начал:

— Ну вот... Преодолен огромный путь. Герой, генерал... Скажи: думал ли ты о выводах из опыта войны в степях? Над обобщением этого опыта?

Я выждал, собираясь с мыслями.

— Демьян Сергеевич,— неторопливо отвечал я,— нельзя быть вожаком партизан, не думая, не размышляя. Тем более невозможно совершать рейды, не обобщая опыта походов.

Я начал рассказ о подробностях рейда, о проблемах рейдовой войны. Сюда относились и опорные тактические базы в тылу противника, и эвакуация раненых, и снабжение партизан при отсутствии так называемой службы тыла, и вся наша практика борьбы, и война без флангов, без реальных старших начальников.

— Это интересные мысли, надо бы сформулировать их для ЦК и главштаба,— заметил Демьян Сергеевич.— Существует мнение, что в нерейдовых отрядах меньше потерь, чем в рейдовых.

Это был серьезный намек на наши неудачи на втором этапе рейда, и я возразил:

— Меньше, если не учитывать потерь мирного населения от недоедания, эпидемий, бомбардировок в блокированных врагом районах...

Я сослался на провокацию гестапо, рассказал о товарище Эн, заморозившем в ряде мест партизанское дви-

жение, о легендарном невидимке Калашникове, имя которого гестаповцы использовали для дезориентации партийного подполья и местных партизан, напомнил о значении рейда вообще.

— Бесспорно, — согласился Демьян Сергеевич, — политическое значение вашего рейда огромно. А вот относительно военной стороны вопроса: рейд или край партизанский? Над этим нужно поразмыслить...

Секретарь ЦК поставил еще один вопрос, как выразился он, «на раздумье»:

— Сможет ли Ковпак с наличными у него силами пойти на Винницу?

— В Винницкую область? — удивленно воскликнул я, и в памяти промелькнуло все пережитое в кипящем гитлеровцами Прибужском крае. «На Гитлера!»

Демьян Сергеевич выждал паузу, не намереваясь, очевидно, объяснить цель похода к Виннице.

— Можно без обиняков? — сказал я.

— Говори.

— Ковпак будет разбит, как только выйдет в степи.

— Что вы? — изумился Демьян Сергеевич. — Вы считаете его соединение небоеспособным?

— Наоборот! Считаю соединение Ковпака образцовым, примерным. Однако это пехота, она не может обойтись без обозов. А главное — в степи необходима предельная маневренность, стремительность марша.

Демьян Сергеевич усмехнулся.

— Ох и дам я за обозный скарб! За стадо!..

— Обоз — не прихоть, товарищ Демьян. Это — неизбежность. Она порождена самой жизнью пехотного соединения, где не обойтись без запасов...

Секретарь ЦК встал и просто сказал:

— Спасибо.

Беседа была полезной. Над всем этим следует серьезно подумать.

Демьян Сергеевич обещал побывать на днях среди моих партизан и обещание свое выполнил.

Мне пришлось встречать гостя в постели — захворал. Свалила с ног, как это ни смешно, детская болезнь — дифтерия.

Демьян Сергеевич застал меня в компрессах, с высокой температурой. Партизанский врач Советов не знал, что делать. Переговаривался я с высоким гостем уже при помощи карандаша и бумаги. Крайне болезненная

опухоль сжимала мне горло, лишала возможности внятно говорить.

— Натопить помещение. Теплей укрыть больного, послать за врачами на ковпаковскую базу, привезти медикаменты, шоколад,— распорядился Демьян Сергеевич.

Позднее узнал я от врача Гнедыша, что было решено на консилиуме в связи с угрозой осложнения дежурить и в случае чего — оперировать.

Состояние ухудшалось, и меня решили отправить в Кремлевскую больницу. Положили, закутанного, на сено в арбу, Ковпак трижды расцеловал, генерал Руднев молча крепко обнял, как бы чувствуя, что наше прощание последнее.

Перед тем как отправиться самолетом в Москву, я сказал:

— Меня замещать капитану Мельнику. Не ходить на север, в леса. Там погибнут кони, ослабнет соединение. Не терять связи с Украиной и множить боевые традиции конного партизанского соединения.

Глава XXI В МОСКВЕ

— Идем над Москвой! — проговорил стрелок-радист, и раненые, кто мог передвигаться, бросились к окнам самолета.

Как не бывало дремоты и зябкого одеревенения. Я тоже придвигаюсь к окну. Внизу в предутренней мгле виднеется большая река, она несется куда-то в сумерки, и длинные цепочки светящихся бакенов подкрашивают зелеными и красными огнями воду.

«Москва-река? Но почему наш колесный самолет снижается над рекой?»

Еще мгновение — и там, внизу, засуетились: кто-то, размахивая руками, сигналил фонарем, появились ряды стоящих автомобилей. Легкий толчок, и мы на земле и катимся по аэродрому.

Да, это один из подмосковных аэродромов! Впервые оказавшись в ночном полете, я принял аэродром за судоходную реку.

Замедлив бег, самолет выруливает к автомашинам с красными крестами. Группа мужчин и девушек в белых

халатах подбегает к нам. Чей-то женский голос называет мою фамилию. Приближаются санитары с носилками, я встаю и рукой показываю на лежащих больных. Меня подхватывают под руки. Представляется подполковник Попова, она поздравляет с благополучным прибытием. Это Мария Михайловна — начальник медотдела главштаба.

Узнаю, что находимся за Москвой и что сейчас едем в партизанский госпиталь.

Всходит солнце, розовеют зеленокудрые верхушки леса. Гаснут сигнальные огни, и теперь видно, что это просто окрашенные электролампочки. На бетонированное поле прибывают все новые самолеты. Я уже сижу в легковой автомашине и наблюдаю, как выносят раненых. Вот пронесли Марусю Галушко, за ней Валю. Изможденные лица девушек сияют счастьем...

Москва! Большая земля!..

Кто, явившись из вражеского тыла, не переживал огромной радости, у кого не замирало сердце на родной московской земле?

Еще вчера везли меня, беспомощного, по болотным кочкам на скрипучей арбе, заменявшей карету скорой помощи. Все оборудование для ночной посадки самолетов составляли три костра на лугу да два карманных фонарика...

И вот — Москва!..

Мчимся по знакомому шоссе. Утоляя жажду кусочком апельсина, я не раз пробегал тут в лыжном или пешем марше-броске, наносил на карту мельчайшие детали местности, практикуясь в военной топографии.

Мелькают знакомые рощи, дачи Подмосковья. Мои спутники — Попова и Табулевич — рассказывают, какие суждения высказывались о наших походах.

Мария Михайловна наступает на «больную мозоль»: она говорит, что были сделаны две попытки вывезти раненых самолетами.

— Двадцать суток искали вас в эфире ежечасно и не могли нащупать.

— И возмутительно поведение этого Тхорикова, — продолжает брезгливо Табулевич. — Интриган, ловчила. Назойлив, как гнус. Втирается в доверие к начальству.

— Он здесь? — удивляюсь я. — Как попал он в Москву?

— Прибыл с аэродрома Федорова.

— Вот уж поистине ловкач!

Наша машина останавливается. Табулевич выходит на КПП. Я глянул в окно. Шоссе преграждено баррикадой. Два офицера заставы и несколько автоматчиков проверяли документы.

С замирающим сердцем смотрел я на военную Москву. Над городом плыла как бы эскадра кораблей — аэростатов. По улицам маршировал батальон девушек в гимнастерках и защитных юбках. Они пели: «Идет война народная...»

Баррикады и противотанковые ежи, зенитки и лебедки аэростатов, огромные плакаты, спрашивающие в упор: «Что сделано тобой для фронта?», и сурово требующие: «Убей его!» — фашиста, загубившего молодую мать трехлетнего ребенка. Огромные, растянутые на полквартиры, лозунги: «Все для победы! Все для фронта!..»

Я вижу обезображенные серым камуфляжем троллейбусы, трамваи, дома и дворцы. Гляжу на Кремль, Охотный ряд, мчимся по улице Горького, к Белорусскому вокзалу. Вот соседнее с ним четырехэтажное серое здание, застекленный вестибюль.

Сердце неожиданно дрогнуло... Здесь, в этом здании, я жил и учился в Высшей пограничной школе...

Позванивая, выбегают из парков трамваи, мчатся легковые и грузовые автомобили, деловито спешат к заводам рабочие. Все живо, целехонько! Никаких следов повреждений, и в душе я провозглашаю славу защитникам Москвы. Ликует мое сердце!

Я готовился увидеть худшее...

Едем по Ленинградскому шоссе. Вот они, мои любимые скверы, стадион «Динамо». Мысленно я снова несусь на лыжах с трамплина, купаюсь в зимнем искристом воздухе. Бывало тут и взлетов и падений в буквальном смысле, синяков и ссадин, когда, не устояв, летел я по крутому склону трамплина. Да, здесь крепи мышцы, закалялась воля.

Автомобиль останавливается под зеленым шатром садика — я у ворот партизанского санатория имени Воровского.

Под палату на втором этаже отведен кабинет комиссара санатория Рудича. Знакомимся. Он тоже партизан. С ним выздоравливающие черниговцы: Новиков, Балицкий. Последнего я знаю заочно, по Указу о присвоении звания Героя. Все радуются встрече, делятся подарками, угощают пивом.

— Федоровцы? — приветствую я их.

Они уточняют:

— Черниговцы — это не обязательно федоровцы. Наш командир Попудренко Николай Никитич...

Фигура в полосатой пижаме заслоняет собою дверь, а мощный энергичный голос заглушает голоса новых моих друзей:

— Поздравляю, поздравляю! С генералом и с Героем! От всей души! Дайте же поговорить мне тет-а-тет с моим командиром!..

— Не верю своим глазам — передо мной комбриг Туманчук!

— От всей души, — твердит Туманчук, прорвавшись в мою комнату, где мы остаемся вдвоем с ним.

— От души? — сажусь я на диван. — А душа-то кой у кого лохань!

Губы его чуть дрогнули, плутоватые глазки забегали. Комбриг фамильярно похлопывает меня пониже погона.

— Ваш гнев понятен. Кто не был там, мог бы обидеться, а я всем твержу: никто такого геройства не проявлял, как вы. И мало, мало! Спроси мое мнение, я бы хоть генерал-полковника вам! Немцы считали наш рейд за десант казачьего корпуса! — Туманчук извлек из пижамы бумагу. — Вот! И вот: моя бригада... — он начал перечислять подвиги и боевые дела его бригады.

Попытка уйти на завтрак оказалась бесполезной, и я позвонил в столовую, чтобы принесли его в комнату. Туманчук же невозмутимо продолжал читать наградной лист:

— «Оперативная группа комбрига Туманчука... сформировала сначала отряд в 120 человек, затем бригаду в 500 человек...»

— Но прибавь же и моих, прихваченных под Полтавою, человек с пятьсот.

— Да, да!..

Туманчук, впрочем, объективно описывал подрыв эшелонов, засаду на Миропольском шляху, бои в Сенном и у Лебедина, под Ахтыркой и в Малом Исторопе, а также пополнение его бригады подпольными отрядами в Глушкове, в Ревках, освобожденными пленными в Ворожбе и в Груни. Умалчивал лишь о своем бегстве со станции Сагайдак. Об этом он писал так:

«При переходе железной дороги Полтава — Лубны отряду пришлось вести бой с превосходящими силами противника. Наличие большого количества раненых

вынудило бригаду отступить в район Ахтырского леса — мне нужны были патроны. Надо было пристроить раненых...»

— А что бежал с поля боя, об этом у тебя в отчете — ни слова!

— Ну-ну, это не так, генерал! Дорогой в Ахтырку я провел ряд боев. У Решетилówki уничтожил 170 карателей, в Груньском районе еще 130, под Зиньковом уничтожил остатки 295-го саперного батальона. Бригада прошла по тылам врага 600 км, уничтожила 2 000 гитлеровцев. Исполняя приказ главштаба, бригада пыталась перейти линию фронта и дошла до Хомутовки и Севска...

— То есть до милого Хинельского леса!

Туманчук гнет свое:

— Как видите, генерал, все верно, и вам остается только поставить вот тут вашу подпись.

Он ткнул пальцем ниже того места, где написано: «Заслуживает награждения...»

— Только подпись... Но раз вы выполняли приказ главштаба, генерал Строкач вам и подпишет.

— Обращался... Сказал, что ваша подпись необходима...

— Не подпишу.

— Как не подпишете? Это же боевые дела бригады! Они свидетельствуют и о ваших заслугах... Я ведь входил в ваше соединение!

Туманчук тяжело дышал.

— Боевые дела, совершенные в рейде, удостоверю.

— Так подпишите наградной лист.

— Нет. Отчет — пожалуйста. Только представьте объективный и полный отчет, а наградной лист — ни за что! Вы не выполнили боевого приказа под Полтавой.

Туманчук сел на диван. Он не собирался отступить, но тактику лобового тарана сменил.

— Но, генерал, вы, как и подобает Герою, не должны умалять боевые достоинства подчиненного!

— Безусловно. Однако не учитывать ваши действия под Полтавой, в Мезеневке нельзя.

— Не понимаю!

— Не понимаю, зачем вы спасали Барановского?

Туманчук побагровел.

— Это работа Тхорикова и Кусачева!

— Вот Кусачев и надул вас обоих!

Игра кончилась. Туманчук вскочил.

— Я не оставлю так! Я напишу... я докажу, что вы... Он покинул мою комнату.

Мне так и не пришлось рассказать разгоряченному комбригу, как мы искали его на Хороле и за Днепром, в Знаменском и Чигиринском районах, как по заданию Москвы хотели войти с ним в контакт и объединить наши усилия в Кировоградской области.

Вскоре я узнал дальнейшую историю комбрига.

Чтобы оправдаться перед главштабом, он попросился вторично в тыл врага. И ему разрешили. На этот раз Туманчук находился в тылу врага всего несколько часов. Случилось так, что, приземляясь на парашюте, он расшибся и тут же на попутном самолете был отправлен в Москву.

Золотое первомайское утро в партизанском госпитале «Лебедь» началось торжественным митингом.

Для встречи праздника вместе с ранеными тут собрались все, кто представлял в Москве Украину, прекрасную, несказанно дорогую и... оккупированную...

После короткого доклада о ходе войны были прочитаны указы о награждении сумских и черниговских партизан. Мне вручена Золотая Звезда Героя. Председатель Президиума, сосредоточенный, ласковый, собственноручно прикалывает ее к моей гимнастерке, обнимает, целует под бурные овации собравшихся. Не могу выступить с ответом — горло совсем распухло. Вручаю записку секретарю Президиума, тот оглашает текст. Это клятва помочь в борьбе с оккупантами в любом районе Украины, а если понадобится — то и за Карпатами, за Татрами, в славянских странах.

Потом — правительственный прием в санатории Воровского, где я, лишь вчера прибыв с Украины, чувствую столько внимания, теплоты и сердечности.

Поздравления, приветствия, тосты. Но болезнь еще сжимает мое горло, — и я утром опять в Кремлевской больнице.

Глотаю утроенные дозы красного стрептоцида, переношу многочисленные уколы ассистентки профессора Преображенского. Нежная, красивая девушка, настоящая фея, безжалостно вонзает иглы в истощенные мои мышцы. И каждый глоток — тоже будто тысячи игл в горле, в ушах, в глазах. Я не мог ничего есть и даже пить.

Все мои протесты профессор отвергал.

— Не будете принимать жидкость,— угрожал невозмутимо профессор,— вольем насильно. Так надо. Два стакана на сутки — это минимум для поддержания жизни.

При этом фея демонстрировала полулитровый, чудовищно толстый шприц. Их видывал я прежде только в ветлазарете...

Чтобы забыться, я непрерывно, с утра до ночи, слушал радиопередачи. Особенно волновали меня письма на фронт. Сколько в них было любви, ласки.

Отечественная война пробудила новые думы, вызвала небывало великий подъем патриотических чувств. Борьба советского народа щедро питала наше искусство и литературу. Неслыханные доселе мотивы, высокоидейные произведения звали народ к победам на фронте и в тылу. В Москве только почувствовал я, как много нового родилось у нас в годы борьбы за Родину!..

Из главштаба часто звонила Мария Михайловна. Она нашла способ беседовать со мной, хотя слышала в ответ только легкое постукивание ногтем по мембране кремлевского телефона: два стука — «да»! Три — «нет»!

Были письма от Инчина.

Находясь в домашнем отпуске на Волге, он приехал в Москву и, не застав меня в «Воровском», переправлял ко мне в изолятор свои почтовые треугольнички — краткие, но содержательные.

Бедный эрзя, не знаешь ты, что я не могу ни спросить в штабе твоего телефона, ни передать словами номер своего.

Письма, книги доставляет мне все та же Мария Михайловна. Однажды таким порядком попала в мои руки и партизанская почта с самолета.

Пакет с Припяти, да еще чей?! От Ивана Коренского. «20 мая,— небрежно зафиксировал Коренский.— Все это время не писал: особых событий в жизни не было. Живем, можно сказать, на широкую ногу. Если кому-нибудь сказать, что по всему Лельчицкому району можно ездить одному или вдвоем и никто тебя пальцем не тронет и что в тылу врага ребята играют на гармонике, ганцуют с девчатами,— то, наверное, никто не поверит. Но это так. Сколько здесь отрядов! Много! Были ковпаковцы и наши военные эсманцы, днями с Орловщины пришли федоровцы, явились сумские под командованием капитана Шушпанова,— все ребята свои, из Хинели, из моего села.

Земляки наши не нарадуются, что мы как-то уцелели, живы, что повстречались после стольких опасностей.

Ночью провожали в Москву своих раненых бойцов — Квасова Ивана и Троицкого Михаила, — пусть подлечатся. Достали с Курятником 800 штук папирос «Казбек», две пачки табаку «Дукат» и — впервые за весь рейд — пачку свежих московских газет — «Правда», «Известия». Все это, понятно, «нелегальным» способом, но партизану нужно быть находчивым.

Два слова о Тхорикове. Как только наш отряд присоединился к биваку Шушпанова да Федорова, больше никто из нас в отряде Тхорикова не видит. Наверное, считает ниже своего достоинства знаться с ребятами, с которыми прошел столько километров рейда пешком и которые кормили его, даже поили водкой, доставляя все это иногда ценой жизни. И будто его не те же вши кусали, что и нас. Или не прятался с нами на чердаках да в курятниках! Как-то подхожу, говорю: «Здравствуйте!» А он словно не заметил и на приветствие ни гугу... А когда идет мимо, то и не глянет. Здесь он уже раскрылся до конца, душонку свою вывернул наизнанку. Вот уж уродился человек...

Рано выскочил он в руководители. Нужно было сначала поучиться у народа, научиться любить и уважать людей, а он сразу — с титула! С портфеля...

К Первомаю отбыл он, слава богу, в Москву, что-то буркнув на прощанье. Между прочим, заявил, что временно оставляет меня вместо себя — комиссаром. Я так и не понял: комиссаром отряда или соединения.

Теперь на досуге частенько вспоминаешь, какая это была горячая пора — рейд по степям Украины! Узнали мы, что пробилась все наши конники на Припять, а командир заболел и его на самолете отправили в Москву. Получил звание генерал-майора.

Родина и правительство не забыли и нас. Запомнят и враги — сколько опрокинули их эшелонов, разрушили мостов, сколько уничтожено гитлеровцев и разных прихлебателей. А сколько роздали населению хлеба, разбили вражеских машин, захватили лошадей, подготовленных фрицами для фронта! Какая проведена массовая и агентурная работа! Народ увидел партизан в глубинных степях, в тылу врага и убедился, что есть народные мстители. Не такие мы, какими рисуют нас немцы: несчастные, голодные, замерзающие, а действительно —

сила, способная громить противника, где только он встретится! Все это поднимает дух народа, укрепляет уверенность в победе Красной Армии, зажигает ненависть к врагу. Как результат — тысячи людей уже взялись и еще возьмутся за оружие, а кому оружие не под силу, то другим чем-нибудь поможет народной войне.

Сколько пришлось пережить, повидать. Вздумаешь — мороз проходит по телу... Спали на снегу и в оврагах, в скирдах и на чердаках!.. И каждый миг — жди опасности. Да, было дело...»

Два раза навещал меня и генерал Строкач, который вскоре отправился в тыл противника, к партизанам. Он ставил вопросы, а я бегло писал на большом листе бумаги короткие ответы, жестикулировал, передавал, как мог, мимикой.

Речь шла главным образом о перспективах и тактике партизанской войны, о политической обстановке в тылу противника, а также о том, что хорошо и что плохо в работе его штаба.

— Наш штаб, — говорил Строкач, — был создан партией впервые в истории. Подобных штабов никогда не было, и вопросы организационной структуры, оперативной деятельности, так же как и неисчислимое количество других дел — явление новое, очень сложное, не изученное. Помимо многочисленных десантов, снаряжаемых и высаживаемых на Украине, помимо вопросов боевого снабжения партизан, штаб наш ведет учет личного состава партизан, занимается лечением, награждением, заботится о пенсиях, пособиях, трудоустраивает семьи партизан.

Организация связи, переброска колоссального количества вооружения, снаряжения и боеприпасов за линию фронта — все это ложилось на плечи главштаба. Вместе с тем я знал и другое: огромная работа нацелена была, как мне казалось, преимущественно на партизанский оседлый край — на Полесье. Казалось, что именно туда направлялись все помыслы штаба, вся материальная забота.

И я не удержался...

— Зачем, — царапал я на бумаге, — были выведены из моего подчинения отряды Воронцова и Туманчука, который использовал самостоятельность лишь для того, чтобы соединиться с наступающей Красной Армией?

— Это больной вопрос, — нехотя ответил генерал Стро-

кач. — Дело в том, что штаб заинтересован в размножении самостоятельных отрядов. Возможно, что мы слишком поспешили, не учли особенностей вашего рейда, условий формирования в походе. Но я не ожидал от Воронцова и комбрига таких опрометчивых действий. Скажу прямо: это было и моей ошибкой. Ошибкой в том отношении, что следовало узнать сначала ваше мнение. Я пытался потом возвратить эти отряды в соединение. Впрочем, лучше поговорим об этом в штабе. Ведь не всегда в острую минуту найдешь самое верное решение.

— Мне не совсем ясна идея размножения мелких самостоятельных отрядов, — снова черкнул я карандашом, и Строкач уклончиво пояснил:

— Дело в том, что мы не знаем подлинного размаха движения на юге, оно все возрастает и каждый день прибавляет нам новые партизанские силы. Отряды, группы возникают как грибы. Думаю, что ваш рейд был сильным толчком к подъему людей. Очень возможно, что эти наши неудачи потом благотворно скажутся на больших успехах.

— Но помочь хотя бы картами можно было! Ведь мы ходили что называется с завязанными глазами... Я уже не говорю о посадке самолетов. Обоз, раненые... На марше это каждый раз сковывало нас и вызывало новые, порой напрасные жертвы, ошибки в решениях командиров, которых могло и не быть.

— Этого не учли своевременно. Просто не знали вашей нужды в картах, не представляли всех трудностей с обозами раненых. Большая глубина удаления от фронта, неустойчивая погода — все это мешало самолетам. Нас это сильно беспокоило, мы принимали меры. Мне, например, удалось настоять на рискованной посадке отряда самолетов у Голованевска. Но и туда опоздали. Мне позвонили в три часа ночи на квартиру и сообщили, что с самолетов запрашивают: «Как быть? Кругом горит все, сигналы на посадку не выложены». Я решил тогда: пусть сбрасывают грузы в лес. Для немцев, если захватят наше вооружение, эти трофеи невелики, а партизанам достанутся — существенная помощь. Ну, а далее и вовсе прекратилась связь с вами. Я не верил сообщениям Тхорикова о вашей гибели! Я приказал радистам искать вас по всем направлениям. В ЦК партии и ставке требовали найти командира и помочь хотя бы раненым.

— В назидание всякому, кто предательски бросает в

беде своих, прикажите Червонному отряду возвратиться в мое соединение. Снимите, прошу вас, эту радиостанцию с информации, прикажите Федорову не пригревать Тхорикова в своем соединении.

— У нас, правда, на сей счет были некоторые соображения... — заколебался генерал Строкач. — Но вы серьезно считаете необходимыми эти меры?

— Да. Попустительство, снисходительность грозят развалом соединению. Тхориковы делают все, чтобы в отрядах не было ни порядка, ни дисциплины.

— Хорошо. Я прикажу отряду вернуться в ваше соединение. А вопрос о Тхорикове вам нужно было решать там... пользуясь своей особой властью.

— Я очень хотел бы знать, генерал, где находятся теперь мои люди? Что с ними? В каком они положении?

— Соединение ваше в Пинских болотах. Вам не надо сейчас об этом думать.

Я читаю в глазах генерала нечто невысказанное, он куда-то торопится. Ему действительно некогда, — нашу беседу несколько раз прерывали звонки кремлевского телефона. Строкач поскорее хочет прочесть список моих просьб, которых, впрочем, не столь много. Я пишу:

«Прошу прислать справочную литературу о партизанском движении с давних времен по наши дни — все, что было написано рукой партизанского командира. Прошу помочь офицерскими кадрами и кавалерийскими клинками».

— Будет сделано, только поправляйтесь. Отдохнете в Москве, в нашем санатории.

Мне недолго пришлось ожидать исполнения обещанного. Центральная библиотека доставила в Кремлевскую больницу все, что интересовало меня и что имелось в ее распоряжении. Это была единственная отечественная книжица, которую написал... Денис Давыдов!

Получил я и «Всемирную географию», чтоб основательно изучить Пинский край, где жили теперь партизаны-конники.

«...В Европе величайшим примером скопления воды является болотистая область Полесья, которую обыкновенно ограничивают линиями Брест-Литовск — Могилев — Киев. Это треугольная площадь около 90 000 квадратных километров. Большая часть ее занята областью Припяти, но она заходит также и в область Днепра, Березины и Буга...»

Бог мой! Только теперь дошло до меня значение сказанного капитаном Карасем при встрече в Толстом лесу: «До Сабурова без лодок не доберетесь».

Хотелось вырваться скорей из больницы и полететь туда, пусть в болота, в первобытную глушь. Скорей надо вывести отряды из опустошающих боевой дух мест.

Но борьба с болезнью продолжалась. А при выходе из больницы заключение, подписанное профессором Преображенским, гласило:

«Избегать сырости, не пить холодной воды. Ввиду длительного вынужденного голодания во время болезни, необходимо усиленное питание и спокойный отдых».

Глава XXII

В ГЛАВШТАБЕ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ

— Ба! На ногах, герой! — воскликнул подполковник Дрожжин, когда я, прибыв на Тверской бульвар, где находился штаб партизанского движения, зашел к нему в кабинет.

Подтянутый, бодрый, он встретил меня дружески. Начался разговор о деталях подготовки соединения в рейд, споры с Фомичем, который считал будущий наш поход безнадежным риском.

— Да, рисковать в Степном рейде, конечно, пришлось немало, — все более оживлялся Дрожжин, — но где нет риска на войне? Еще неизвестно, удастся ли спасти партизан Фомича, хотя они и укрылись в больших лесных массивах.

Дрожжин доверительно сообщил, что к Брянскому лесу стянуты огромные силы немецких войск и что, не ослабляя блокады, каратели ворвались на партизанские базы и провели там так называемую «генеральную проческу» леса...

— Вообще, дела там плохи. А ваш рейд — это плуг, пропахавший глубокую борозду. Теперь поднимается взбудораженная целина юга! Загляните в оперотдел. Впрочем, лучше, пожалуй, в орготдел, к Найдеку. Он покажет вам интересную картину. Да, жаль, очень жалею, что не ушел с вами наш Мартынов комиссаром. Помните его? Об этом и решение ЦК было, да опоздали сообщить в Хинель, задержались с радиограммой на двое суток. Все было бы, конечно, по-другому, но теперь

дадим комиссара подходящего. Возможно, это будет генерал Грушецкий Иван Самойлович, а что касается других офицерских кадров — поможем. Уже отправлены к тебе хирург Тарасов, разведчик Гаврилук, начальник радиоузла Козлов. Подготовлены к вылету Ксензов, Сыпливый, Георгиевский — хлопцы хоть куда, бывалые, из нашего госпиталя. Сыпливого, конечно, помнишь? Вояка хинельской гвардии, но попал, как знаешь, к Туманчуку вместе со всеми ямпольцами. Жаль все же, что запоздала радиограмма, Мартынов не дал бы воли подлецам да ловчилам...

Этой встречей началось мое знакомство с Украинским штабом партизанского движения. Из отдела кадров направился я к шефу нашей партизанской связи Мацую Петру Афанасьевичу.

Вхожу, прикрываю дверь, вглядываюсь в белолицего, сухощавого молодого человека, а он — в меня. Здравствуемся. Говорим о радиосвязи, о судьбе соединения, о моем трехнедельном молчании в эфире и месячном пребывании на излечении.

Я тут же пишу радиограмму Мельнику. Хочу знать координаты своего соединения в лесах.

— Связь, — заверяет Мацуй, — регулярна и абсолютно устойчива. Посланные туда радистки Валюша Харченко и Тоня Чередниченко давно освоились. Наши портативки взаимно слажены в своей работе с мощными радиостанциями УШПД. У них точная настройка.

Я радуюсь успеху Мацуя и его помощников. У них, разумеется, своя борьба против врагов в эфире.

— Конечно, — мрачнеет Мацуй, — не обошлось без неудач с выбросками в тыл. Ведь размах дела огромен и оно ответственное, секретное. Но провалов связи на Малой земле пока еще не было. Вы понимаете сами — это уже дело чести и вообще моральной стойкости наших радистов-десантников...

Иду в орготдел, более часа провел у майора Найдёка. Усмехаясь серыми чуть навывкате глазами, он отодвинул бумаги в сторону и твердо сжал мою руку. Мы сели. Завязалась непринужденная беседа.

— Во-первых, о делах на Припяти, — начал Найдёк, отвечая на мой вопрос. — Скажем прямо: тревожно. Наши люди там, словно в мышеловке. Почти все украинские соединения сбились в одну зону. А потери в ваших отрядах просто страшные.

Найдек раскрыл папку с бумагами.

— Вот последние данные капитана Мельника. По состоянию на двадцать восьмое мая у него числится всего-навсего двести десять человек... Пеших.

— Что? Ведь когда я улетал, было около семисот конных!

— Так. Двести десять. Пеших!

— Это описка в радиограмме!

Найдек усмехнулся:

— Описки и опечатки перепроверяем. Мы дали распоряжение, чтобы вам Червонный отряд, примкнувший к Федорову, возвратился в соединение. Численность вашего соединения, таким образом, значительно увеличится. В конечном счете важна теперь не численность, а география... даже этнография, ибо увеличивать партизанскую армию будем за счет местного населения. Эта база на Украине — неисчерпаема. Повторяю — на Украине.

Немигающие глаза Найдека искрились юмором и теплотой, он явно изучал меня.

— Очень подходящ во многих отношениях может быть бассейн Тетерева. Одни леса чего стоят! Особенно вот те, что примыкают к Киеву с северо-запада.— Карандаш Найдека скользнул по карте.

Изучая с помощью карты окрестности Киева, мы выкурили несколько папирос.

— А теперь о «картине», обещанной вам Дрожжиным.— Найдек раздвинул шторы на другой, стенной, карте.— Смотрите!

Я увидел рой красных бумажных флажков, воткнутых в зелень Припятской низменности. На флажках значились фамилии партизанских командиров: Иванов, Шущпанов, Федоров-Черниговский, Федоров-Ровенский, Сабуров, Грабчак, Покровский, Кожухарь, Бабич, Шкрябач, Андреев, Маликов. Было еще множество других знакомых мне имен, обозначенных не флажками, а треугольными вымпелами. Все они, эти украинские соединения и отряды, были в лесах вокруг села Лельчиц, недалеко от партизанского аэродрома.

— Уже есть решение ЦК партии рассредоточить отряды по областям. Там сейчас находится Демьян Сергеевич. Туда же он вызвал генерала Строкача. Но туда же двинуты противником крупные силы... Рассредоточение партизан потребует теперь немалых усилий.

Указка Найдека переместилась на нижнюю часть

карты, где была цепочка треугольников, растянутых по крутой кривой к югу, то в одиночку, то группами. Эта линия флажков представлялась в виде опрокинутой упряжной дуги, один конец которой упирался в Сумы, другой — в Киев. Вершина дуги была в точках Кировоград — Винница.

— Узнаете?

— Маршрут нашего рейда? Но неточно отмечено: западней Винницы я не бывал.

Найдек загадочно улыбнулся:

— Это еще вопрос — были или не были! Я внимательно с картой в руках поработал над вашей стенограммой.

Он извлек из стола сброшюрованную расшифровку стенограммы.

— Видали? Страничек с триста напечатано.

— Имею копию.

— Хорошо. Но скажите, что вам известно сегодня о капитане Кочемазове с командирами? О Грищенко с отрядом автоматчиков? О комиссаре Алферове и капитане Дорошенко? О делах Воронцова на юго-западе Харьковской области? О действиях Яремчука на Полтавщине?

Я ничего не мог прибавить к стенограмме.

— Вижу, что не знаете, но я, — Найдек заглянул под обложку папки, — я не уточнил еще всех неясных вопросов. Мы не знаем, например, ничего о судьбах многих товарищей, пропавших без вести в ходе вашего рейда, случайно отставших в пути и оставленных в селах для излечения. Ведь каждый из них — у нас есть данные так судить — представляет собой боевую силу, агитатор и организатор. Каждый из них несет знамя соединения, поддерживает его традиции, продолжает боевые дела, действует.

— Да, вы правы. Так мы воспитывали наших бойцов.

— Жаль, что не имеем связи со всеми. Ведь одно время считали и вас погибшим... Нет, не все, пропавшие без вести, погибли. Партизаны вашего соединения продолжают нести боевые вымпелы и на Винниччине, и под Чигирином, у Голованевска и, возможно, в Саврани или Шепетовке. Отдельные весточки, залетевшие к нам, свидетельствуют об этом.

Это волновало. Радовали смелые догадки и предположения начальника орготдела, хотя они и основывались,

как он говорил, только на отдельных «залетных весточках». Поднимало настроение и то, что многочисленные флажки и вымпелы, украшавшие оперативную карту, олицетворяли собою новые партизанские силы, сформировавшиеся за каких-нибудь два-три последних месяца.

«Рейд — плуг», — будто бы говорили флажки-отряды, подтверждая слова Дрожжина.

«Пропавшие без вести», отбившиеся от нашего соединения, стали находкой в развитии партизанской борьбы на юге. Об этом намекал мне и генерал Строкач. Одиночки и группы сумчан в южных степях Украины продолжали дело рейда — являлись живым примером для тех подпольных патриотических организаций, отрядов и групп, которые нуждались в боевых инициаторах вооруженной борьбы, в опытных командирах, в искусных разведчиках и умелых подрывниках, в организаторах и советниках.

Как бы желая уверить меня именно в этом, Найдек привел ряд новых примеров:

— У нас зарегистрированы на юге и взяты на учет за последние два-три месяца сотни партизанских групп и отрядов. Да, — сотни! И даже одно партизанское соединение в Голованевских и Гайсинских лесах, а также одно или два соединения в районе Кировоград — Черкассы. Вот, — Найдек показал на Поднепровье, — в Холодном яру, — когда-то доносили вы, — нашли «схимников». Теперь там живет и действует очень крупный отряд капитана Дубового. В Каменском и Новогеоргиевском районах, где разгромили вы карателей, хорошо проявляет себя отряд Куценко. Возник новый Хинельский отряд, который организовал ваш партизан Филипп Ищенко. Кстати, Диброва, с которым не удалось вам встретиться, сообщает, что к нему — в отряд Дзюрака — приблизилась большая группа ваших бойцов во главе с начальником штаба Грищенко. Новый отряд появился также под Кременчугом, комиссаром которого является Виктор Васильев — тоже ваш партизан, отставший от соединения по ранению.

Найдек вычитывал десятки и сотни имен людей, которые действовали в различных районах и областях, и, казалось, этот динамичный, спокойный с виду, сильно заряженный внутренней энергией человек лично знал весь актив Украины. И будто не я, а он прошел партизанскими тропами, побывал в лесах и степях Украины. Эта

широкая осведомленность штаба говорила о многом и радовала меня.

— На днях,— продолжал Найдек,— зафиксирован еще Знаменский отряд, а в районе Новоархангельска — отряд имени Чапаева. Они открыли боевой счет и действуют уже около трех месяцев.

Найдек перевел взгляд на меня.

— Скажите, вам ничего не говорит имя Ефима Фединского? А Кришталя или Камыша? Их отряды возникли в марте, то есть во время рейда на Кировоградщине, в том месте, где ликвидированы вашими партизанами лесоразработки и освобожден лагерь пленных. Там же зародился отряд «За Родину».

Отыскав шифрограмму, Найдек спросил, не знаком ли мне военнопленный Коршиков? И пошел указкой еще южнее, пока не воскликнул:

— Галоча! Милое, дорогое сердцу охотника Галоча! Там сейчас действует кавалерийская бригада Кондратюка. В свое время десантированные вам грузы — автоматы, противотанковые ружья, пулеметы — попали к ним в бригаду. Мы не знаем точно, кажется, Григорием Бойко зовут организатора и командира еще одного конного партизанского отряда, который там, в Галоча, Грушке и Гайвороне, действует.

Я вспоминаю о капитане Калашникове.

— Нет,— отмахивается Найдек,— попытайтесь лучше вспомнить одного из ваших партизан. Офицера, по фамилии М-мы-чковского...

Этим «м-мы» и многими вопросами об именах партизан начальник учета и формирований, казалось, в деликатной, тактичной форме корил меня за утрату списков партизан, за уничтожение документов.

Моя очередь ставить вопросы пришла во втором часу беседы.

— Вы имеете радиосвязь с южными отрядами?

— Сами знаете, это — военная тайна. Поясню лишь, что главштаб парашютистов не высаживает сейчас на вольеры немецких овчарок. Использована и ваша записка о «Некоторых выводах из опыта партизанской борьбы», написанная Центральному Комитету партии. Вот она!

Найдек извлек из ящика стола десятка с два скопированных с оригинала страниц, которые писал я, будучи в Кремлевской больнице.

— Что вы считаете толчком к столь массовому развороту партизанской борьбы?

— На то и рейд был задуман, чтоб разжечь партизанское движение! Оно с каждым днем разгорается сильнее и шире. Задача выполнена. Задача стратегического порядка. Но, конечно, рейд — только одна из причин активизации. Победы на Волге. Наступление нашей армии по всему фронту. Весна. Все это — сжатые пальцы кулака. Причины объяснять следует диалектически. Мы знаем о делах наших партизан еще немало хорошего, но не будем забегать вперед, сначала основательно проверим поступившие данные.

Вошла девушка в военной форме, с эмблемой связиста на погонах и вручила Найдеку две шифрограммы.

Прочтя, Найдек сощурился:

— Мы не точно учли состав ваших отрядов. Не приплюсовали эвакуированных в Москву раненых. Сегодня еще поступили раненые на двух самолетах. Снова с Припяти, все из ваших отрядов.

На «вертушке» показался сигнал вызова: звонили из ЦК. Начальник орготдела встал. Разговор пришел к концу.

Я снова зашел к Дрожжину и застал у него начальника Центральной партизанской школы полковника Старинова.

Участник гражданской войны, военный инженер, один из активных борцов за республиканскую Испанию, Илья Григорьевич считался лучшим специалистом по подготовке руководящих партизанских кадров и специалистов минно-подрывного дела. Теперь он совмещал эту свою работу с ролью заместителя начальника Украинского партизанского штаба.

Старинов и Дрожжин начали вспоминать начальный этап партизанской борьбы в пределах степной Украины.

— Как можно с наибольшим эффектом разрушать транспорт в степной полосе, вдали от основных партизанских баз? — спрашивал Старинов и тут же пояснял, что это можно достигнуть выброской большого количества мелких групп диверсантов. Но опыт показал, что такие мелкие группы не обладают значительной пробивной способностью. Будучи обнаружена днем, группа может стать жертвой даже небольшого поискового отряда. Выброска небольших групп до сего времени не дала ожидаемых результатов. Особенно тяжелые потери мы име-

ли на Кубани и в Ставрополе. Опыт учил, что наиболее выгодно сбрасывать группы на партизанские базы. Об этом, кстати, пишете вы, генерал, в докладной записке, и это абсолютно верно: они получают там, на базах, соответствующий психологический «иммунитет», акклиматизируются, лучше, полнее, нагляднее знакомятся с реальной обстановкой.

Наш разговор снова зашел о Степном рейде. И оказывается, что в ЦК партии уже подготовлено решение по освоению степной полосы: туда пойдут многочисленные отряды по сто и более партизан. Во взаимодействии с рейдами крупных соединений это даст отличные результаты.

— Ваш рейд,— говорит Старинов,— весьма показателен в этом отношении. Рейдирующий отряд, разрушая мосты, может срывать планы противника по оперативным и снабженческим перевозкам. Это доказано было вами под Сумами и в районе Харькова, когда наши войска захватили там огромное количество подвижного состава. Но исключительно эффективны в рейдах диверсии на железных дорогах. Вблизи партизанских краев вражеские поезда ходят с малой скоростью, перевозят второстепенные грузы — лесоматериалы, поэтому результаты крушений относительно невелики. Вдали же от лесов эшелоны несутся на предельной скорости, с важнейшими грузами, с войсками. Крушения таких эшелонов с последующим обстрелом дают высокий эффект поражения врага.

Дрожжина все время отвлекали телефонные звонки, и он сказал секретарю, чтобы нас не беспокоили некоторое время.

— Так вот,— сказал Леонид Петрович,— Степной рейд в тактическом отношении — новое слово в партизанской борьбе. Вопреки возражениям, мы достигли крайнего юга! Оправдалась идея ЦК партии, что партизанские действия возможны не только в лесах, но и в степи. Это весьма важно, крайне актуально для юга Украины. Ведь у нас число жителей в лесных районах составит небольшую часть украинского населения!

Дрожжин обратился к карте.

— Смотрите сюда! Вот вам Середино-Будский да Хильчанский — два лесных района Сумщины. Но и они в основном степные. Корюковский да еще несколько лесостепных видим на Черниговщине, с десятков лесных райо-

нов насчитываем на Волыни. Все остальное на Украине — степь, занятая громадными селами, местечками, городами. Да что говорить! В одной Винницкой области несколько миллионов человек было, там до полсотни сахарных заводов! В нашем оперотделе прижилась своеобразная «югобоязнь». На протяжении всего 1942 года, до нашей с Мартыновым поездки в Хинель, не прекращались споры. Генерал Строкач первым поставил вопрос о закрытии южных ворот Львов — Казатин, через которые следуют эшелоны врага на Центральный фронт. Через эти ворота проталкиваются грузопотоки на север. Чрезвычайно важный и актуальный вопрос. Ведь немцы явно хитрили: они всю использовали наши южные дороги, обходя лесные партизанские районы. В Хинели, в Сумском штабе, Мартынову и мне также пришлось бороться с этой «югобоязнью», с местничеством Фомича. А между тем из бесед с секретарями обкомов да и по собственной информации мы знали, какой взрывной силы заряд удалось оставить нам в центре и на юге Украины — в подполье. Требовался лишь внешний сильный толчок. Этим толчком стал Степной рейд.

И тут я узнал нечто новое.

— Не удивляйся,— сказал Старинов,— что не находит для тебя самолетов оперотдел: заскорузлость мышления продолжала жить даже в ходе твоего рейда. Когда Дрожжин с Мартыновым докладывали здесь об итогах поездки в Хинель, то ярые сторонники лесной войны раздували ваши потери. Мол, потеряли в степях и парашютистов, и партизан.

— Да, именно так было,— подтверждал Дрожжин,— но генерал Строкач тогда сказал мне на ухо: «Потеряли? А мы еще посмотрим, какие будут результаты».

Дрожжин на минуту задумался и доверительно улыбнулся:

— Но и Строкачу нелегко проводить эту линию: в верхах сказали однажды при мне: «Не верим... На юге, в степях, воевать очень, очень трудно. Будут большие потери...»

Старинова вызвали, и он ушел, а Дрожжин еще долго горячо говорил, радуясь, что идея его нашла подтверждение, что растет число его сторонников, а главное — число отрядов на юге.

— Рейд — это, если хотите, разведка на широком фронте, мощный толчок к повсеместному развитию партизанского движения,— сказал Дрожжин, прощаясь.

Глава XXIII НА ПОДОЛИИ

Пожалуй, никогда не хватит времени у сумчанина Николая Руденко и москвича Николая Спиридонова, чтоб пересказать обо всем пережитом. И, видимо, нет на свете такого испытания, чтоб не извели они, скитаясь по хуторам и селам весной 1943 года.

Три месяца назад они уснули в скирде соломы под Шляховой после тяжелого, изнурительного боя с карателями. И с тех пор два партизана ищут свое соединение, не бросая длиннствольных винтовок и не помышляя о мирном пристанище где-нибудь в хуторской глуши. Они шли да шли, все догоняли да искали, шарахаясь из одного района в другой. Ночью, как правило, они торопились, а днем, спрятавшись, выжидали.

Разыскивая своих, они прошагали и Гайсинские, и Винницкие леса, затем напрасно прошли оттуда под Гайворон. Спали они то на чердаках сараев, забравшись туда на рассвете, то в прошлогодних подсолнухах, то целый день в степи на вспаханном поле, укрываясь от полиции. А сколько раз они переходили вброд ледяные весенние реки и речушки. Сколько раз нарывались на гитлеровцев и затем, рискуя жизнью, вынуждены были запутывать свои следы, укрываться, не показываться на глаза людей до наступления темноты...

И вот, наконец, два Николая набрали на следы своих конников.

В селе Овечье, где пришлось дневать им на чердаке, хозяин, замороженно приглядываясь к вооруженным гостям, проговорился, что советская конница прорвалась и ушла на Винницу.

— Там за железной дорогой и по ту сторону Калиновки, в Черепашинецкой роще, великий бой был, набили тьму немцев.

— Наши!— аж подскочил Спиридонов.

— Не перебивай,— вмешался Руденко. И дядька продолжал:

— Говорят люди, попали в окружение под Винницей, но пробились и пошли дальше, на запад... А бились как они! Говорят, что там осталось лежать множество немцев. Герои! Настоящие герои! Так и говорят люди в селах!

В голосе крестьянина слышалась гордость, которая переполняла сердца и партизан. И двум Николаям уже не казалось, что они обречены, пропали без вести, без следа.

В Чернятине, ближе к Виннице, где побывали два Николая среди ночи, люди предупредили их, чтоб они не шли в сторону Черепашинец — ни в село, ни в лес. «Там немцы добывают камень, делают подземный город. Там очень много немцев. И пленных — тысячи...»

«Рано утром двадцать второго марта, — рассказал им дедок с Большого Чернятина, — сюда, за Винницкую железную дорогу, прорвались партизаны-конники. Шли они от Днепра и хотели остановиться в том лесу на отдых, значит. А люди говорили, будто провел их в тот лес какой-то староста и предал. Они попали в засаду. Ой хлопцы, что тут было! Целый день не утихал бой. наших людей посылали на очистку леса. Много было там убитых и партизан... Люди очень плакали... проклинали немцев...»

Другие уверяли, что всех погибших партизан в лесу только двадцать пять человек и среди них девушка с большими золотыми косами. Что большинство хлопцев — очень молодые.

Потом люди направили двух Николаев к бывшему бригадиру огородной бригады. Уединившись с Руденко и Спиридоновым в холодную половину хаты, бригадир начал:

— Не пройти вам, не проехать в черные леса. Трудно, ой трудно попасть туда. Эсэсовцы всюду по селам стоят. Как бешеные. Все ищут партизан. А если уж так вам надо, то идите в обход Черепашинецкого леса. И пусть вам бог да хорошие люди помогают!

— А те конники кто были? — допытывались Николай.

— По-разному люди говорят. Одни утверждают, будто казачья армия прорвалась под Харьковом и идет на Винницу, другие считают, что это прошли партизаны из Брянских лесов... — Бригадир пытливо вглядывался в заросшие лица парней, чуя всей душой, с кем имеет дело.

Николай не сразу догадался, кто ж были конники? Страшно предположить: не остатки ли это всего соединения попали в западню? И что это за место Черепашинецкий лес? Почему не смогли ускакать и погибли все? Кто они? Если наши, то какого отряда: хинельцы, недригайловцы, эсманцы? Кто эта золотоволосая девушка?

Радистка Валерия? Но у нее каштановые волосы. Аня? Так у нее светлые локоны. Фельдшер Оля Максименко из Конотопского отряда?.. Она ж вовсе белокурая. Радистка также белявая. Тоня?.. У Тони, действительно, золотые, тугие, будто ржаные перевясла, косы!

— Она!— вскрикнул Руденко.— Ивановская студентка, десантница Тоня Милова!

Руденко уткнулся головой в ладони, свесив лохматую черноволосую голову.

«Тоня, Тоня, конечно, никто иной, синеокая, юная, гордая, презиравшая не только опасности, но и смерть, верная в деле и во всем, ненавидевшая захватчиков и мерзких прислужников... Дорогая девочка»,— аж застоял.

И тут же вспомнилась Шляховая, та злосчастная минута, когда под ним убило коня и он под огнем двух танков переходил какой-то ручей. Именно в этот миг в последний раз видел ее, Тонию, увозившую в санях по глинистому косогору раненого начштаба отряда — такого же, как и сама она, посланца ЦК ВЛКСМ, десантника...

Тоня умчалась тогда к Новоархангельску вслед за частью обоза с ранеными и, видимо, там повстречалась с группой автоматчиков, если не с отрядом своим или всем соединением.

— Я и говорю: вам лучше знать, кто они, те двадцать пять,— прервал бригадир своим мягким голосом горькие раздумья Руденко.

Бригадир, казалось, не хотел или не мог договорить всего, что знал, поэтому Руденко и Спиридонов ставили новые и новые вопросы.

— Ну, а что это за лес — Черепашинецкий? Велик он? Быть может, это начало того знаменитого Черного леса, который ищем мы вот уже третий месяц?— поднял тяжелую голову Руденко.

— Нет, хлопцы. За Бугом, за Яновом начинается тот Черный лес. И уходит он к Карпатам. И, говорят люди, там партизан много. И самолеты летают туда, и пушки, и танки у партизан есть. А наш Черепашинецкий лес — небольшой лес, скорее это роща в степи.— Бригадир начертил на свежеразмоченном земляном полу схему.— Вот вам Киевское шоссе, кардылевская запруда, железная дорога Казатин — Винница... Видите? Куда им, тем партизанам, было деться, когда со всех сторон войска?

Кардылевский сахарный завод был полон убитых и раненых фрицев... Сотни...

В интонации бригадира прозвучало что-то обнадеживающее, и Руденко поставил ему вопрос в упор:

— Что, видел своими глазами?

— Сам я ничего не видел — прятался в погребе. А люди говорят, что великая сила была в Черепашинцах и прорвалась она за Буг...

«За Буг! Туда, к своим, и нам надо», — переглянулись Николай.

— В обход Черепашинецкого леса идите, там — Буг, а у нас — «Виробництво», — чеканя каждый звук этого таинственного слова, повторил дядько и будто невзначай пояснил: — Говорят, что-то страшное делают и кто в тот лес попадает, не возвращается назад. Много людей проглотил тот лесочек, и кто хоть слово скажет про «Виробництво», тому гестапо не миновать.

Дядька сказал, что идти надо в Малый Чернятин, на запад прямо, всего не далее двух верст, через глубокий яр. Там на краю стоит третья хата, живет в ней свой человек, советский. Он укажет, как обойти Черепашинцы.

Вышли. Белый лунный свет ярко, словно осветительная ракета, обливал противоположный бугор и село Малый Чернятин. Николай подошли к третьей хате.

— Открой, Иван, мы от бригадира! — постучался в окно Руденко и увидел за стеклом искаженное ужасом лицо мужчины.

— Мы от бригадира... Од бри-га-ди-ра. Открой нам, — тянет Руденко, говоря по-украински и по-русски. — От бригадира, ну ж. Чого ты?

Молчит Иван. Он словно оцепенел. Вид этого человека в нижнем белье показался Николаям очень странным.

— Открой, мы свои. Мы партизаны. Ты же свой человек! Ну, чего боишься? Открой.

А тот все стоит — и ни звука.

— Пусти по-хорошему, як людына людыну!

— Открой, твою нехай! Мы партизаны!

Молчит, не шелохнется.

— Впусти, или гранатой разнесу хату! — грозит Руденко, но на того ничто не действует.

Так и ушли, решив искать другого бригадира, рекомендованного в Большом Чернятине.

— Понимаешь, — отойдя, заметил Руденко, — Светло, все видно. А здесь «Виробництво» это...

Под утро нашли другого бригадира, определив его двор по презлющей собаке. Стравили ей буханку хлеба, даже запас сала, и только тогда прошли в сарай. Однако, сожравши партизанские харчи, собака, усевшись под дверьми сарая, снова залаяла.

— Вот, ждатель-догонять!— Спиридонов бросил псу последний кусочек сала.

Но собака все злобствовала, а в хате кто-то ходил из угла в угол, не решаясь выйти. По всей вероятности, хозяин, бригадир. Тот ли? Может, снова не тот? Идти больше некуда, брезжило утро, к тому же Чернятин — село, граничащее с загадочным Черепашинецким лесом...

Только с рассветом вышел на крылечко хозяин, посмотрел в сторону сарая, нерешительно приблизился на зов Руденко. А когда признал в них партизан, свободно вошел к ним. Да, это был тот Иван — бригадир!

— Нам передневать, а вечером надо обойти Черепашинцы, — вступил первый, как обычно, в разговор Руденко. — Помогай. Никому — ни звука. Мы партизаны. Разведка. Предашь — расстреляют наши, как предателя.

— Все ясно, я вас укрою, буду сторожить, узнаю, нет ли чего такого в селе... А вечером провожу.

— Поесть дай нам, друг, если можешь. Собака запас сожрала...

— Враз, хлопцы, враз. Жинка изготовит, а я на работу, там разведаю, что и как.

— Постой! А впрочем...— Руденко махнул рукой. Решили не напоминать о «Виробництве».

День провели в тревогах-терзаниях. Все-таки они не знали этого Ивана. Не спалось и не елось, хотя хозяйка подала вкусный борщ, и белый хлеб, и сало. Никогда еще столь нетерпеливо не ждали они вечера.

Хозяин появлялся ежечасно.

— Ищут двух партизан, которые всю ночь ходили по селу, что-то высматривали, — сказал с тревогой, явившись в последний раз.

Когда стемнело, он провел Николаев через огород в яр, а там указал направление на Заливанщину.

Долго пробирались они по крутому склону балки, идя на северо-восток, переползли с большими предосторожностями двухколейный сильно охраняемый путь Винница — Казатин, перешли ровное мягкое поле и, наконец, добрались в Заливанщину.

Крайняя, все видящая, все знающая хата! Вот уж наперекор пословице: «Моя хата скраю...»

При виде пришельцев кто-то выскочил из дверей в белых кальсонах и — за угол.

С десятков минут томительного, напряженнейшего ожидания.

— В чем дело, хозяйка, где хозяин? Не в полицию ли кинулся?

— Нет, люди добрые, этого он не сделает! Он ждал вас, побежал за хлопцами.

— А немцы в селе есть?

— Полным-полно!

Взявшись за винтовки, Николай кинулись во двор, но там уже шагали две темные фигуры, а между ними — белая, в кальсонах.

— Кто идет?

Белая фигура замахала руками:

— Своих веду, не стреляйте, товарищи!..

Подбежав, он заговорил, едва переводя дыхание.

— Это наши, мой родич Беспальчук Петро. Наши, хорошие люди! Ходимте до хаты.

Петро Штефорук — так звали хозяина двора — велел жене подать молоко и хлеб.

— Можешь сказать, как пройти за Буг, обойти опасные места, найти своих за Бугом? — спрашивали партизаны Беспальчука.

— Могу связать с партизанами, но вам надо переждать в нашем селе несколько суток.

— Но здесь полно немцев!

— Здесь и мы, подпольщики. Комсомольцы... Доверьтесь нашей организации...

— Нам, милый, некогда ждать! Нам за Буг надо! И поскорее.

— Напоретесь и погибнете, — без обиды за недоверие ответил Беспальчук. — Без проводника идти туда и не думайте. Вы не знаете черепашинецких дел. Там уже погибли такие, как вы...

Беспальчук подробнее рассказал о таинственном «Виробництве».

— Там тысячи пленных... Работают под землей... Никто еще оттуда не вырвался. А что вы двое? Убьете десяток-два немцев, это в лучшем случае, а потом и сами попадете им в руки.

— Раз в каждом селе немцы,— упирался Руденко, как можно здесь переждать? Да еще несколько суток?

— В норе,— убежденно заявил Петро.— Эту ночь в яру перебудете, в норе, а завтра переведем в село в мой дом. На чердаке перебудете.

— Веди сейчас в дом!— потребовали партизаны.

— Нельзя, хлопцы, с десяти вечера на улице патрули ходят по всей Заливанщине.

— Веди краем села! Полеми...

— Вот же странные! Говорю: целый полк в селе, по краям села караулы да заставы. И часовые как раз у моего дома...

— А завтра как вести будешь?

— Вечером, когда стемнеет, а люди еще не спят.

— Тьфу!— сплюнул Руденко.— Пойдем в нору, Коля.

Два Николая шли следом за Петром в яр. Там проползли несколько метров через узкую нору и очутились в тесной пещере, размером в русскую печь. Ход в нору заслонялся камнем, воздух проникал только через дырку в потолке, которая была заткнута тряпками.

— Вот ждатель-догонять!— бурчал Спиридонов.— Здесь и ног некуда вытянуть! И духота! Кому доверились? Мальчишкам? Чего теперь мы стоим, хоть и две винтовки у нас и патроны есть! Суслики, а не бойцы! И поймают нас как сусликов...

— Ну, ты не впадай в панику!— отрубил зло Руденко.

— Вечно мерещатся тебе страхи. А что могли нам предложить? Сиди, не рыпайся! Знаешь, где мы находимся?

— Ждатель-догонять! Нечего политграмотой заниматься. Сами с усами! Все ясно!

День, целый день в норе! Напрасно думалось, что нет уже таких испытаний, которых не познали они в своих скитаниях.

Но вот что бывает сладкий воздух—этого они не знали.

Чистый, сладкий. Не свежий, весенний, ароматный или еще какой-нибудь другой воздух, а именно — сладкий.

Не могли надышаться, выбравшись на лужайку.

Только спустя полчаса их дозволили ребята. Пошли в Беспальчукову хату. Вернее — на чердак. В хате квартировало целое отделение немцев.

— Не пойду!— запротестовал Спиридонов.— Лучше уж в поле пусть убьют.

Но не таковы были заливанщинские комсомольцы, чтоб отступить. Доказали, что немцы теперь не те, а на

Волге битые! Сами боятся, чтоб только их не затронули.

— Вот увидите,— настаивал на своем Беспальчук,— их патрули никого с вечера не трогают.

— А если затронут?

— Доверимся! — согласился и Спиридонов.— Больно уж старательные ребята, нравятся. Надеюсь, не успели испортиться.

Было уже темно. Они шли к центру села. Навстречу неуверенным, воровским шагом приближались две фигуры. Это патруль, с гранатами-палками, заткнутыми за пояса, и автоматами.

Партизаны плотней прижали стволы винтовок к бедрам, уткнув приклады под мышки. Зорко следя за движениями патрульных, ребята стараются шагать как можно спокойнее. Патрульные посторонились.

Беспальчукова хата гудела, словно улей: немцы ужинали. Партизаны зашли в сени. Петро извлек откуда-то лестницу, подпер спиной дверь. Руденко и Спиридонов тихо взобрались на чердак, а ребята, убрав лестницу, ушли.

До глубокой ночи шумели немцы, а партизаны в это время сладко спали.

Утром, когда солдаты ушли на занятия, комсомольцы пришли на чердак. Принесли молоко, хлеб. По-детски рассматривали партизанское оружие, просили дать им гранату, чтобы взорвать немецкий штаб. Они уже знали, что вчера в этой хате был прощальный вечер: молодой немец уходил на фронт, а его отец оставался в Заливанщине.

— Вот бы, ждатель-догонять, соединение наше сюда! Мы б им устроили проводы... на тот свет! — потер ладони Спиридонов.— Хоть бы один отряд из нашего соединения сюда! Лихое получилось бы дело!

— Не забывай. Коля, рядом Черепашинцы, а там — другой полк, а в Кардылевке, может быть, третий и четвертый...

Порою Спиридонов от скуки целился в немца, слонявшегося во дворе, пришептывая:

— Вот, ждатель-догонять, размозжу тебе, чертов Йоганн, черепную коробку, чтоб помнили партизан твои родичи.

Глядя на своего друга, Руденко только улыбался.

Три ночи и три дня просидели партизаны на чердаке, словно на mine. Только потом Петро сообщил, что отправляет друзей в отряд, в Забужье.

Какая радость! К своим!

Уходили вечером. Разминулись, как в прошлый раз, с патрулями. Словом, благополучно выбрались в поле. Скупой на слова проводник шагал к Бугу. Разузнать у него что-либо конкретно о партизанах не было никакой возможности: «Да!», «Нет!» — вот все, что он отвечал на вопросы Николаев, отмеряя дорогу длинными двухметровыми шагами.

— Мы идем к партизанам?

— Да.

— Сколько их? Кто командует ими?

— Не знаю.

— Слышно, в Черных лесах целая армия? С аэродромом своим, пушки имеют. Так это или не так?

— Так... и не так.

Три ночи в пути, пока обошли Калиновку и достигли местечка Янов.

Проводник привел к реке. Лодки на месте не оказалось.

Буг, подпираемый гущинецкой запрудой, встал преградой.

— Жаль, Коля, сложить голову у самой цели, — сказал сокрушенно Руденко. — Придется прорываться...

— Какой прорыв вдвоем? На мосту, ждать-догонять, полиция!

— Выхода нет! Назад некуда...

Николаи решают отпустить проводника, а сами во что бы то ни стало — на ту сторону!

— Прощай, друг! Передай своим ребятам наше партизанское спасибо. Спасибо и тебе, парень. Ты не трус. Молодчина.

Николаи тихо подкрались к мосту, прислушались, вложили капсюли в гранаты.

— Ну, была — не была!

Раскатистый, гулкий взрыв гранаты, беглая пальба из винтовок...

— Ура!.. Ура-а!.. — топчут сапожищами по звонкому настилу. Еще и еще взрывы гранат. Эхо катится над сонным Яновом...

Проскочив мост и пробежав еще с полсотни метров, они залегли. Все вокруг молчало, лишь звонко колотились сердца.

Охрана отозвалась стрельбой только когда удалились Николаи. Пальба «для начальства».

Радостно взволнованные, друзья смело вошли в село Каменная Горка. Люди подсказывали, что недавно видели партизан-конников. Они есть где-то, но в каком именно месте, никто точно не знал.

Не видел партизан и хозяин квартиры одноглазый Гриша, который, по словам проводника, держал связь с кем-то. Гриша только уверял, что партизаны у него обязательно будут.

— Что же это за партизанская армия, которую никто не видел? — начал удивляться Спиридонов.

— Надо смекать, Коля! — усмехнулся Руденко.

— Опять ждать-догонять?!

— Разве не мы с тобою скакали в составе казачьей армии по степям, всполошили оккупантов! Разве выдумка то, что дрались твои и мои товарищи у Кардылевки? Не ты ли, Коля, исходил вместе со мною три южных области и говорил людям, что мы разведка отряда, который находится совсем близко? Да мало ли кто еще, кроме нас, ходит, стреляет, взрывает, страху на врага нагоняет? Разве знаем мы обо всем?

— О-ох, ждать-догонять! Дошло!

— То-то же! Сама, как говорится, история велит нам теперь отряд создавать.

— Свой отряд?

— Именно свой! «Транснистрия»! Тут ни румын, ни немцев поблизости, а в Каменной Горке много хороших ребят. Леса большие, а за ними кругом и врагов много, которые действуют безнаказанно. Их оружие станет нашим. Первым делом нападаем на охрану лагеря, пленных к себе возьмем их...

— Не слишком ли, Николай?

Оказалось, что слишком! Попробовали — и не смогли.

— Где ж все-таки партизанский отряд? Ведь были мы и у Хмельника, и еще километров на тридцать в радиусе исходили, — снова тревожился Спиридонов.

— Плохо ищем, Коля!

Переночевали близ Стрижевки в пеньковском саду, а рано утром направились к Брусленовскому лесу, где увидели на росистой траве следы подводы. След уводил вверх — на пригорок в густую чащу.

— Пожалуй, партизаны, — решает Спиридонов. — Не иначе! Кто еще сюда приедет в такой час?

Друзья устремляются на пригорок. Вот еще свежий след копыт.

Подстегиваемые нетерпением, два Николая бегут, не предостерегаясь. Вот они уже видят повозку, которую разгружают вооруженные люди. Вот один из них повернулся. Руденко кричит, не помня себя от счастья:

— Сашка!.. Шевченко!..

Да, это он, разведчик Недригайловского отряда из группы Щебетуна, десантник УШПД Александр Шевченко... Ребята бросаются навстречу друг другу. Крепкие, до хруста, объятия...

— Ваня! Ваня! — кинулся Спиридонов к Цыбулеву.

Появился Вася Пат, сбежался весь отряд Цыбулева. Николаи просто ошалели от счастья!

— Как же вы, братцы, здесь оказались? — наперебой расспрашивали Николаи.

Уже вечером, за ужином у костра, Цыбулев вспоминал, как он с ротой автоматчиков отбил в Шляховой от соединения и долго искал его, как потом угодил в дубовые Винницкие леса и там нарвался на большой военный аэродром...

— Вышел оттуда один. Попал на доброго старичка. Он и лечил мои раны. Месяц пролежал у деда. Потом услышал, что есть партизанский край за Бугом. Думал — соединение там. Но отыскал только Васю Пата да Сашу Шевченко.

Начали новую жизнь в лесу. Собрали людей, создали отряд имени Ленина, которым командует молодой парень Кучай. Уже выходили на диверсии. Очистили от гитлеровцев здешние леса, ряд сел. Ни одна автомашина не проходит по дорогам через Гушинецкий и Янопольский лес.

— Что ж, Цыбулев, ты хорошо потрудился, — сказал Руденко. — Только хорошо бы нам, Иван Касьянович, найти наши родные отряды.

— Да, братцы, и ночей не сплю, все о хинельской гвардии думаю. Вместе бы отомстить за черепашинецкую трагедию, — молвил Цыбулев.

— Но где оно, наше соединение? — начались гадания. — Уцелело ли? Жив ли наш капитан? Куда могло уйти? Неужели в Альпы румынские или в Карпаты?

— Да ведь и Буг-то зверем в ту пору был, и на Днестре половодье шумело... Только на север, братцы, в Белоруссию подались наши, — уверял Цыбулев.

— А может, Касьяныч, в Кодры ускакали наши, в Молдавию?

— Нет, нет! Не слышно в народе об этом! Только в белорусские леса!

Неделю спустя отряд Цыбулева двинулся на поиски своего соединения. Двигался он в Полесье.

Быстро рос отряд Цыбулева, оснащался одновременно и вооружением.

В конце июня два Николая и весь отряд Цыбулева встретились в лесах за Случью с партизанами Щитова. Там узнали, что их кавалерийское соединение находится где-то очень далеко, в Пинском крае, что на пути туда — железная дорога Брест — Коростень. По лесам шатаются многочисленные банды бандеровцев, бульбовцев и прочих украинских националистов.

— Выход у нас только один, — объявил Щитов, — присоединиться всем отрядом ко мне и ждать здесь ваших конников. Да чего раздумывать! Вы уже довольно находились, набродились, измотались. Хватит!

Цыбулевцы растерялись...

Посоветовавшись, все же решили принять предложение Щитова.

Но размеренная жизнь полков, похожая на довоенную, уже на следующие сутки не понравилась боевым степнякам.

— Обеды здесь хороши, но... этот городок, — поводит носом Спиридонов — эта жизнь... Табор с кухнями, с конными мельницами, пекарнями, с отдельной столовой для рядовых, для офицеров, ждать-догонять, мне не того... не подходит!

— Да, братцы! — взмолился и Вася Пат. — В таком гарнизоне я не воин!

— Вы правы, ребята, — согласился похмуревший Цыбулев. — Все не по-нашему. Не можем, не имеем права отсиживаться. Пойдем к своим, хотя далеко нам шагать и на бульбовцев можем нарваться. Но не так страшен черт, как его малюют! В лесах не запугать нас, если в степи не пропали!

И цыбулевцы ушли.

Но не прошли они и десятка километров, как встретились в глубине лесов с партизанской колонной. Сначала увидели растянувшийся обоз, затем отдельных конников.

— Кто это? — с опаской спросил Спиридонов.

— Может, бульбовцы? Или бандеровцы?

— Нет! Это, кажется, наше соединение. Чует мое сердце,— встрепенулся Цыбулев и повернул отряд навстречу обозу.

Еще не дошли сотни метров до обоза, как оттуда закричали:

— Цыбулев!

С повозки соскочили Рудницкий, Журавлев, Оводов, Кузюков — все, кого считали «пропавшими без вести» еще на Сумщине, в самом начале рейда.

Колонна остановилась. Соединение сумчан шло с заданием на юг. Здесь были отряды — четвертый Эсманский, третий Ямпольский и второй Хинельский.

— И как же вы теперь? Как называется ваше соединение? Зачем топаете на юг с таким большим обозом да пехотою?

— Мы теперь не сумчане, а винничане!

— Какие же вы винницкие? — удивлялись цыбулевцы.— Уж коли на то пошло, то мы скорее винницкие! Это нам больше подходит!

— Винницкие,— поясняет Манжос, командир разведки соединения.— С нами и Винницкий обком партии. Мы преданы обкому. Понимаешь, хинельские партизаны должны оказать помощь Подолии.

— Понимаем. А мы, хлопцы, только что оттуда! Сами! Пробиваемся из-под Винницы, из-за Буга. Были дела-делишки...

— С Винниччины?

— Так это же неоценимая находка для нас! — спохватились товарищи из обкома.— С собой их надо взять! Ребята обстрелянные, бывалые, с таким богатым опытом!

Цыбулевцы заколебались.

— Эх, Ваня, Ваня! Землячок бесценный,— начал уговаривать Цыбулева Рудницкий.— Оставайся с нами в родном Червонном отряде.

Вокруг Цыбулева столпились односельчане, звали Цыбулева быть их командиром, просили рассказать, что их ждет на Подолии?

— Ну, ребята! — обратился Цыбулев к своему отряду.— Что будем делать? Может, вольемся в Винницкое соединение? Будем врага бить вместе. У всех нас один враг. Так будем же его уничтожать, где бы мы ни находились!

На том и порешили.

Голубоватый коттедж «Лебедь», используемый для партизанского госпиталя, вдыхает запахнутыми окнами нежную свежесть молодой березовой рощи. В палаты врывается трезвон пернатых. Этот уголок в саду напоминал собой белорусские пуши и полесскую Украину.

Я снова в «Лебеде»: третий раз прихожу из санатория имени Воровского к раненым товарищам, которых доставляли с берегов Припяти.

Что дела ухудшились там, это известно. Я знал, что ковпаковцы, а вместе с ними и мое соединение, попали в беду и едва ли не сброшены в холодную полноводную Припять, что идут кровопролитные бои, погибли многие лучшие бойцы и два командира отрядов, что потери среди моих людей превосходят тот урон, какой понесли мы во время Степного рейда.

Встретившись в зеленом дворике с врачом Диной, я узнал, что на втором этаже лежат «свежие» раненые, и поспешил туда. Но как ни присматривался, не опознал ни одного лица.

Это были белорусские хлопцы, которые могли знать меня лишь понаслышке.

Езерский, Ханюк, Расюк, Корхун, Кожиц, Контанист, Рудзинский — фамилии, значившиеся на температурных листах, говорили о том, что в соединении появились новые люди. Причем некоторые из них, как узнал я, пребывали в партизанах менее суток: вступив в отряд утром, были к вечеру тяжело ранены, а ночью эвакуированы.

Кроме сестер Галушко, я нашел в женской палате самую старшую по партизанскому стажу — учительницу Гординскую, зачисленную в Конотопский отряд два месяца назад.

Встретившись со мной взглядом, она слабо улыбнулась.

— Вот так, недавно эвакуировала вас, теперь и сама, как видите...

Медленным движением поправила она русые волосы, и я не мог не заметить при этом, что серебристые пряди густо проступили в ее аккуратной высокой прическе. Больная хотела приподняться на подушке, но от резкого движения закашлялась, и похудевшее лицо ее заялось буроватыми пятнами.

— Не нужно тревожиться,— поспешил я пожать ее горячую руку,— посижу возле койки, и мы побеседуем, если можно. Очень хочется знать, что там на Припяти.

Я придвинул стул и как бы вскользь заглянул в надкроватный листок: кривая температуры показывала, что кризис прошел. Раненая поступила неделю назад, 25 мая.

Гординская подтянула к подбородку одеяло.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, операция прошла удачно, я даже письма пишу сама. И с подружками по палате беседую, только вставать еще не дозволено.

Она оглядела меня мягким глубоким взглядом.

— А как вы? Герой, конечно! Каким же еще может быть наш командир! Спасибо, что навестили. Но похудели вы сильно... Вас тоже оперировали?

— Обошлось без хирурга,— и я рассказал о течении болезни.

— Вот видите: я правильно горячим молоком вас лечила. А какие мы все здесь счастливые! Я восхищена заботой о партизанах. Нахожусь в Москве неделю, и не верится, что нет никакой опасности. Просто голова идет кругом, как представляю, что вот скоро и по городу похожу, побываю на Красной площади.

Больная закашлялась.

— Извините, мне трудно... И не положено говорить. Лучше посмотрите записи, ведь вам, конечно, не восторги мои здешние интересны, а то, что там было... Прочтите, а я отдохну тем временем,— взяла объемистую тетрадь с подоконника.

Это был пространный дневник, в котором личное имело место лишь в связи с жизнью отряда и соединения.

Я перелистываю десятки страниц и прошу одолжить на день-другой эту потертую в походах тетрадь, чтобы полностью прочитать интересные записи.

Гординская согласилась. Спустя полчаса я как будто сам был в обстановке, в которой находилось наше соединение в мое отсутствие.

«...5 мая 1943 года,— значилось на сотой странице тетради— соединение простилось с белорусскими селами Новый и Старый Радин, Молочками, служившими для бойцов родным домом в течение месяца. Жители обоих Радинов и Молочек, Борщевки и других деревень, стар и мал, со слезами провожали украинских партизан, уходивших на север.

За Брагиным и Лоевым вместе с ковпаковцами наши

отряды должны были перейти магистральный путь военного значения Мозырь — Гомель.

Через леса, болота пролегал этот семидневный поход ковпаковцев и наших конников. Ни хлеба, ни сена, тучи мошкары да гнилая вода извели наших степных коней...»

А ведь я предупредил Мельника ни в коем случае не вводить на север соединения.

«После неудач у станции Калинковичи, — значит, далее в тетради Гординской, — они повернули назад, к селу Тульговичи, чтоб форсировать там Припять...»

Каратели преследовали партизан по пятам, используя танки и бронемашину. 15 мая возникла угроза быть сброшенными в эту реку. Положение стало крайне опасным.

«Тогда-то к нам, конникам, и приехал подполковник Вершигора.

— Ну кто, хлопцы, из здешних жителей лесоруб? Среди ковпаковцев нет специалистов плоты вязать! — прямо с коня обратился Вершигора к нашим партизанам. — Выручайте, братцы! Хлопцы камаринские, все, кто лозу умеет вязать, кто скрепы делать мастер, подходи ко мне. Теперь плотогон куда дороже, нежели пушкарь и бронебойщик, дорогие товарищи!..

Борода его трепыхалась на ветру, поскрипывало под ним новенькое седло и золотом поблескивали погоны. Его бодрящий голос пришелся нам по сердцу.

Мельник откомандировал в распоряжение Ковпака шестьдесят бойцов-плотников и мастеров-плотогонов. Вместе с обозом соединения они ушли в Тульговичи и Кожушки на постройку переправы.

Боевая задача поставлена была и всему нашему соединению. Окопаться Конотопскому и Недригайловскому отрядам на песчаных буграх между болот — перекрыть Воспинскую дорогу. Это единственный путь, которым могли пройти вражеские танки к переправе.

Немцы барражировали небо, их корректировщики едва ли не задевали верхушек сосен. Густой лес, высокая трава, кустарники скрывали наши позиции. Орудийная стрельба то приближалась, то удалялась. Над позициями хинельцев и недригайловцев рвались мины, ковпаковцев слева бомбили самолеты. Разведка доносила, что всюду перед нами большое скопление пехоты и танков.

Так миновал день. На рассвете 17 мая наша главразведка выехала в Новоселки. Вскоре там застрочили

автоматы, пулеметы, раздались взрывы гранат. Примчалась подвода. Смертельно раненый ездовой сообщил, что главразведка отрезана. Два разведчика убиты, один ранен и захвачен немцами.

В девять утра из Новоселок по Воспинской дороге двинулись танки, за ними шли бронемашины и мотоциклы. Передний танк подорвался на нашем минном поле. Остальные повернули назад. Пехота окопалась.

Мы тоже поглубже ушли в песок, молчали. По распоряжению Мельника хинельцы усилили реденькие цепи конотопцев.

Снова Ковпак просил выслать людей на постройку переправы, но бойцов уже не хватало: немецкому батальону удалось прорваться через оборону Матющенко и отрезать нас от Тульговичей. Там разгорелся бой. Противник напирал и на партизан-шалыгинцев. Вот уже проникли фашисты через болото и к нам в тыл. Они подступали к переправе. Завязался рукопашный... Отходить некуда. Правда, конники могли переплыть реку на лошадях, но ковпаковцев обременяли более ста раненых и большие обозы, у нас тоже не хватало лошадей. Без переправы не сдобровать.

Я собрала девушек-санитарок, бегло проверила наличие бинтов, указала место, куда отправлять раненых. Многие девушки впервые оказывали помощь потерпевшим.

Командир отряда Митрофан Будаш волновался. К нему подошли командир взвода Звездкин и парторг Корольков.

— Что будем делать, командир? — спросил спокойно парторг.

Будаш извлек из нагрудного кармана гимнастерки клочок бумаги и прочел срывающимся голосом: «Держать Воспинскую дорогу... Без приказа — ни шагу назад! Помните: ваш отход может погубить оба соединения. Демьян».

— Будем стоять, братцы! Приказ выполним!.. — заявил он парторгу. — Со мной пойдут взводы Фетисова и Звездкина, вся разведка и ты, Корольков.

Набралось человек пятьдесят. Я тоже пошла с этой ударной группой.

Мы сняли с себя все лишнее. Вставили в гранаты капсулы. Обойдя минное поле, начали заходить к немцам с тыльной стороны. Недригайловцы усилили огонь,

и это дало возможность нам подойти к фашистам поближе.

— Вперед! — крикнул Будаш, и все бросились... В первую же минуту был убит парторг Корольков, пал кто-то из разведчиков и отделенный командир Шаман Гриша.

Будаш несся впереди, продолжая кричать во все горло: — Бей фашистов!

Гитлеровцы дрогнули, побежали назад, хотя пулеметы продолжали работать.

— Меня ранило! — застонал пулеметчик Костя Кищенко.

Я поспешила к бойцу, перевязала и начала стрелять из его пулемета.

Вскоре я увидела, как пошатнулся Будаш. Автомат выпал из его рук, командир тяжело осел возле двух больших сосен. Я бросилась к нему. Пропевшая пуля сорвала платок с моей головы и клюнулась в ствол дерева.

— Ранило в живот и ногу! — простонал Будаш. — Командуй, Звездкин!

— За Родину, товарищи, ур-ра! — кричал Звездкин.

На лице Будаша расцвела улыбка:

— Ну вот, крышка им! Выбили!

Это были его последние слова. Я попыталась приподняться, но только увидела, как Володя Ганюк добивал гитлеровского пулеметчика.

— Вот тебе, гад! — кричал он, всаживая в него пули. Затем приподнял из-под дерева «универсал» и недопитую бутылку «Советского шампанского».

— Офицер был за пулеметом! — кричал Володя, надевая эсэсовский кивер на свою голову, и растворился, будто в тумане.

Меня что-то ударило... Хлынула кровь...

Все мгновенно притихло. И среди этой тишины прозвучали слова Звездкина:

— Прочистить лес! И отходить на свои позиции!

Ко мне подбежала Маруся Костырева:

— Что мне с вами делать? Наши уходят! А у вас прострелена нога и, кажется, легкое...

— Раз наши уходят, ступай и ты. Меня не унести тебе.

Маруся со слезами убежала догонять товарищей. Я лежала в лесу возле погибшего командира отряда и вблизи убитых эсэсовцев. Перед глазами все еще стоял немецкий пулемет с направленным на меня черным дулом. Наверное, поврежден и потому оставлен.

Послышались шаги. Я вынула наган, «Живой не сдамся!» Кто-то остановился возле меня.

— Умерла...

Я узнала голос Петрикея.

— Жива! — с усилием открыла глаза.

Надо мной склонился комиссар отряда, в слезах бросились ко мне девушки. Дроздова запальчиво потребовала, чтобы с подвод сняли убитых и на них положили раненых. Туго перевязав грудь и ногу, меня уложили в повозку. В последний раз взглянула я на Будаша. Возле него стояли бойцы с лопатами, без головных уборов...

Положение на Воспинской дороге восстановлено. Не верилось, что полсотни партизан обратили в бегство отборный эсэсовский отряд. Дорого стоила эта победа! Здесь погиб и командир недригайловцев Авраам Щebetун и десятки других партизан.

Немцы предпринимали в этот день еще несколько атак, но каждый раз им приходилось спасаться бегством. Проход по Воспинской дороге оставался для них недоступным.

Утром началась обработка леса с земли и с воздуха. Потом снова была атака. Но и на этот раз немцы были отбиты.

К вечеру часть ковпаковцев и конников была подтянута к переправе. На Воспинской дороге навсегда остались многие наши товарищи.

Мы ждем долго на берегу. Зябко. Неуютно. Хмуро. Тянет холодом. На серой поверхности реки играют белые барашки, хлещут волны. Увлекаемый течением, наплавной мост выгнулся крутой дугой. Не хватает каких-то десятка метров, чтоб соединить берега. На постройку моста брошены все силы. Партизаны разбирают сено-прессовальный пункт, подвозят и подносят на плечах бревна, доски, лозу.

И здесь, среди сотен людей, я вижу Демьяна Сергеевича. Он стоит по колена в воде, без фуражки, со всклокоченными волосами, засученными выше локтей рукавами и спокойно, деловито скрепляет качающиеся бревна.

— Давай, давай!..

— Подводи бочку, захлестывай скрепы! Забивай! — только и слышится у начального конца наплавного моста, то взлетающего на гребень, то погружающегося вместе с бойцами под воду. А Демьян Сергеевич разгибает вы-

сокую статную фигуру только для того, чтобы смахнуть пот да зажечь потухшую папиросу.

Но вот двухсотдвадцатиметровый мост, изогнутый течением, перегородил Припять.

Началась переправа. Первыми переправились артиллеристы, повозки с боеприпасами и раненые. Генералы Ковпак и Руднев руководят переправой.

А на том берегу, в нескольких километрах от переправы, со вчерашнего дня идет бой. Ковпаковцы бьются за плацдарм, за Тешков. А позади нас — гудят танки...

Очнулась я только на противоположном берегу. Наш обозный госпиталь находился в лесу.

Шел мелкий, затяжной дождь, — читал я далее дневник Городинской. — Возле моей подводки остановился Звездин, спросил о самочувствии. В его голосе проскользнула тревога.

— Что случилось? — спрашиваю.

Хмурясь, он рассказал, что наша застава из тридцати человек осталась на том берегу и судьба ее неизвестна.

И только среди ночи огласился лес криками: «На помощь зовут с левого берега Припяти».

Ковпак распорядился направить лодки, и наши товарищи были спасены.

Началась лесная жизнь. Наше соединение пошло своим маршрутом, а ковпаковцы — своим. Кочевье по лесам и болотам, где скопилось множество малоизвестных и вовсе неизвестных партизанских отрядов, батальонов самообороны и даже соединений.

Мельник сказал как-то раненым:

— Ехать надо еще километров двести. Дорога хоть и трудна, но доберемся до аэродрома. Потерпите!

И мы терпим уже вторую неделю. У меня нога воспалилась, горит.

День и ночь двигаемся среди болот. Все сожжено, одни только развалины да бурьяны. Дороги заросли высокой травой, никто по ним не ходит, не ездит. Почти в каждом обгорелом дворе могильные кресты — знак зверской расправы фашистов над мирным населением. Больно смотреть на огороды, не знающие трудолюбивой руки человека.

Как ни в чем не бывало, цветет только сирень...

Наш отряд остановился в одном из хуторов Лельчицкого района. Все партизаны радовались, что добрались до крова, до тепла.

Меня подняли на руки и внесли в избу. К хозяйке собрались женщины. Раненых умыли, причесали, накормили.

Когда обнажили раны, хозяйка заволновалась:

— У тебя, дочка, очень плохо!

У женщин показались слезы.

— Может, и наши дети где-то страдают...

В хату зашел какой-то старик. Он принес меду и сырых яиц.

— Это тебе в дорогу, дочка, — сказал он, — пригодится. А вот письмо к моему сыну. Он в Красной Армии. Вас, наверно, в Москву отправят. Ему будет радостно от нас весточку получить, если живой еще. — И заплакал.

— Живой, получит! С Москвы отправлю, а за подарок спасибо.

Шли бои за партизанский аэродром. Обнаружив скопление партизан, немцы бросили против них крупные силы. Была опасность потерять аэродром. Другие соединения уже отправили своих раненых в Москву на лечение. А наша очередь все отодвигалась, и конотопцы обратились к товарищу Демьяну. И он помог.

Мы на партизанском аэродроме. Прощаемся. Эти минуты в жизни неповторимы. Провожать вышел весь состав партизанского отряда. И хотя раненые с нетерпением ждали отлета, теперь, в эту минуту, хотелось отдалить расставание...»

Оборвались записи. Все предельно ясно. Мое соединение в тяжелом положении. Надо скорей туда.

Глава XXV

ВЕСТИ БРЯНСКИЕ

С думами о друзьях и боевых товарищах, о большой партизанской семье там, в Брянском лесу, где недавно стряслась большая беда, собираюсь я в Пинский край — десантироваться.

У меня гости оттуда, из Брянского края. Потрясают душу привезенные ими вести. Мне рассказывают, что произошло там в начале мая.

А произошло...

— Простреливали каждый куст, каждый пенек. Проческа обложенного леса не прекращалась две недели. Действовали против партизан семь дивизий, — расска-

зывает Ковалев, мой давнишний товарищ из бригады Гудзенко.— Решено было отходить за Десну. Но на реке патрулировали катера. Немцы обстреливали берег, и мы не могли переправиться, залегли на лужайке. Комиссар Михаил Луценко приказал не стрелять без команды, а когда приблизится вражеская цепь — ударить в упор. Но до этого не дошло. Мы чудом спаслись от преследования.

— Началась эта карательная операция в мае,— дополняет Клавдия Поправко.— Каратели хлынули в Брянский лес, атакуют наши базы. Из рук в руки переходит край леса, Сумские отряды, бригада Гудзенко стоят на смерть. Люди гибнут, но не сдаются.

Но враги начинают одолевать. Вот уже перехвачена и дорога Суземка — Трубчевск, отрезаны сумские партизаны от брянских. Отступление возможно лишь к Десне, на северо-запад. Но там — большая вода и патрульные немецкие катера. Прорыв навстречу тоже немыслим: вражеские цепи эшелонированы. Шли с овчарками, на ползали как саранча. За первой цепью движется другая, за ней — третья; идут, обрабатывают штыками-щупами каждый метр площади. На ночь окапываются, расчищают для обзора и обстрела вокруг себя, минируют подступы. Темп их продвижения — два-три километра в день.

Неделю, вторую отступают партизаны к Десне. От Суземки отошли уже километров на тридцать. До Десны остается двадцатикилометровая толща леса.

Гудзенко решился на прорыв. Бригада прорвалась, но сам он погиб.

Командование ж соединения Фомича, который в это время находился в Москве, решилось на невероятное: проскользнуть с отрядами через вражеские цепи незамеченными.

— С наступлением темноты,— говорит Поправко,— пошли мы, шаг за шагом, в колоннах по одному навстречу противнику. Продвигались, пока не взвились ракеты и начался шквальный огонь. Все бросились назад, но темень после ракет стала такой густой, что невозможно было и шага ступить. Зацепившись за что-то, я упала, не помня себя от страха...

Когда начало светать, узнала, что я попала в немерянное болото. Тут был и Софин — наш отрядный сапожник.

Нас скоро обнаружили, схватили...

Когда вывели на сухое место, первое, что я увидела — толпу местных жителей. Сердце мое оборвалось: невдалеке сидело человек двести партизан — понурых, окровавленных, у большинства скрученные руки. Их изловили поодиночке на болотах.

Нас тоже подвели к партизанам.

Оглядевшись, я сообразила, что можно скрыться в толпе женщин, стариков и детей. Я тихо сказала Софину: «Иван Семенович, решила бежать. Прощай!»

— Беги,— так же тихо, с татарским акцентом сказал он,— моя погибнет, молчать будет...

Выждав удобный момент, я незаметно сбросила теплый жилет, юбку, одетые поверх платья, и перебежала к женщинам.

Солдат, который конвоировал Софина, подошел вдруг к нему и злобно спросил, где партизанка? Потом начал избивать его прикладом. Раскричался и офицер, он стал угрожать толпе людей, что расстреляет всех, если не будет выдана партизанка. И я было хотела выйти из толпы, но люди не пустили.

Несколько стариков выступило вперед, заявив, что они местные жители давно сожженных сел Знобы, Кренидовки, Мефедовки. Хорошо знают каждого в этой толпе и что среди них нет ни одного партизана.

И это меня спасло. Партизан же со скрученными руками приводили и приводили к тому месту.

Прибыли старшие офицеры. На ломаном русском языке один из них начал объяснять людям, что хотя большевики и хвалятся результатами битвы на Волге, но она им стоила три миллиона солдатских жизней, что поскольку в России мало осталось людей, то война скоро кончится; всем людям, находящимся под властью рейха, нужно покориться, выдать немецкому командованию партизан, виновных в том, что они довели свой народ до такой вот степени бедствия.

Затем офицер начал вызывать по списку:

— Жена комиссара Бабина есть?

Из толпы поднялась женщина.

— Я жена комиссара Бабина!

— Идите в лес, разыщите своего мужа, приведите его сюда. И мы помилуем его.

Женщина спокойно ответила

— Я, как и вы, нахожусь в лесу, а где муж — не знаю,

давно не виделась с ним. И он на это обещание не клюнет...

Вызывают вторую.

— Жена партизана Шерстюка есть?

И она так же отвечает:

— Есть жена партизана Шерстюка! Не пойду блукать по лесу!

Офицер читает дальше:

— Жена командира Гнибеды есть?

Все молчат, офицер повторяет вопрос. Не получив ответа, угрожает:

— Если жена Гнибеды здесь и не откликнулась, узнаем — сразу расстреляем! Если хоть кто-нибудь посмеет бежать — расстреляны будете все.

Затем приказал всем встать на колени, наклониться к земле. В такой позе, означающей народное раскаяние, нас сфотографировали, после чего подали команду:

— Лечь лицом к земле и не подниматься!

Так прошла ночь. Наутро скомандовали: — Встать!

Всех усадили на поляне большим тесным кругом. И тогда загудели, застонали люди:

— Ой, повели командиров...

— На казнь ведут! — дрогнули сердца людей.

И я увидела среди других командиров первого Эсманского Петра Гусакова и Чайко, командира второго Глуховского отрядов...

Шли они, не склонив головы, не опуская глаз.

Я не заметила ни следов побоев на лицах, ни наручников на руках.

Видимо, каратели рассчитывали унижить наших командиров по-другому: заставить раскаяться и ползать у них в ногах прилюдно.

Эту группу усадили посреди нашего круга. Стояли только Чайко да Гусаков.

Петро был от меня шагах в пятнадцати. Он молчал и только потряхивал каштановым волнистым чубом. Глядя на людей тоскливым взглядом, он вдруг поднял гордую, красивую голову к восходящему солнцу.

— Прощай, Петро! — вырвалось у меня.

Некоторые женщины тоже схватились за сердце. Перекрестились старушки, еще более ссутулились старики, чуя недоброе: на партизанских командиров глядели парабеллумы и холодные, как ножи, глаза карателей.

— Гафори! — гаркнул офицер в пенсне и толкнул пистолетом. — Громче гафори!

Чайко потупился, что-то думая, а потом, не спеша и устало, начал:

— Говорил мой старый отец не раз... и перед смертью сказал: «Возьмите, сыны, веник...»

— Что бормочет он? — перебил Чайко офицер, но, услышав перевод, закивал: — Фатер, о!.. Гут, гут фатер!..

Чайко продолжал:

— «Возьмите, сыны, и покажите мне вашу силу: переломите надвое веник...» Не переломил веника младший, не осилил и средний, не мог переломить его и старший сын — я.

— Гут, гут, карош фатер!

— Взялись ломать разом все трое, но не поддавался нам веник, не переломился. Только упруго гнулся. Тогда сказал отец: «Приведите внучку пятилетнюю и развяжите веник...» И что же? — Чайко покачал головой. — Дитя без труда по одной веточке переломило весь веник.

Немцы недоуменно загоготали, еще не поняв всего смысла, и Чайко досказал:

— Эх, люди! Нас тоже сломают поодиночке...

— Вэк, вэк!.. — замахнулся оберст.

Наставили пистолет на Гусакова, приказали говорить ему.

Набравши полную грудь свежего воздуха, улыбнувшись людям и солнцу, Петро сказал:

— Винюсь, люди! Винюсь и перед вами, бойцы, что не удержал партизанского клинка. Ослаб я после тифа, и эти зверюки...

— Карош, гут, гут! — заулыбались офицеры, не понявшие смысла сказанного. А разобравшись, набросились на него и Чайко. Над ними замахали ножами и пистолетами. Мне захотелось броситься туда же, к Чайко, Гусакову, встать рядом с ними, крикнуть, чтобы эхо разнесло по всему Брянскому лесу: «Режьте меня, я тоже партизанка!..» Но второй голос приказал: «Молчи! Ты должна выжить, чтоб рассказать, как геройски боролись, как бесстрашно умирали партизаны, как дрожали враги, убивая людей из страха перед ними!»

Их убили... Расстреляли и Софина Ивана — уроженца далекой Татарии, и Пелагею Сергиенко — шестидесятилетнюю ямпольскую медичку.

— Врач-партизан! — орали они, увидя в чемодане медикаменты, инструменты.

Затем всех нас, пленных, убитых горем, погнали на сборный пункт в Старую Гуту, а оттуда — в Середино-Будский концлагерь. Теснота. Голодовка. Нехватка воды. Эпидемия тифа. Не скоро мне удалось бежать в Клетнянские леса, к партизанам...

Глава XXVI СПУСТЯ ПОЛГОДА

Ночной ветер кружит в темной степи. На Киево-Житомирском шоссе то гаснут, то вновь вспыхивают гирлянды ракет, рвутся бомбы. И лица партизан цветут улыбками в красноватых бликах зари:

— Славно бомбят!..

Красная Армия перешагнула Днепр. Уже заняты Бруклин, Иванков, Дымер!

И мы тоже подступали к Киеву, чтобы помочь нашим с запада. Но вдруг радиограмма ЦК партии:

«Отходить на запад, только на запад. Прежняя задача отменяется».

На запад... Значит, для продолжения борьбы в тылу врага. Надо оторваться от фронта, как это было под Харьковом. Но на пути нашем, в лесах и в селах, — охранные войска и танковые резервы противника.

За Здвижем наша колонна в несколько тысяч партизан следует в обход населенных пунктов. Один только порывистый ветер и... патрульные танки. Они всюду подстерегают нас на пути от Клавдиево к Тетеревским лесам.

Тишина. Все командиры и бойцы на местах. Курение запрещено. Подвижные цепочки головных и боковых дозорных чутко вслушиваются и зорко вглядываются.

Но вот, кажется, и загудело что-то. Дежурный сдерживает коня. Он отъезжает от меня подалее в сторону. Шум приближается. И оттуда, из темноты, вылетают дозорные.

— Танки, танки, Толик! — докладывают они помначштаба Швейцарскому, и тот мгновенно рассылает посыльных к отрядам, чтоб приготовились, чтоб залегли, чтобы...

Медленно, с выключенными фарами, как бы наощупь, выплывают они из мрака: один, другой, еще два...

— Танки слева! — проносится по цепи команда.

Истребители танков и бронбойщики выбегают вперед. Но танки пересекают наш путь и скрываются в темноте ночи.

— Прогнесло будто!

— Не заметили!

Фланги колонны снова зашевелились, началось движение вперед.

Рассветало. Мы достигли Забуяньских дубрав.

Как снопы, валяются люди на твердую застывшую землю. И уже спят: кто сидя, кто опершись на коня. Натруженно храпят и лошади. Спят люди, жадно вдыхая уже не пыль, а запахи сладковатых опавших листьев.

— Прийшли то прийшли,— озабоченно замечает Вахник Иван,— но еще не пройшли, куда надо!

Неизвестно, что еще нас ожидает в этом огромном лесу. Нельзя засиживаться, скорее к Тетереву. Нам не миновать, конечно, заслонов, засад, но и это нас не пугает. Лес ведь укрытие.

И мы спешим. Снова построение. Что-то замешкался Киевский отряд.

— Киевский, Киевский, подъем! В голову колонны! В авангард, киевляне!..

Кто-то громко приказывает обыскать место отдыха и всю опушку. А ротный Вахник Иван, хрустя суставами, сладко потягивается, приговаривает:

— Бр-р! Нет слаже сна, как на мерзлом грунте! — и ищет оружие.

— Где автомат? Кто взял? Дай посмотрю,— хватает он то у одного бойца, то у другого.— Не мой! — раздраженно ругается: — Черти! Позавчера пистолет исчез, а сегодня автомата не стало!

— Довольно лаяться! — сердится наш доктор и секретарь парткомиссии Михаил Тарасов, а сам шарит по опушке припухшими глазами.— Ой и растеряй!..

Колонна двинулась, и кажется — нет конца ей.

Эсманский отряд еще никогда не был таким сильным — в нем около 700 воинов. Руководят им Боров и Коренский. Не узнать и конотопцев, хинельцев. Наше соединение уже не столь Сумское, сколь Киевское. Не случайно же в колонны идут партизаны белоцерковские и макаровские, радомышльские и киевские, коростышевские и...

На сей раз мы ходили под Киев пешими тропами, подбирались к городу. Наши кони оставлены в междуречье

Ирши и Тетерева, где находится немало других наших отрядов. Мы снова идем туда. Опять сядем на коней.

Греет солнышко. Мы приближаемся к станции Буян, чтоб перейти полотно железной дороги. В голове авангарда Коваль с трубкой в зубах, его комиссар Опанас Новик, начштаба Дьяченко Миша. В пиджаках, пальто, немецких и венгерских шинелях, в трофейных пилотках и фетровых шляпах, а то и просто с непокрытыми шевелюрами, киевляне следуют за походной заставой Петра Химича. У того — «максим», привязанный к хвосту тощенькой, где-то раздобытой лошаденки.

Колесики постукивают, и цепочка надульника бренчит, когда пулемет подпрыгивает на кореньях лесной тропы. Все это забавляет усталых пулеметчиков и радует: нашли выход, не тащить на себе станкач.

— Бис-стрэй! Бист-рэй, джан-Ереван! В лесу можно укоротить дистанции между ротами!

Осипян, нахрамывая на ногу, широко улыбается, сверкая белизной зубов. Смеются и остальные смуглолицые, черноволосые парни, все еще одетые в сине-зеленые шинели и мундиры с легионерскими шевронами. Пережившие окружение, плен, концлагери, они восстали и влились в наше соединение.

В лесу тихо, только тревожно перекликаются птицы. И вдруг над колонною:

— Немцы! Немцы на конях!

На просеке — поперечной дороге — стояли солдаты и корчились со смеху, завидев лошаденку «с прицепом». Они убеждены, что к ним идет полицейское подкрепление. Слышатся и русские слова:

— Го-го-го!.. Спешат! Притомились? Пулемета нести не могут!

Но Химич иступленно кричит, падая:

— К бою! С дороги! Руби хвост коняке...

Гитлеровцы бросились к своим подводам. Брызнуло несколько партизанских смертельных струй. Заработали и вражеские пулеметы. Открыли огонь и танки, появившиеся на просеке слева.

— Ой, ой! — Кто-то бросился назад, кого-то сшибло, и он ткнулся лицом в землю.

— Вперед, вперед, по-пластунски! — силится перекричать грохот боя Коваль.

У меня перед глазами — кони, бегущие без всадников, мечутся люди, бросившиеся назад...

— Где командиры?

— Куда отходишь? Убьют!..

Комиссар армянского отряда Величко, не помня себя, заорал:

— Куда? Генерала одного оставили!

Он ринулся снова вперед, вскинул над головой гранату.

— Ура-а!

Сотни людей, обгоняя друг друга, перебежали от сосен к дубам, ломились через лещиновую чащобину.

— Ур-ра-а!..

Протяжный, все заглушающий крик покатился по лесу.

Длинный обоз полковых фур, запряженных мохноногими битюгами, достается нам. На проселке — убитые и раненые гитлеровцы. Забыты усталость, уже слышны смех и шутки. Кто-то зовет:

— Братцы! Макароны, мясо в котлах!

Захвачено до двадцати фур: патроны в ящиках, мины к минометам, гранаты.

Снова радостно:

— Фура с хлебом!.. Спирт!..

Коваль пытается определить численность разбитой части гитлеровцев, опрашивая ротных:

— Батоев, сколько одеял захвачено?

— Штук восемьдесят, а может, более. На всю мою роту хватит, — радуется осстин.

— Рябченко, Вахник! Скорей докладывайте.

— Кто ж, брат, боесостав определяет по шмуткам, — смеется Пасько над Ковалем. — По кухням подсчитывать надо. Вон одна, другая, да в кустах дымятся еще две. Считай по сто пятьдесят ртов на каждую!..

— Шесть сотен! — восклицает Коваль.

— Сюда гляди! У меня приказ командующего охранными войсками. Гляди: подписано генералом Шеером. — И Пасько читает: «...на линии станция Буян — лесхоз батальона «Остланд», главный опорный пункт — 96-й участок...»

— Э, ясно: из эстонских немцев сформирован!

— А вот удостоверение командира.

Коваль смотрит на документ, косится на майорские погоны убитого, усмехается:

— Из эстонских, говоришь? Теперь понятно, почему они по-русски кричали.

— А тебя за главного полиция приняли, — хохочет Пась-

ко и вручает шееровский приказ капитану Гаврилюку, нашему главному разведчику.

Мы, не задерживаясь, уходим дальше.

В лесу за Кодрой устраиваемся на отдых. Гаврилюк, Мельник возле меня. Еще раз изучаем приказ Шеера.

— Они ловят нас,— хмурится Гаврилюк,— надеялись, что не решимся перейти Здвиг.

— Танки и здесь на всех дорогах,— картавит Мельник.— Батальон растрясли, а это лишь палец в кулаке Шеера.

— И того меньше... Нам уготована западня... Враг поджидает нас на просеках у берега Белки. К речке всего несколько километров.

Гаврилюк наносит на карту обстановку.

От Радомышля и вверх и вниз вдоль Тетерева — части 213-й охранной дивизии. В лесах — первый и одиннадцатый полицейские полки, первый и второй кавдивизионы полиции, 33-й резервный полицейский батальон, кавалерийская и автомобильная школы. 233-й отдельный батальон, мотомехполк СС «Бранденбург», который знаем мы еще с Кировоградщины.

Все это мы знаем из приказа командующего жандармскими и полицейскими силами генерала Шеера. Раздумывать нам долго нельзя. «Костыль» уже ищет нас, кружа над лесом.

— Зудит, как комар. И невысоко, чертяка!..

Резкий заразительный смех Пасько перекрывает шум уходящего в заросли соединения. Артиллеристы топорами прокладывают путь орудиям и повозкам в орешнике.

Половина отрядов идут развернутым фронтом. Место, где произошла схватка, обстреливают из минометов.

Громоздкие фуры, подпрыгивая и колыхаясь, утюжат кустарники, демаскируют нас. Где-то позади гудят танки. Устали. Располагаемся на отдых. Тщательно окапываемся среди леса. Танки затаились. Выжидающе стоим и мы до вечера. А над лесом кружат корректировщики.

— Собьем, братва, асса! — вскочил Нечипоренко — сухой, смуглый и по-цыгански живой старшина хинельцев.

Схватив «станкач», он взваливает его на плечистого Серафима Хрячкова. Тот прочно расставляет ноги и упирается ручищами в колени. Донат щелкает замком. Взвивается очередь зеленоватой трассы. Хрячков послушно двигает корпусом.

— Ниже, ниже! Еще чуть-чуть! — командует Нечипоренко.

И Хрячков гнется. Донат же, ловя самолет на мушку, уже командует: «Выше». Хрячков расправляет свою геркулесову фигуру. И вдруг:

— Есть! Попало!

— Молодцы!

А в это время на поляне шел «торг».

Хозяйственники всех отрядов делили трофеи: куцехвостых ширококозых арденцев, ящики с патронами и все прочее, что называется боекомплектами батальона «Остланд», вышедшего в лес, судя по снаряжению, надолго.

— Все раздать на руки, фуры сжечь, а кухни испортить! — таково распоряжение начхозу Кузьмину.

Минометы противника все еще обстреливают место схватки.

Окопавшись, бойцы уснули. Устроились на отдых и командиры. Надо хорошо выспаться, собраться с мыслями, трезво учесть все шансы. Мы в «котле»...

Стемнело. Отряды снова в движении. Узкую прямую дорожку обступили сосны. За быстро летящими облаками то скрывается, то вновь проглядывает луна. В сосновых кронах шумит ветер.

Неслышно идет колонна, лишь изредка стукнет колесо повозки о выступающий корень да звякнет металл о металл.

И вдруг одна за одной трассирующие пули — голубые, светло-зеленые...

Голова колонны обстреляна в упор. Четырнадцать партизан ранено в Конотопском отряде.

— Лежать! Не обнаруживать себя!

Я пробираюсь на коне вперед. Пострадала застава. Разведку противник пропустил вперед и неясно, где сам находится. Как же быть? Атаковать, не имея возможности развернуться, не зная ни системы огня противника, ни видя его. Отходить? Но куда? У нас ни тыла, ни соседей на флангах. Кругом враг — в секретах, засадах, заслонах...

Смутно на душе. Со стороны Боровки — по дороге из Киева — слышно непрерывное движение машин. Сжимается кольцо блокады.

Проходит ночь, а мы не продвинулись ни на шаг. Единственный путь на запад — заперт. Противник, мо-

жет, и не подозревает, что мы у него буквально под боком. И это обнадеживает. Быть может, прекратится движение на Комаровку, и тогда, резко изменив направление, мы попытаемся незаметно перейти через лесную дорогу, может, выскользнем. Ну, а если заметят — штурм колонной!.. Но это худший исход. Это сигнал к наступлению на нас со всех сторон.

К утру, в километре от Комаровки, мы переходим дорогу на Боровку.

Укатанная машинами, она желтеет, как лагерная линейка. Перебегаем полотно, спиной вперед, оставляя обратные следы на песке.

Холодный ветреный день застает нас все около той же Комаровки, только южнее.

Доктор Михаил Михайлович и Валюша Земскова, его ассистентка, не теряют времени — делают операции. Коченеют руки.

Неуютно в лесу, холодно. Чтоб согреться, партизаны углубляют свои окопы.

— Ваня, ты деваляй по-киевски теперь скушал бы?

— Я с Клавдиево ничего в рот не брал, кроме фрицевских макарон.

— Горяченький, сдобненький — оближешь пальчики! Эх и рубанул бы!..

— Пельменей с перцем да уксусом!

— Ты лучше покопайся в сумке, может сухарь найдется, — сердится помощник наводчика.

— Есть сухарики к пулемету, а для самого пулеметчика — ни в око запорошить. А если ты, Ваня, голоден, так выйди ты, друг Ваня, на дорогу, скажи: «Дядя Фриц, одолжи консервов и хлебный буханец, разживусь на Западе — рассчитаюсь».

— Фрицу — мыла и маку, — намекает Иван на куски тола.

Пулеметчики следят за дорогой: она в двухстах шагах. Сквозь ветки орешника видно, как без конца идут по ней усталые солдаты, с ревом обгоняют их машины. И опять же в Комаровку. Войска идут уже из Радомышля.

В армянском отряде, развернутом дугой в нашем тылу, по обыкновению шумно:

— Эй, эй, па-а-тхади, па-а-тхади, па-ажалуста: чай наливной, чай очень родной, чай малиновый, семь раз наливанный, кто напьется — ума наберется, кто мимо

прондет — тот с ума сойдет!.. — зазывает добродушный, веселый парень, он кипятит что-то в немецком котелке, подбрасывая в огонь сухие окоренные бездымные прутики.

Армяне — партизаны Киевщины! Всюду они теперь вместе с нами. Веселые, хорошие ребята. И совсем недавно здесь, на берегу Тетерева, остались навсегда их земляки Сиронян Армен, Джуланиян Гриша, Миносян Рубен, Хачатурян Матевос, Кавталян Баши, Барданиян Амбарцум, Миросян Владимир, Заробян Потванок, Абовян Ваго, Гарбянян Левон, Петросян Армен, Григорян Сократ, Акопян Лева...

Они пали в честном бою за переправу через реку и... за три выпечки хлеба. Дымили целые сутки три тысячи печных труб в Вышевичах. Соединение запасалось для пути на Киев печеным хлебом. Армянский отряд отражал полк карателей. И отразил...

Но разве ж это все жертвы в Тетеревских лесах? Местные партизаны вспоминают и Надю Жудру, сестру нынешнего командира радомышлян, Лиду Коломаренко, Грицак Одарку, Лось Аню, Зелинского Володю, а также рабочих стеклозавода Евсеенко Николая и Выховского Афанасия.

Это они создали в 1941 году свой Радомышльский отряд в Белой Кринице, а затем и Макаровский партизанский отряд, которые ныне действуют в составе нашего соединения.

Холод крепчал. Звездное небо сулило ясный день, всегда опасный с воздуха, и мы снова, как и вчера и позавчера, торопились форсировать Тетерев. Часам к двум ночи отряды подошли к берегу.

— Переходить вплавь будем! — сообщил кто-то.

— Как вплавь? Коркой вода взялась!

— А я плавать не умею, — предупреждает Надежда Солодюк, врач Киевского отряда.

А бывалые партизаны уже в речке, выкрикивают:

— Эй, кому пить хотелось в лесу — пользуйся!

— Смелей, смелей заходи!

— А ты разденься, да нагрей водицу, а то простудиться можно!

— Насморк пристанет! Наполеон говаривал, что из-за насморка проиграл Бородинскую битву.

— Ха-ха! Ох врешь же ты!

— Не я — Наполеон сочинил!

— Река. Лед. Страх какой! — дрожат киевлянки. — Как с винтовкой, с медикаментами переплыть?

— Остаться на берегу? Одной? Но это самое ужасное! Кто-то басит во всеуслышание:

— Не хватало утонуть!..

— Тетерев глубок, местами метров семьдесят...

Лошадей силой сталкивают с берега.

Конники, держась кто за гриву, кто за хвост, устремились на тот берег. Пешие, собрав в узелок одежду, плывут, перебираются на тот берег кто как может. Ледяная вода сковывает все тело, невероятно, до предела напряжены силы. Но партизаны один за другим заходят в воду и, подняв над головой нехитрые партизанские пожитки, пускаются вплавь. Наконец передние достигли берега. И, почти нагие, подгоняемые обжигающим ветром, бросаются в хаты близлежащего села Веприн. Бегут, растекаются по кривым улочкам, влетают в хаты, пугая своим видом жителей. Крестятся на образа старушки, прячут глаза женщины. А парни, стуча зубами, отжимают одежду, пялят на себя, подшучивают:

— Эх, маманя, сейчас бы горилки!

— Хотя б по наперстку на брата!

— Да где ж взять той горилки!

А весельчак Батеха подносит компас на ладони:

— Гляньте, мамаша, на прибор. Этот прибор все знает, он покажет, где горилочка спрятана.

— Ах, божечко ж ты мой! — суется хозяйка. — Ой, соколики! Совсем забыла тую горилку за Николай-угодником. От старика прятала... — и тянется рукой за икону.

Партизаны смеются, потирают руки.

За Тетеревом загорается рассвет. Я оглядываюсь и мысленно прощаюсь с сине-зеленой далью — Тетеревскими лесами. Будет еще час: придем с двустволкой, выследим краснобрового косача и пышнохвостую лисицу...

За Иршою наши отряды снова сели на коней. От тысяч копыт гудит земля. Соединение продолжает путь. Впереди — армянский отряд во главе с Осипяном. Сухощавый, подтянутый, он сидит на вороном коне. Быстрые строгие глаза будто обстреливают свое войско. А оно, шумное, валом валит по песчаной влажной дороге, гикая и громко перекликаясь.

— Трэ-этий р-рот, бистрэй, бистрэй!.. — торопит своих людей Осипян.

За всадниками катятся подводы с усаженными в них смуглолицыми, черноволосыми армянами. Звеня бубенцами, нивесть где добытыми, мчатся повозки с пулеметами, брички, линейки. В них «станкачи» с напяленными на козухи рукавами от козухов — обогреватели.

Прошел армянский отряд, и затихает в поле гомон, шум, только ему в такой мере свойственный.

В километре от передового отряда рысью идет разведка отряда «Смерть фашизму». Прыгают над гривами лошадей кубанки, жандармские кивера, лихо заломленные смушковые шапки.

Но вот заколыхавшиеся вразброд ряды переходят на шаг, и многие всадники, бросив стремя, усаживаются в седле боком, закуривают, балагурят.

Дорога битком забита. Все спешили, разминают затекшие ноги. Кто-то поджег бурьян, и ветер погнал легкий дымок, он засивел над ушомирским полем. Партизаны шутят, смеются...

Но вот внимание людей приковали к себе три всадника. Озабоченные, они мчатся широкой рысью из головного отряда. Все узнают Романа Астахова, его брата и Володю Керножицкого из главразведки штаба.

— Что нового, ребята? — раздается несколько голосов, и, скакавший задним, Керножицкий, поравнявшись, сообщает:

— В четырех километрах автоколонна немецкая!

Это меняет тему разговора партизан. Начались гадания: где и сколько немцев, удастся ли ночевать в тепле, как поступит генерал...

— Опять эсэсовцы!

Кто-то будит заснувшего на возе помпехоза из Червоного:

— Вставай, Батеха, немцами пахнет, Кузьма Павлович!

Шуршит брезент, появляется измятая физиономия Батехи.

— Где немцы? Если меньше дивизии — не будите! — и снова накрылся брезентом.

Далеко впереди раздалось несколько пушечных разрывов. Люди насторожились. Немного погодя послышались двойные выстрелы винтовок и маузеров. Им ответил длинной, четкой очередью «максим». Разгорался бой. Вот уже взвыла первая мина. В колонне засуетились: снимают торбы с голов лошадей, подтягивают подпруги.

— Смотри! Смотри! — отзываются несколько голосов

сразу. Все поворачивают головы в сторону темной полосы леса. Многие садятся на коней, чтобы лучше видеть, как в нескольких километрах впереди бушует пожар.

— Хаты палят, удирают, значит.

— Наши попросили освободить квартиры.

Перестрелка то стихает, то вновь разгорается. Справа от дороги появился высокий столб черного дыма и легкой тучкой повис в желтоватом небе.

Молодой партизан широко раскрытыми глазами посмотрел вопросительно на политрука.

— Это автомашина горит,— сказал Хомич,— видишь, дым черный и рассеивается.

Еще три всадника мчатся от леса, где не утихает бой. У переднего льняная шевелюра выбилась из-под шапки, на перекрещенном ремнями гражданском пиджачке поблескивают ордена. На правом боку в деревянной коробке — маузер, за спиной — автомат, к седлу привязан еще один, немецкий, автомат и четыре магазина. Это свежие трофеи Сергея Пузанова. Едут с ним Андрей Лях и Владлен Гончаровский — боевая комсомолня с Полтавщины.

— Сережка, меняю автомат на бинокль! — кричит кто-то с повозки.

— Меняй с фрицем,— кивнул головой в сторону леса Пузанов и, стегнув коня, вместе с друзьями помчался вдоль колонны.

Вскоре соединение заняло смежные села — Сушки и Рышевку.

Главный удар эсэсовцев пришелся по Макаровскому отряду, но те все же успели укрыться в разрушенных дотах и отразить противника.

К Рышевке двинулись густые цепи. Немцы шли ускоренным шагом, держа равнение в рядах, как на параде.

— Ближе, подпускай, ребята, ближе! — хрипел комиссар Величко, оказавшийся среди партизан Коростышевского отряда.

Но вот из дотов ударили пулеметы. Цепи фашистов залегли. С рышевской церкви, которой не успели овладеть партизаны, потянулись пулеметные трассы пуль, указывая цель своим минометам. Но артиллерийский обстрел эсэсовцев пришелся по месту, где, к счастью, не было ни одного партизана.

Начштаба макаровцев лейтенант Пасько установил пулемет прямо в печи сгоревшей хаты и метким огнем

разил противника, пока вблизи не остановилась немецкая бронемашина.

— Хлопцы, берегись, бронемашина! — крикнул Пасько.

— Где? Где? — подскочил Роман Астахов.

Пасько дернул Романа за полу.

— Осторожно!

Медленно поворачивая башню, броневик короткими очередями обстреливал места, где могли укрыться партизаны.

— Гад! — процедил Роман. Вся его фигура хищно сжалась. Ничего не говоря Пасько, он вырвал пулемет из его рук, схватил холщевую сумку с магазинами и бросился к броневнику, который медленно передвигался с места на место и почти безпрестанно обстреливал партизан.

— Роман! Роман! Куда?

— Назад! Убьют! — кричали ему вслед.

Но Роман, пробежав несколько метров, плюхнулся наземь.

— Убит!..

— Пропал Роман!..

Но Астахов размахнулся и бросил связку гранат.

Охнул взрыв. Машина крутит башней вправо и влево, выплескивая огонь, а сама отползает с натугой задним ходом.

— Ур-р-р-а-а! Удирает бронемашина!

Роман выстреливает по броневнику в упор еще три ленты и что-то кричит, зовя рукой, макаровцам.

Бронемашина задымилась. Крутится.

Бредет не спеша Роман через улицу. Лежит ничком, уткнувши кипу черных кучерей в землю, знакомый ему воин Беззапонный Иван из Макаровского отряда. И кричит, зовет врача на помощь Иван Нечай, тоже партизан-макаровец:

— Женя, Женя! Нашего командира капитана Коротюка ранило!

Женя Панасюк переползает уже дорогу, слева, сзади брызжет песок, словно роятся над ней пули, Нечай перебежками обгоняет ее. Ойкнула Женя, поникнув щекой на свою санитарную сумку, Нечай хватает ее в охапку — и к доту. Пуля останавливает и его.

— Ура! Ура!.. — бросились партизаны вперед, на новые позиции.

Горят дома в Рышевке. В густом тумане только и видны вспышки взрывов да багровое зарево.

По цепи партизан перекачивается одно слово:

— Держаться!..

Немцам уже перебежать не нужно — подобрались вплотную. Невыносимый галдеж подсказывает, что готовятся к штурму. Выходят из укрытия и ложатся в цепь командир макаровцев Коротюк, комиссар микоянцев Величко, Астахов, Пасько, капитан Грушецкий, помначштаба соединения, а от дота идет с пулеметом на плече Жорж Краснопольский. Пули копают под его ногами песок, но не бежит Краснопольский. Подошел, сбросил пулемет с плеча, а сам — в окоп.

— У меня,— говорит он,— в пистолете еще восемь патронов.

Из окопчиков летят фуфайки, кожухи — раздеваются хлопцы, кто потяжелей одет. Стрельба со стороны немцев прекратилась, только орут неимоверно, будто недорезанные.

— Приготовить гранаты! — кричат командиры в партизанской цепи. У кого нет гранат — быстро готовят к взрыву толовые шашки, камнями придавили, вставили взрыватели полевых фугасов, а в окоп — шнурочки или связанные пояса. За большим куском бетона, что был крышей дота, лежат макаровцы: Якименко, Коваленко и Чавлев — три отчаянных друга. Широко открытыми глазами смотрят вперед партизаны, готовые стрелять, но все берегут патроны...

Вечереет, а бой гремит. В свете пожаров в селе и догорающих машин на поле перебегают фигурки партизан, все теснее сжимая кольцо окружения.

В Сушках, при штабе соединения, — санитарные обозы всех отрядов. Макаровцы выведены сюда на прикрытие. На главной улице собраны отбитые у немцев пушки и тяжелые пулеметы «Шварцлозе».

С капитаном Коротюком и лейтенантом Пасько я наблюдаю за ходом боя. Видно как днем. По полю продвигаются двое. Пригнувшись, они волокут на немецкой плащ-палатке убитого.

— Чей убитый, ребята? — спрашивает Коротюк.

— Хинельского, — тихо отвечает сипловатый голос.

Присветили фонариком, светом озарило немолодое, задумчивое лицо. Грязновато-желтое пятнышко ниже русого чуба. Узнаю в нем ленинградца Евгения Никитина.

— Другую пушку как окружили,— говорит тот же тихий голос,— бросились мы, чтоб захватить ее. Сильно фрицы отстреливались. Тут его и угодило.

— Взяли пушку? — осведомляется Пасько.

— Нет, взорвали ее немцы и сами погибли с ней.

С Рышевки доносится густая стрельба. Трассирующие пули чертят светлые линии, вспыхивают и затухают ракеты. Еду с товарищами на бугорок, заросший низким кустарником. Оттуда лучше просматривается вражеская оборона.

— Стой! Там кто-то есть! — остановился Коротюк и взвел парабеллум.

Как выяснилось потом, то был убитый немец. Он лежал навзничь, раскинув руки. Все лицо его изуродовано автоматной очередью, нельзя было даже возраст определить. Сбоку от него — клеенчатый бумажник, рассыпанные кругом какие-то пилюли.

— И таблетки не помогли! — засмеялся Пасько.

Постояв еще немного, послушав затихающую перестрелку, мы вернулись в штаб-квартиру. Вскоре начали подтягиваться туда и колонны отрядов. Огни электрофонарей прыгали по грязной осенней дороге, фыркали кони.

А возле штаб-квартиры уже собралась большая группа партизан с разных отрядов. Они попыхкивали цигарками, делились впечатлениями о сегодняшней схватке с гитлеровцами.

— Говорят, Астахов один против бронемшины пошел и поджег,— сказал кто-то.

— Ну, браток, это ж Роман, такой не струсит,— ответил комиссар Шевченко.

Раскрылась дверь штаба. В освещенный просвет шагнул немецкий офицер, которого я уже допрашивал. Он с повязкой на голове, рука его подвешена.

— Смотрите, череп на рукаве!

— Кого ведете? — шумят партизаны, не замечая меня.

— Штабной попался, из «Бранденбургского».

— А что это — «Бранденбург»?

— Ворота, хлопцы, есть такие,— поясняет комиссар,— арка триумфальная в Берлине. И провинция Бранденбургская в Пруссии есть. «Бранденбурга» — полка карателей, которые гонялись за нами еще в Кировоградской области, а также изрядно надоели здесь, на Киевщине,— теперь фактически не существует... Да, нет больше

«Бранденбурга»! Та же участь постигла и запасный полк гитлеровцев из Коростеня. Мы разбили его в селе Бондаревке и открыли себе путь к обширным лесам и местечку Эмильчино. Трехтысячный гарнизон бежал тогда из Эмильчино, бросив огромные продовольственные склады, большое количество вооружения и боеприпасов.

Мельница и механизированные пекарни, бани и прачечные, масло, сушеные фрукты, табак, стадо коров и самое главное, самое дорогое и необходимое для нас — миллион патронов!

Это изумляло. Бросили буквально крепость с армейской базой! Оставили город, опоясанный дотами!

Это не походило на немцев, и я не сразу понял, в чем дело. Но разъяснилось все, когда в числе захваченных документов оказались и ведомости на жалование полицейским.

И сразу выяснилось: тут были «земляки» — сборный отряд предателей, эвакуированных сюда из Сумской области. Жаль, конечно, что был упущен столь завидный случай расплатиться с ними по всем «счетам». Но я был и признателен случаю: не будь этой паники, как знать, что для нас уготовил бы тогда немецкий гарнизон и когда бы еще раздобылись боеприпасами и всем, что досталось нам в этой армейской базе.

В Эмильчино мы вступили вечером, в один из тех дней, когда был освобожден Киев.

Со слезами радости на глазах передавали люди эту весть из селения в другое:

— Киев, Киев нашими взят!.. Освобожден наш Киев!..

Используя оборотную сторону немецких плакатов, мы начали издавать в городской типографии листовки, свою газету «Народный клич», приказы, в которых сообщалось о раздаче зерна населению района, учреждении самообороны сел и города, сдаче оружия коменданту, налаживании культурной жизни...

Слухи о раздаче зерна партизанами быстро разнеслись на многие сотни километров. Потянулись подводы и пешие. Люди прибывали из Пинских болот, из-под Барановичей, из Городницкого, Барышевского, Лювинопольского, Олевского районов.

Три недели не прекращался вывоз хлеба ни днем, ни ночью. Из пяти огромных зернохранилищ обеспечивали многих. Каждый брал сколько мог увезти, понести.

Часовые стояли при складах лишь для того, чтобы не подожгли склады провокаторы.

Район зажил новой жизнью.

Городская комендатура олицетворяет Советскую власть. И партизаны, и местное население участвуют в культурной жизни. Появились афиши, отпечатанные в городской типографии особо крупным, затейливо оформленным шрифтом:

«17 ноября

17 ноября

Сегодня!!!

В городском клубе г. Эмильчино силами п/о им. Микояна проводится вечер художественной самодеятельности».

Клуб переполнен местной молодежью и вооруженными партизанами. Поданы звонки, говорящие о начале вечера. Шум прекращается. Открывается занавес, на сцене стоит веселый черноглазый конферансье. Несколько присущих комику слов и движений — и зал захохотал, зааплодировал.

— Товарищи! — начинает конферансье. — Выступают артисты: Игорь Ильинский, Кэто Джапаридзе, Ляля Черная, Рина Зеленая...

Зал аплодирует еще сильнее.

— Это — артисты, которые у нас на вечере отсутствуют и выступать не будут!

По залу смех и овации.

— Так что на них и не рассчитывайте! А вашему вниманию я представлю доморосло-самодеятельных артистов. Первым выступит неустрашимый и самый боевой товарищ и комиссар нашего армянского отряда Величко Петр Алексеевич. Исполняется танец на руках!..

Под звуки вальса геркулесовская фигура Величко выкатывается на сцену иксообразным колесом и, остановившись на руках, выпрямляется ногами кверху, а затем ритмично переступает с руки на руку — легко и поразительно.

За комиссаром выходит начштаба капитан Лобач.

— Чечетка со стаканом воды на голове! — снова ошеломляет конферансье зрителей.

Стройная, строгая фигурка Лобача, с руками по швам и неподвижной головой, подскакивает, словно резиновая, и отбивает ногами попури из «Яблочка», «На сопках

Маньчжурии», «Катюши». Стакан будто приклеен над красивым белым пробором посреди черноволосой головы Лобача.

После антракта «представление для ума». Доктор Тарасов читает из «Анналов о русской хирургии», написанной ярким, самобытным языком профессора С. С. Юдина.

Публика снова шумно аплодирует. Танцы, песни, скетчи, рассказы настолько завлекли зрителей, что те, не жалея ладоней, щедро благодарили участников.

На другой день — снова вечер. Ставит Киевский партизанский отряд. Зал пуше прежнего переполнен публикой. Усердное наигрывание на мандолинах и гитарах, топот танцующих, говор, смех, присвистывание наблюдающих — все это сливается в сплошной гул, далеко выходящий за стены театра и пропадающий где-то в тишине темной ночи...

Газета соединения «Народный клич» уже выходит на базе городской типографии большим форматом, издаются все новые номера и листовки.

«К МЕСТИ! ВСЕ НА РАЗГРОМ ВРАГА!» — громко зовет газета. — Трудящиеся! Под могучими ударами Советской Армии разбойничья армия Гитлера откатывается все дальше и дальше на запад. Каждый день советские войска освобождают из-под фашистского ярма все новые и новые города и села нашей родной земли. Залечивает раны родной Киев, пробуждаются к жизни освобожденные Житомир и Фастов. Грозный гул советской артиллерии доносится до далеких полесских закоулков.

Товарищи!

Ускоряйте наступление Советской Армии, приближайте день освобождения родной Украины. Мобилизуйте все наши силы на активную борьбу с оккупантами. Все, как один, беритесь за оружие и выступайте против захватчиков.

Приближайте день своего освобождения.

К оружию, товарищи! Все в партизаны! В каждом селе, районе, городе организуйте партизанские отряды, вступайте в действующие отряды.

Все на окончательный разгром врага!»

Новый, 1944 год соединение встретило в Городнице. Наша Советская Армия в это время уже освободила Новоград-Волынский и Коростень. Вся группировка немцев, находившаяся на этом пространстве, оказалась

в «котле». Спасением для нее был только городничий брод на незамерзающей, со скалистыми берегами Случи.

Но мы решили: хоть камни с неба, а Новый год встретим по кремлевским курантам и в этом городе.

Трое суток не умолкали бои за Городницу. Оставшиеся без тылов, без горючего, без продовольствия и зимних квартир, немецкие войска безуспешно атаквали нас в городе.

Они могли, конечно, перейти Случь и в других местах, но... без автомобилей, вообще без транспорта и боевой техники, бросив раненых...

В зоне опустошения, в лесах, где от Эмильчино до Городницы не было ни одного уцелевшего строения, они не смогли найти себе даже временного приюта.

И гибли в снегах и под партизанскими пулями, заочеченвшие и голодные, устилая собой берега Случи и окрестности Городницы.

Набрав пополнение — тысячу новых бойцов в Эмильчино и Городнице, — соединение ушло отсюда в свой третий рейд по тылам захватчиков — в Западную Украину.

Глава XXVII

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Близ Винницы, в Черепашинецкой роще, недалеко от кордылевского пруда, возвышается могила двадцати пяти эсманцев.

Почти все они прошли тысячевеерстный боевой путь и на рассвете 22 марта 1943 года скрестили свое оружие с охраной ставки Адольфа Гитлера. Последний не усидел в подземных салонах «Вервольфа» и решил перенести свою ставку в более спокойное место — в Восточную Пруссию.

Кто же были те 25 героев? Как узнали об их гибели?

В 1958 году на огороде под пеньком старой груши была найдена жестянка с полуистлевшими документами погибших. находка заинтересовала чекистов, они отыскали очевидцев этих событий. Вскоре в прессе было опубликовано ряд статей, рассказывающих о «Вервольфе» под Винницей и участниках черепашинецкой операции. Были установлены также некоторые имена партизан, погибших там в роще. Вот они:

Алферов Иван — комиссар Червонного (Эсманского) отряда.

Бойко — шофер, пулеметчик Червоного отряда.
Военврач (имя не установлено) Червоного отряда.
Дзюба Николай — пулеметчик Червоного отряда.
Левченко Федор — командир взвода Червоного отряда.
Матюшенко Дмитрий — автоматчик Червоного отряда.
Милова Антонина — радистка Недригайловского отряда.

Мосейкин Николай — командир отделения Червоного отряда.

Филонов Петр — командир разведки Червоного отряда.

Рябенко Иван — разведчик Червоного отряда.

Клещов Иван — разведчик Червоного отряда.

Лейтенант войск связи Григорий Фокин.

Вася Бабенко — один из комсомольцев — участник группы Дяди Вани.

Миша Темный и еще один или двое из той же группы майора Дяди Вани, зачисленных в Холодном яру в роту Цыбулева Ивана Касьяновича.

Сам Цыбулев погиб, возвратясь на Винничину.

Мы не сказали об эманцах, конотопцах, хинельцах самого героического и знаменательного, что совершили они годом позже в Чехословакии.

Роман Астахов, Андрей Лях, Евгений Волянский, Сергей Пузанов, Тимофей Стадник, Николай Агафонов и ряд других, явившихся к партизанам-конникам на Киевщине, Петро Величко, Анатолий Швейцарский, Антон Пасько, Петро Химич — все они стали во главе интернациональных бригад, брали непосредственное участие в словацком национальном восстании.

В Судетах одной из таких партизанских бригад командовал Георгий Мельник — начальник штаба конного соединения во время Степного рейда.

В Средней Чехии положили начало большой партизанской войне капитан Олесинский Евгений и старший лейтенант Марченко Михаил, также бывшие украинские партизаны-конники. Став на дороге к Праге, партизаны застопорили продвижение американских танковых войск, следовавших из Пильзена.

Именно этим фактически предотвращено было расчленение Чехословакии, коварно задуманное Пентагоном.

Так было в 1945 году с нашими конниками, десантированными туда на парашютах.

Нам осталось, дорогой читатель, выяснить, что ж стало с некоторыми другими участниками рейда? Какова, например, судьба старшины Жарова, радистки Ани, большой группы автоматчиков из Конотопского отряда, потерявшихся в Галочке? Небезынтересна, конечно, и судьба зловещей личности — Кусачева.

Двадцатилетние поиски автором материалов о рейде, широкая переписка с участниками и очевидцами, с учителями и школьниками, с местными партизанами и журналистами, исследования архивных материалов и специальные поездки к людям дали возможность рассказать о многом, что прежде оставалось для него тайной.

Выявилось, что старшина Жаров, проживающий ныне в Киеве, два его, тоже раненых, товарища и радистка Аня затерялись в Гайсинском лесу на Винниччине. Их настигла полиция. Скрыться в чащобе крутояра — первое, что хотел сделать Жаров, но один из его друзей выстрелил...

Наперекор всему, этот выстрел оказался для партизан спасительным: бросив тачанку с тройкой коней, с пулеметом и большим запасом патронов, полицаи кинулись наутек!

Жаров же, усадив друзей в тачанку и повязав нарукавные повязки полицаев, пустился по главной дороге на Гайсин. Прогремели они по мосту на Собе, пролетели городскими улицами, еще завидно промчались через Умань и двинулись к Шепетовским лесам, знакомым Жарову еще по действительной службе.

Фортуна улыбалась им до конца: вплоть до встречи с партизанским командиром Михаилом Одухою, никто их не останавливал.

Трагической оказалась судьба тех, кто налегке, с автоматами, без раненых и на конях, стремился прорваться самостоятельно.

Архивы подсказали автору, как пробивались и автоматчики-копотопцы. Они вышли в Знаменские и Холодноярские леса, а через месяц, в Черкасском лесу, напали на засаду карателей и все погибли. Такая же участь постигла и отряд Дзюрака. Десятки убитых и раненых потерял Грищенко в Синьковской леваде при выходе из Галоча.

Жители этого села стали свидетелями зверств, которые чинили враги над ранеными партизанами. Их казнили 14 марта. Весь день фашисты держали воинов

раздетыми на холоде. Многих подвешивали на железных крючьях за челюсти, а потом всех расстреляли.

Очевидцам тут запомнился долговязый зеленоглазый тип, опознававший среди убитых и раненых командиров и коммунистов. Это был Кусачев.

Военный трибунал вынес свой справедливый приговор этому изменнику Родины.

Василек Вертюченко — «ординарец» и «племянник» жандармского эсаула, — попав к власовцам под Винницей, бежал и привел многих бывших советских воинов к партизанам. Обойдя Полесье и все находившиеся там партизанские формирования, в конце 1943 года он, наконец, пробился к родному соединению и стал в Червонном отряде командиром конной разведки. В этой роли он участвует и в Западном рейде — на Львовщину и в Польшу. Однако речь о нем пойдет в следующей книге.

Что же касается легендарного партизана Калашникова, то таких Калашниковых — партизан в украинских степях — было несколько. В разных районах они жили и боролись с оккупантами каждый по-своему: одиночно, с группами товарищей. Но никто из них не имел связи с центром.

В Дашевских лесах младший лейтенант Иван Калашник руководил даже группой партизанских отрядов, которых объединял межрайонный подпольный центр на Винничине.

Автор не исследовал патриотической деятельности и легенд о Калашниковых и считает, что этот вопрос помогут разрешить историки-краеведы и следопыты-школьники.

О самом конном соединении, которое вскоре стало, по-сути, киевским, следует сказать, что оно оставило значительный след в истории Великой Отечественной войны, осуществив по заданию ЦК партии свой второй рейд на Киевщину, а потом — на Львовщину.

Западные историки не могут скрыть того факта, что немецкому командованию не удалось обезвредить многотысячную партизанскую армию, оседлавшую важнейшие коммуникации немцев в истоках Западного Буга и Стрыя. Это был Западный рейд соединения. Речь о нем впереди, в новой книге.